

K 122
K 62



ЛИСТОК СРОКА ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. пред. выдач _____

12 | 1308.

Р2
к -

А. Козанов

СТАРИНА ОХАНСКАЯ

ПОВЕСТИ



Пермское
книжное издательство
1962

4783

Автор этой книги — Александр Петрович Колчанов родился в 1899 году в городе Перми, в семье железнодорожного стрелочника.

Сейчас А. П. Колчанов на пенсии. За его плечами большая трудовая жизнь, которую он увидел глазами наблюдательного человека, умеющего чутко вглядываться в окружающую действительность.

В произведениях А. П. Колчанова привлекает достоверное знание крестьянской жизни прошлого столетия, живой, образный язык.

«Старина оханская» — вторая книга А. П. Колчанова. Первая книга «Голодные мужики», изданная в 1959 году, была тепло встречена читателями.

59068¹³

Художник Ю. К. ЛИХАЧЕВ

ОЧЕРСКАЯ
центральная библиотека
Пермской обл.



РАЗОРЕНИЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ДЕРЕВНЯ УСОЛЬЕ

Деревня Усолье разместилась на пологом склоне большого угора. Выше и ниже по склону тянулись поля, засеянные в большинстве рожью и овсом, меньше — пшеницей, гречихой, льном и коноплей, а от подножья его до Очереки раскинулись покосы. С других сторон окружали Усолье тоже угоры с пастбищами и лесами. На этих пастбищах

сытно кормилась животины только тех поселян, кои в силах были нести за то особый оброк. В лесах росло много пищи бедняков: грибов, ягод, а по опушкам — пестиков.

У всякой деревни своя речка течет, и под крутым обрывом Усолья журчала Тулубаиха, в которой опять же на потребу бедноте в обилии водились выюны.

И кто не знал здешней жизни глубже, с первого взгляда на окрестности восклицал:

— Экое благодатное местечко! Живи да радуйся!

А на самом деле поля, луга, пастбища и леса эти в большинстве своем были графские, казенных — мало, и еще того меньше — общественных. Из последних наделялось на мужскую душу пахотной земли по одной полосе, едва в полдесятинки, а то и четверть ее. На женские души земли совсем не давалось, а лесу для надела давно не росло. Как хочешь — так и живи!

Понятно, что никто на одной надельной земле прокормиться не мог, и крестьяне, по силе возможности, брали ее под оброк у графа. Только вовсе безлошадные не арендовали той земли, у них и надельную-то пахали кулаки в свою пользу.

Давно когда-то местное население выкорчевало лес и корни на графских угодьях, сделало их пригодными под посев. И стал граф сдавать эту землю в аренду, а мужики с тех пор привыкли к ней — считали как своей. И хотя она была неласковая, чуть не каждое лето лудела, а луга — сплошная кочка и болото, но без этой земли жизни бы не было людям. И если бы вздумалось графу перестать сдавать ее мужикам — наступила беда бы неминуемая, разоренье пришло полное.

При въезде в деревню с поля жердяные ворота, будто собралась в них вся мирская скорбь и досада, скрипели-ворчали:

— Мо-очи нет! Но-о-сит лешак!

Посреди единственной улицы Усолья выдался на дорогу пожарный сарай. У этого сарая усояне в праздники водили хороводы, плясали, завивали березки, в другое время проводили сходки и собирались по вечерам толковать не только про свои некорыстные делишки, но и про любые государственные, разбираясь в них с поразительной мудростью.

От пожарки в обе стороны деревня была как на ладони. Перед домами и избами росли тополя, рябины, черемухи,

сирени, акации. Соседские плетни и тыны, сливаясь под один, поросли и облепились малинником, крыжовником, вербами, крапивой, лопухами и репейником.

Из-за столь густой зелени все пристройки казались приземистыми, уютными. Сама улица оделась полянкой, на которой гуляла мелкая скотинка и разная птица.

И здесь кто не знал — завидовал:

— Ну и милый уголок! Наверное, люди в этой деревне благодатно живут!

По правую сторону от пожарки, на той же стороне улицы, как мухомор, из кустов торчал полукаменный, двухэтажный, под железной крышей дом лавочника Захара. Напротив него, через дорогу, врос в землю длинный, в восемь окон, обшитый, тоже под железной кровлей домик с палисадником, с тесовыми крытыми воротами, с калиткой на цепи. Владелец этого домища с обширной усадьбой — Алексей Семенович Заколоткин считался самым богатым человеком в Остроженском обществе, слыл кровопивцем людским, и прозвали его Сатаной.

По левую сторону от пожарки стоял древний домна Дементия Ивановича Коскова, которого за глаза хоть и звали Демахой, но уважительно. Самому Демахе сто двадцать годов, а домине его — куда за семь десятков. Здоровья и силы в работе Демахе не занимать, и дому его износу не видно: из столь толстых бревен он заворочен, на таких могучих камнях сложен. Тын сплетен из прутьев плотнее и выше соседских и опоясал кругом немалую усадьбу.

Этот демахинский тын, обросший густо и широко кустарником, издавна знает не одно поколение молодежи. Под сенью его назначаются свиданья, под ним любятся и договариваются о том, как жить дальше.

Напротив демахинского похожий, хотя и не древний, искособенился без фундамента домна Памфила Антоновича Коскова, или просто Панушки, Панка.

Еще с десяток добрых домов было разбросано по деревне, в которых жили кулаки. Имущество их не вмещалось во дворах, и прямо на улице лежали бороны, сохи, стояли телеги и долгуши да и колоды для поения и кормления мелкой скотины и птицы.

Не подряд в деревне стояли избы жителей среднего достатка. Невеселого они вида, крыты драньем, позеленевшим от мха, с покосившимися воротами без накрыши, с жердяными оградами.

Уж вовсе неприглядными — а их было большинство — кренились вкривь и вкось избенки бедноты. Солома на их крышах изопрела, и раздуло ее. У многих ни ворот, ни оград. Стекла в кривых оконницах держатся на лучинках. Стаек, амбаров и иных пристроек на усадьбах этих бедняг мало сохранилось. Да и не нужны они им: немного скотины и птицы бродит по деревне и пасется на Савушкиной пустоши.

Жизнь в Усолье устоялась, как тина в Горюхалинском пруду, а все, что случалось и творилось на белом свете далее околицы деревни, обитателей ее не волновало, не касалось, отмахивались:

— А это там где-то, не у нас, и ну их к лешакам!

К обыденным житейским невзгодам давно применились; доброго, к примеру, прирезу земли ждать нечего, а хуже чего еще может и быть! Живи по-старому, как мать поставила, от тюрьмы не зарекайся, куски собирать не заикайся, держи наготове котомки: боковик, хребтовик и переметыш. Бедность, голодовки и болезни в Усолье стали привычными.

Чтобы добыть хлеба, мужики и бабы, парни и девки бегали косить и страдовать в Сиву, в Карагай, в Большую Соснову, уходили на заводы, на лесосплав. В остальное время они делали гребни, бондарили, плели лапти, вязали, ткали, шили, нанимались в прислуги — извивались всяко. В неродные годы с осени запасали липовые сучки, мелко их рубили, мололи в муку. Пекли лепешки из половы и льняной куглины, которые желудок не варил.

Лечиться мало ездили к фельдшеру в Оханск либо к доктору в Пермь, во-первых, потому — где же набраться яиц, сметаны да масла, а главное, фельдшеры знали только одно средство исцеления болезней, да и то, спаси, Христе, сколь страшное: отмахивали больные места у людей, будто хвосты у чумных собак, ножами. Усоляне называли врачей ухорезами и никак не шли к ним.

А вот средство у бабки Васихи от любой немочи из гроба людей поднимало! Лет сорок уже с гаком в ее избе, в одном и том же углу, стояла деревянная шайка со святой афонской водой. Напрасно просмешники злословили, что, когда бабка Васиха не была еще бабкой, белогорской монах, ночуя у нее, с пьяных глаз не божьей влагой наполнил ту лохань. От ломотища и потяготища, от худого глаза — не к нам будь помянуто! — знахарка с молитвой

ту жижу давала испить. Болящего хватала рвота, прошибал понос, и хворость как рукой снимало. Опомнившись, умилялись:

— Сколь, матушка водица, ты пахучая да неприглядная, столь же и исцелительная!

Но как бы ни было тяжело, иной год — ложись да пропадай, а люди жили и умножались. И все давно перекумились, с которой-либо стороны сватовьями стали. У сотни с лишним семей было всего четыре фамилии — позабытое родство. И все, посчитай, были маканы в одну купель.

Полста уже годиков всех крестил, причащал, венчал, соборовал и отпевал поп Всеволод. Имя его произносилось мирянами душевнее — Сиволоб. Праведный во всем был — поискать таких! Строгий, на храм собирал усердно, вкушал у всех — не брезговал, как лешачина, с ног не валился.

И не отличались набожностью усолчане: по привычке и закону только прибегали они к помощи бога и попа. Ближе им были знахарки да трое доморожденных колдунов, которые и молитвы про всяк случай знали, и заговоры лешачины применяли. А нечистой силы вокруг водилось куда больше божьей благодати, ютилась она не только в воде, в оврагах и лесах, на гумнах и в стаях, а и в голбцах, и за печами; даже в переднем углу за иконы руку без оглядки не сунь — сцапают окаяшки.

Справлялось в Усолье за год несчетное количество праздников, но особенно чтили приходский — богородицын день. Всякое дело везде бросят, но к нему соберутся все домой. Пропьют-прогуляют за три дня все, что только можно пропить-прогулять; будто завтра жить не станут — орут:

Выпьем все, выпьем тут,
На том свете не дадут!

Беда веселый народ был в Усолье: песенники и плясуны, а главное — просмешишки; мало кто жил без самого едкого прозвища.

И, как островок не в большой, но несмиреной воде, держась древних обычаев, жила особицей в Усолье семья Демахи. Богатства не было, но и не беднялась она. Земли своей не было, и крутился-вертелся Демаха, стараясь не угодить в кабалу Сатане.

СЕМЬЯ ДЕМАХИ

Несмотря на годы, Дементий Иванович памятью не страдал и спорил с сыном своим Иваном Дементьевичем:

— Ты не перечь, а мне сто двадцать годов. Станешь спорить — хрястну батогом либо проклянущу тебя.

Тут бы Ивану в рот воды набрать, так нет! Поперешный тоже был беда, хоть глаза ему выколи.

— Я не спорю, батюшко родимой, а только память моя не испоркалась. Матушка-покойница сколь разов поминала: во солдатухи тебя угнали, когда мне другой годок ополовинился. И мне самому тоже девяносто шесть. Возвращусь обратно ты — мне двадцать семь стукнуло. Значит, тебе сто семнадцать. Прости-ко, не гневись, а сто семнадцать. Хоть бей, хоть кляни, а сто семнадцать. Хоть к самому попу ступай, а сто семнадцать.

Демаха брякнул батогом о пол.

Огонек свечки из угла широченной печи неровно освещает не высокие, но просторные середу и горницу. Направо от входной двери расщеперился ткацкий станок с натянутыми красными холста. С полатей свисают прястницы с подвязанными мотками кудели, с воткнутыми в них веретешками. На полу протянулась, как опаленная туша свиньи, связка лыка. Под скамьями вдоль стен — новые лапти. Все в избе: стены, потолок и пол, скамьи и огромный стол в переднем углу — протерто с дресвой, выскоблено ножом. На божнице натянуто вышитое крестиком полотенце, а лики святых, как и полагается, не различишь. Простенки меж окон оклеены этикетками: чайными — с китаяночками и от карамели — с петушками. Среди этикеток в одном простенке висит с наклоном зеркальце, украшенное тоже расшитым рукотером; в другом простенке чиненные множество раз хлебным мякишем, засиженные мухами, но милые сердцам домохозяев два лубка, увековечивающие: один — славный подвиг старостиhi Василисы, ведущей в плен французов, и другой — непомерно печальное событие: как мыши кота хоронили.

У порога к полу прибита старая подковина, дабы ничто нечистое в избу не ступило.

На середе, у печи, хозяйничает старшая сноха Ивана, жена Якова — Клавдия. Дородная, она ростом под стать

только самому праотцу Демахе. Яков — кряжистый, все-таки ниже и суше ее. Она по-старинному носит кокошник.

Умело руководила Клавдия не только у печи, а и всей женской половиной семьи.

Младшая сноха Ивана, жена Никола — Татьяна месит тесто в огромной деревянной квашне. Она маленького роста, красивая, но уже седым-седая. По-новомодному она кокошник не носит, заплетает волосы в кичу и подвязывает платком.

У Якова с Клавдией росло семеро девок, парни родились, но не выживали. У Никола с Татьяной было две дочери: Анна и Катерина, трое парнишек тоже не спаслись от оспы и кори.

В ту пору все хозяйство у Демахи было доброе. Правда, денег в обиходе не водилось, но в люди ни за чем не ходили, жили тем, что давало свое хозяйство. Сеяли рожь и лен, немного пшеницы, держали в достатке скотину и птицу, а кур не считали, и разводились они сами по себе, лошадей было три-четыре. В обширном огороде садили больше капусту, огурцы, репу, калегу, лук и морковь, а картофеля совсем мало — на грядках.

По нарядам в волости семья Демахи повинности отбывала, а на отхожие заработки в город и на заводы не ходила.

Раз земли своей не было, а наделной имелось лишь на пять мужских душ, то и поневоле брали издавна такую под оброк у графа Строганова. Но хлеба и с этой земли хватало не каждый год, доводилось его прикупать.

И все-таки Демаха не падал духом, до последних дней своей жизни старался сохранить, укрепить старину, сделать хозяйство зажиточным. Расчет был по-старинному простой: он не позволял отделяться сыновьям, внукам, не отдавал он и девок замуж на сторону. Пусть все девки приведут мужей в его дом — сколько тогда земли прибавится!

Уж так было заведено: по пятницам на базар в Оханск ездил сам Демаха и брал с собой чаще всего Якова с Клавдией. Сидя в коробу, Клавдия намечала:

— Батюшко, ситчику бы купить на кофты и сарапинки на рубашонки и сарафанишки.

— Каки таки кофты?

— Анне с Катериной, молоденьким охота же покрасоваться, — мягко доказывала Клавдия. А старик знал свое:

— Сиди и не зубать! Не твое дело. Не шибко-то пусть форсят: пока жив, ни одну на сторону не пушу. Сто разов твержу: пусть хоть самых бедных женихов, но ко мне в дом приведут, благословлю. Вся душа исскреблась от дум по земле.

Демаха разволновался и так стегнул лошадь, как будто она и была виновата во всем. Яков вздумал переменить неприятный разговор:

— К фершалу бы мне, батюшко, свернуть: сколь годов маюсь я животом. Пра-ей-бо, кто-то шевелится в нем: может быть, от головастика с воды и сама лягушка завелась, не к нам будь сказано, тьфу! — перекрестился от худой мысли Яков.

Демаха усмехнулся:

— В больнице ухорез пользы не даст: ему лишь ножом пороть. Вернемся, сходи к бабке Васихе, даст испить святой водицы, как рукой хворь снимет.

Не сказывал Дементий Иванович, куда на базаре отлучился. И той порой Яков в одежную лавку завернул: давно ему опостылело домашнюю валеную шляпу носить. Полдеревни мужиков уже городские картузы завели — любо глядеть! Приказчик рассылался:

— Вот последний крик моды: кепка — семь листов, одна заклепка.

Яков натянул ее и чуть не ахнул: лет на двадцать омолодился! Да ведь не теперь сказано — лешак мужику бабу навязал, — как с чего сорвалась Клавдия:

— Страм! Не отчайничай!

И давай от соблазна турить из лавки мужа.

Люди зубы скалят — баба мужиком ворочает! Разругался Яков:

— Отвяжись, змея зубатая! Заведу шляпу, хоть тресни!

И стал доставать деньги. Тогда Клавдия применила последнее средство:

— Где, ну-кошь, батюшко? Он кажинную копеечку на хлеб бережет, о земле думает, а ты свою прихоть наперед ладишь? Старину зоришь!

У Якова кепка из рук выпала, понурился он и пошел из лавки.

— Провались она, жизнь подневольная! Да неужто я не отделюсь никогда?

Клавдия плелась за ним и, как лиса, другим унимала:

— Давай лучше на те деньги справим самовар. Всем удовольствие!

Такое дело Якову беда понравилось, и он сразу смирился. Они еще пошушукались: небывалое дело против воли отцов идти! Перекрестились на высокую колокольню, купили самовар, торопливо запрятали его на дне короба в сене.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПАНУШКОВЫ И ДРУГИЕ СОСЕДИ

Демаха вернулся с поля домой расстроенный, бранился: — Опять Панушковы сузили нашу полосу! Снова подпахали межу, отодвинули ее на нашу полосу. До коих пор это станет тянуться?

Вся семья удрученно примолкла. Так дорог был каждый вершок земли, а тут всякий год Панко урывает ее!

Неохота да и опасно заводить ссору с такими людьми, как Панушковы, но невозможно и землю уступать. Против сердца пошел Демаха к старосте. Тот вызвал Памфила, прихватил на всякий случай двух понятых, и все поехали на пашню.

Панушко стал настаивать на обмере полосы по правилам. А где они и какие правила? Он и сам их не видывал в глаза, но пытался запутать дело. Он хорошо знал: староста не имел прав разрешать земельные споры и тяжбы. Мог это разбирать только суд. Но царский суд подходил к таким делам со всей тяжестью: требовал чертежи и планы полос. А где они у мужиков такие бумаги? Их сроду не заводилось. И суд за счет подателя жалобы предлагал нанять землемеров. Мыслимое ли дело! И оно затягивалось на годы. Не имея средств и времени, бедняга-истец с горем попускался отхваченной нахально землей, а вор-хапуга торжествовал.

Но старая межа сразу-то плохо запахалась, кое-где трава ее из-под пластов земли торчала гривой. У старосты и у понятых сомнения не было, кто тут прав и кто виноват, знали они и Панушка и Демаху. Знал староста и то, что

Панушко не осмелится на него жаловаться и, при явном сочувствии понятых, мог бы по совести приказать тут же перепяхать межу, на что и надеялся Демаха. Но, к удивлению его, староста отказался вмешаться в этот раздор.

— Экой ты, Памфило, хомяк на чужое! Моли бога, что не мое это дело, загнул бы я те хребтину! Ступай, Дементий Иванович, в суд. Бог не выдаст — свинья не съест.

Вот так раз! Зачем он и ехал сюда? Такое решение было не только попустительством, но и прямым подстрекательством со стороны власти варнаку.

Панко злорадно хихикнул:

— На-козь, выкуси! Чего взял?

А родичи его стояли, готовые завязать свалку, если бы Демахины начали перепашку межи. Но Демаха терпеть не мог никаких драк, хотя знал, что Панко теперь совсем обнаглеет.

Так и есть! Назавтра Панушковы отодвинули межу и у другой полосы Демахи.

Староста прийти на помощь отказался. Думал-думал Дементий Иванович, старался припомнить, чем и когда он обидел или оскорбил старосту, ничего припомнить не мог и поехал в волость, к старшине.

Старшина беда возмутился нахальством Памфила Коскова.

— Не у одного тебя он пытается оттягать куски земли. Вот варначище-то навязался нам на шею! — Но помочь чем-либо тоже отказался. — Земельные тяжбы разбирает по закону только суд. Да и земля у тебя не общественная, не наша, а графская. Поклонись отцу Сиволобу, может быть, тот и устыдит его.

К попу прибегать Демаха не пожелал: знал, что никакой стыд Панушка не проймет.

Вот беда-то! Чего тут делать? Призывать урядника — последнее дело. Да и что урядник? Составит протокол, передаст в суд, — а где на тяжбу средства? Панко же тем временем станет пользоваться землей, да и еще может у двух полос припахать себе.

Так, видимо, Панушковы и намеревались поступить, потому что высыпали всей семьей на улицу, через дорогу поносили и застрашивали Демахиных.

— Каку таку полосу? Кто задел? Кто видал? Сами вы жулье бессмертное! Сто годов живешь и наши полосы теснишь, думаешь, и мы такие? Спать вас давно пора!

Татьяна Давыдовна крестилась.

— Спаси, Христос, от огня-пальма, от глада-мора, от лиха-врага, от Панушкова рода!

И тут раздался крик лавочника Захара:

— Эй, чего пусто лаетесь? Отсохли руки подраться-то?

И Сатана подал голос:

— Разомнись, деревня, добудь зубы Поломе! Смеху-то будет!

Захар науськивал:

— Не уступай, Панко, землю Демахе, дерись! Отправь его на тот свет лапти плести!

Но в будни пьяных не было. Наоборот, такое бессовестное разжигание вражды сгрудило мужиков около Демахи, но они молчали. Только один кто-то ответил:

— Да тут не Полома с деревней столкнулись, а отчаянные против смиренных. Чего подначивать-то!

Тогда Демаха хватился: так вот почему староста не защитил его от Панушка! Потому что богатынки усольские не за него, а за Панка, за вражду!

И Дементий Иванович повернулся к своим.

— Нету нам защиты от властей и закона. Прав тот, что зубастее и рукастее. На их стороне и Сатана и Захарша. Не завидно это, а рази можно нам хоть вершок земли уступить? Ни в жисть! Выводи лошадей, солнце высоко, вернем свое!

И Демахины ускакали на пашню. Панушко хватился:

— Не дадим земельку! Гляди, народ, кто ее ухватывает! Запрягай, мой!

Сатана закатился от веселья:

— Не драка, а война! Захвати с собой, Панко, обух или вилы, бей там! Смеху-то, пра-ей-бо!

Захар сожалеет:

— Эх, жаль — не увижу, как они там кости ломить значнут. Панко, держи марку, а то доверья лишу!

Только тут мужики перестали молчать.

— Вот она беда-то, робя! Вместе живем, а экая вражда зачалась!

— А где староста-то? Власть-то где у нас? Днем кто задумает землю отбирает! Неслыханное дело!

— Как неслыханное? Не в первый раз Панко охальничает на полосах, благо мошенникам завсегда поддержка!

— Эх, безземелье наше! До чего оно доводит!

— А чего мы стоим? Так и нас обдерут, кому вздумается. Надо гнать туда, не допустить до крови!

Когда мужики подоспели, увидали: Яков сохой отваливал межу, а рядом шел и оборонял его Иван.

— Цыть, вы! — сдержанно махал он пальцем внучкам Панка, которые кидали в них комьями земли.

Никола тоже вел сохой борозду у другой полосы, а его охранял сам Демаха. Панко замахивался на Демаху обухом, кричал:

— Останови! Зашибу!

Сыновья его грозились батогами.

Но Демаха молча шагал, как будто не видел над собой обуха и батогов, не чуял ударов от комьев земли.

Мужики оттолкали Панушковых, стали стыдить и мирить:

— Бросьте злиться, суседи вы близкие! Ты, Памфило, задериха и обидчик, за счет кого задумал поживиться-то?

— Пошто ты не задел землю вон рядом, у богатинки Чайникова? Ага, не дурак ты!

— На смиренного ты наскочил, а сам знаешь, за коня да за землю можно и голову оторвать.

Панушко почуял полное осуждение. Здесь не было Захара и Сатаны поддержать его. А так как дело у него было бессовестное, то и нахрап его пропал.

Тем временем Никола и Яков отвалили у обеих полос межи на свои места. В разговор вступил сам ободренный Демаха:

— Весь ты изоврался! А все скажут — не ошибутся, кто кому больше добра сделал.

И Панушко совсем стих.

— Не позорь мой род честной.

Мужики подхватили того и другого, поставили нос перед носом. И хотя языки их не нашли еще дружелюбных слов, но мозольные ладони прошуршали, пожались.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

САМ ДЕМЕНТИЙ ИВАНОВИЧ

После ужина и распределения работы на завтра Дементий Иванович, сидя на голбце, рассказывал родичам и соседям разные случаи из своей долгой жизни, особенно солдатской.

Несмотря на здоровье и веселость, Дементий Иванович был глубоко тоскующим человеком. Нередко родные видали, как по ночам сидел он у окна, глядел на дорогу, на луну, шептал:

— Соломеюшка моя, ластовка легкокрылая! Где ты там, где-ко, милая? — тер глаза, сморкался. — Знаю, ждешь ты меня, как и я на сердце держу с тобой соединиться. Не осталось на земле краше тебя никого.

Иван говорил, что мать была не хуже, не лучше других, только очень кудрявая. Но Демаха называл покойную жену ангелом небесным, красивее всех княгинь и графинь, которых он немало встречал в походах по России и заграничье. И лучше всех она все делала, слаще пекла хлеб и шанежки, чище стирала и мыла, а уж песенки ревливала — милей залетной канареечки. И прямым божьим попустительством он называл преждевременную смерть жены.

Чай в семье Демахи все любили, не густенько каждую неделю заваривали его в чугушке. Но о покупке самовара старики и мысли держать не давали. И вот Яков с Клавдией насмелились, купили его. Они поведали о покупке Николе и Татьяне, вчетвером стали думать, как внести самовар в избу, чтобы меньше греха в доме было.

Татьяна расхрабрилась и внесла его в горницу.

Оба старика онемели. Опомнившись, Демаха хрястнул батоном о пол и убежал куда-то. Иван схватил на середине кринку, которая похуже, трахнул ее о пол. Схватил было и самовар, занес его над головой, да... легонько опустил на то же место.

— Грех в дом внесли! Конец свету надвинулся! Будь проклято все и самовар! — крикнул он и полез на полати. Носом к стене пролежал он тот день, ночь и еще полдня.

Яков понуро виноватился:

— Прости-ко, батюшко родимый, нас, недоумков. Охота же нам, как у людей. Красота-то какова! И стоит рубль с четвертаком всего.

К удивленью всех, сам Демаха скорее Ивана отмяк:

— Попить уж рази из него чайку? Может, ничего худого и не сотворится. А ну, Клавдия, благословясь, согрей его. Экой баской, лешачина!

А Иван ворчал:

— Пропащина это! На том свету грешников в них парят. Но Демаха уже твердо встал за обнову.

— Молчи-ко ты, раз умком не выдался. Не страдай — и так все запуганные живем. Кто с того света когда, ну-ко, вернулся да самовары там видел? Сто двадцать лет живу — все смыслю!

— Твоя, батюшко, воля полная, — ехидно отозвался Иван, — годков тебе не сто двадцать, а сто семнадцать. Родимой мой — сто семнадцать. Хоть ляг, хоть встань — сто семнадцать. Выколи мне глаза, а сто семнадцать.

Демаха вздынул батог.

— Цыть ты, молокосос!

— Сгубил ты мою жизнь, — взрыднул Иван, — не дал, молодому, снова жениться да отделиться, приковал меня к старине. И недавно невеста попадалась — закрыл дорогу мне опять.

Все обомлели от дива. Демаха шага на три отступил назад от старого сына, спросил:

— Так ты не выкинул из башки прошлогоднюю дурь? Судержишь на сердце жениться? Отделиться?

Неожиданный этот разговор подстегнул Якова высказать свою давнишнюю мечту:

— Чем тебе, батюшко, из своей домины уходить, благослови-ко мою семью отойти. Большая она, да, видно, и еще прирост будет. Мы в Чуран подадимся, а здесь пусть Никола остается.

Никогда еще никто не смел говорить о разделе. Демаху уже трясло.

— Так вон что ночная кукушка тебе накуковала! Старину исконную ломать задумал? Та-ак! А ты, Никола, как думаешь? Куда тебя Татьяна норовит утянуть?

— И моя, батюшко, семья не мала. Не тесно нам вместе, но и перечить отделу старшего брата не стану. Уж если моей семье здесь, по воле вашей, под гору катиться, так пусть Яков там встанет на ноги.

— Вот он, самовар-от, какую напасть приволок за собой! — простонал Иван.

— Запрягай немедленно, марш в Острожку, вези попа и зови старосту, — приказал Демаха Ивану. — Рассохлось крыто — скрепить надо! Я сколочу! Скорей Очер-река вспять побежит, а роспуску семье, пока жив, не ждите!

Яков и Клавдия, Никола и Татьяна стояли на коленях перед попом Сиволобом, старостой Агеем Кирилловичем и своими стариками.

— Пошто пошли в супор родителям? — строго спросил поп.

— До кровавых ран стегать вас станем за смутьянство, за разлад, за самовольство, — скрипел зубами староста.

Весь день провели они в семье Демахиных. Отобедав, с новой силой принялись за ослушников.

— Просите прощение у родителей. Простят они — и я отпущенье дам, — готовясь к молитве, сказал поп.

— Срамить на первый раз вас не станем. О разделе выкиньте из головы, и все у вас опять ладно станет, — смягчился и староста.

— Всю неделю вам каждодневно по сорока земных поклонов перед иконой творить, — совсем подобрел поп Сиволоб.

— На другой раз наряжу вас работать на тракту: узнаете, как обижать стариков, — пригрозил, прощаясь, староста.

Этим летом у оханских крестьян был плохой умолот. Перед самой жатвой пошли уже ненужные дожди, да и с градом. Повалило колос, выбило зерно.

За долгую жизнь Демаха хорошо изучил всякие приметы на будущее. Ударил первый заморозок, но опять наступило тепло, и паутины сверкает тонкой пряжей везде беда много. Значит, сырость и тепло застоятся. Значит, снег не скоро падет, не прикроет землю до морозов и вымерзнет напрасно из нее вся влага, а весной земля сухой окажется. Вон ронжа трясет на кедре бахрому редких шишек. Вон клесты и жуланы качаются на красных гроздьях пересматывшей рябины. И те и другие лакомятся, не торопясь срывать, запастись их: знай да ведай — тепло устойчиво, а по весне сухота окажется. Чего в нашей местности на ранние дожди располагать! Плохо дело! Не родной ко хлебу грозит год!

В конце зимы поехал Демаха в завод Юг достать для сох новые лемеха. Из дому выехал он рано и на свету уже переезжал Каму. Поразила Демаха, до чего ныне лед тонок: как сквозь стекло видно течение воды, а кругом много полыней. Опять примета: так бывает только перед засушливым летом.

Пока Демаха раздобыл в Югу что было надо, подкатился вечер. Знакомые уговаривали его:

— Заночуй, Дементий Иванович, дорога не коротка, на Каме полыньи, буран застигнет. — И, зачуравшись,

шептали:— Нечистая сила ноне беда шалит. Сколь народу уже сгнуло!

С нечистой силой Демаха сталкивался не одинова, и еще встречаться с ней желанья у него не было. Да ведь дома ждут, станут беспокоиться, а добрая лошадь в полянью не забредет. И Демаха, перекрестясь, двинулся назад. Ехал, и тоска точила сердце: тонок лед, быть напрок засухе! А на середине реки вдруг хватил сиверко, с визгом взвихрил снег, залепил глаза, скрыл дорогу. И, главное, лошадь, как во что уперлась, вздыбилась, захрапела, дернула в сторону. Знай да ведай — нечистого почуяла!

Не раз Демаха задумывался: где же на земле ад крошечный находится? А вот он где, не на святой земле, где Христос ходил, а у нас, близ Оханска, в камской глуботе разместился! Видно, нигде в других местах столь много грешников нет.

Страх Демаху насквозь продрал, волосы дыбом встали, взревел:

— Да воскреснет бог и расточатся врази его!

Взвыла иерихонская труба: «А-а-ы-у-у!» — твердь земная вскоряжилась да и рухнула в геенну...

...Очнулся он, когда лошадь резко сдержала бег перед Очер-рекой, привстал в саних, огляделся. Река искромсала лед, залила дорогу — черно, клубился пар, но умная лошадушка хлюпала по воде, тянула сани и вздынула на крутой берег. Внизу вода кипела и бурлила, опять верная примета — жди засуху.

Проезжая мимо дома Сатаны, Демаха с ненавистью думал: «Вот кому беда людская, засуха, будет на руку! Вот он где настоящий враг человеческий! Что лешак? Попугал меня, дурака, и отстал. А этот кажинный год норовит ухватить мою землю и хлеб. Его страшатся ребята мои — раздел задумали. Не-ет, вре-ешь! На-кось, выкуси! Не дам-ся я, извернусь от беды!»

Он был умный хозяин и не пугал заранее свою семью недобрыми приметами о будущем неурожае, но всю ночь не спал, думал, как спасти родных от голода. Мучимый сомнениями и надеждами, не веря попам и молитвам, он дал, однако, себя уговорить:

— Неспроста, батюшко родимой, поблазнило тебе. Видно, мы прогневили бога. Съезди в церковь божью, отслужи молебен. Пусть попушко приедет и избу нам освятит. Может быть, тогда хлебушко и не выведется из нее.

Исповедуясь перед попом, Дементий Иванович вдруг почувял всю глупую двойственность своего смятения. Он каялся, как чуть было заживо в ад крошечный не угодил, а на самом деле нечистого больше совсем не боялся и никогда вперед не испугается. А боится он надвигающейся беды — засухи. Сможет ли он спастись от голода? Вот! А ведь этого попу не выскажешь! И ни при чем тут, право, нечистая сила, а поп от нищенской суммы не оборонит.

«За каким лешим я припелся сюда?» — с горечью подумал Демаха, а отец Сиволоб насупился:

— Да, раб божий Дементий, неспроста тебе знамение небесное. Бог отвратил лицо свое от тебя, вот диавол и преследует твою душу.

— За что же это? — сорвалось с языка у Демахи. А поп зело воззрился на него:

— Не богохульствуй, червь земной! Смирись! Приеду усадьбу освятить, а теперь закажи молебен да с акафистом. Три рубля будет стоить.

Чуть вслух не ахнул Демаха.

Деньги у него были. Он хорошо знал: разве можно к попу за облегчением душевным без денег прибегать? Но требование выложить три рубля не пивши, не евши, как будто так и полагается в храме божьем, возмутило его, и он суховаато отнекнулся:

— Хоть задави, батюшко Сиволоб, а за душой ни семишника нету. Поноровить придется.

— Ну, нет так нет. Ступай с богом, — равнодушно ответил поп, отвернулся и ушел.

Небывалый душевный бунт у Демахи был столь велик, что он не мог просто думать, а ехал и судил вслух:

— Люди бают, не короткую я жизнь отжил, — а чего я видел в ней? Боялся я лешаков, а они пугнут, но три рубля не заломят, не сорвут. Сколь к богу за помощью ни прибегал, но ни разу ее не получал. Иэх-ма! Еще бы мне пожить — знал бы я, как мне надо быть! — Демаха вдруг вскочил в саних и закричал: — Эй, где вы? Бог ли, лешак ли, у кого силы больше? Дайте мне жизни еще! Дайте! Ну... ну самую махонькую. Не стану я чего не надо бояться, просить и умаливать, а буду лишь за землю и хлеб биться. И справлюсь я тогда с любой бедой. Ну? Где вы?

За Острожкой — мост через речушку Бусолку — проклятое место. И верно! Встала лошадь, прыдет ушами,

назад сдает. У Демахи сыннули мурашки по коже. Но злоба на попа, на самого господ-бога переборола страх. Он взял лошадь за узду, повел через мост. Храбрился, крестил ей морду, крестил себя, говорил, как другу:

— Неужто не понимаешь: насадили попы страху во всех логах и оврагах, легче им так с нас три рубля драть. А потом за освящение усадьбы барашка либо поросенка увезет, гуся либо индюка облюбует. И все дай-дай! Надо нам перед бедой все средства беречь, а он: дай-дай!

Переехали мост.

— Вот видишь, лошадушка, и нет никого! — радостно крикнул Демаха и подумал: «Вот бы нам Соломеюшка хоть разок привиделась, бесценная моя!»

От такой мысли Демаха рассмеялся, вскочил в сани, понужнул лошадь и заорал бесшабашную частушку. С ней и во двор влетел.

Поразились родные, а спросить не осмелились. Но после ужина Дементий Иванович стал суровым.

— Наутро ты, Яков, и ты, Николай, ступайте на базар. Гоните трех коров, всех баранов, везите мед, масло, сколь есть. Лошадей двух тоже продайте. На все деньги ржи и овса наберем. Хотя и худой год ныне, но хлеб по цене доступной.

— Какая нужда нам, батюшко, скотину мотать, коней лишаться? Ведь хлеба и корма достанет до нового, — спросил, не вытерпел Яков. Демаха поднял голос:

— До нового пробьемся, да будет ли новый-то у нас? Не знаешь? Что будет, если мы корм и хлеб скотине stravим, а нового хлеба не окажется? Не понимаете вы! Враг у нас наискосок от нас живет, ждет, когда мы обессилеем. И надо рассудить: жалеть ли скотину, либо самих себя поберегти. А мы не дадимся! Молчать! Не ваше дело — моя забота!

Как в воду глядел старый Демаха: все, чего по приметам опасался, — случилось. Засуха ударила в то лето невиданная, не собрали люди с поля и того зерна, сколь бросили в землю.

Только теперь родичи поняли, от какой беды спас их праотец, продав скотину и запаса хлеб. Но как они ни прикидывали, видели, что до нового урожая хлеба на прокорм и зерна на посев весной никак не хватит. Что тут делать?

Яков с Клавдией целые ночи шушукались. Они проклинали себя за то, что в прошлые, добрые годы не отделились.

Там, на Чуране, они бы теперь уже окрепли, были бы с хлебом. Туда заманивали людей наследники графа Шувалова: три года не плати за землю, только выкорчуй мелколесье, сделай землю пригодной под посевы. А земля какая! Черная, жирная, назьму не надо, жги лес — удобряй ее. Далеко ли, а засуха там — неслыханное дело. Кто смелее — перебрались туда и не нахвалятся — сыты.

Никола бесновался в одиночку: почему он не помог Якову отделиться? Земли бы убавилось на одну душу, одна наделная полоса, а едоков бы свалилось с шеи девять ртов. А теперь попадем живыми в лапы Сатаны, начнем батрачить. Беда!

Мороз по коже у него и у Якова пробежал, когда, сидя вечером у пожарки, где собирались удрученные мужики, услышали они ласковый говорок Сатаны:

— Не горюй больно-то, робя! Слава богу, я есть у вас. Ни одного одноподеревенца не обижу. Прокормить вас, правда, силы не имею, бейтесь как-нибудь, не впервой. Ну, а землю вашу всю засею. Половина урожая будет ваша, ну а другая, по правде святой, — мне за труды. И год и два так будет, есть время самим вам встать на ноги. Нечего бога гневить, горой за вас стою.

Сатана недоговаривал, что на третий год он эту мужичью землю целиком засеет в свою пользу. И никогда никто после такой помощи на ноги не вставал.

Лишь старый Демаха все предвидел и рассчитал, опять объявил свою суровую волю:

— Поутру Яков и Никола на базар. Оставим одну лошадь и двух коров, остальную скотину сбудем на зерно.

Никола несмело спросил:

— Не в уме нам, прости-ко, батюшко: ну, тягло мы продадим, а кого же весной в соху, в борону запряжем?

Дементий Иванович усмехнулся, помолчал и твердо ответил:

— Самих вас, баб ваших, робят всех, Ивана запрягу в соху, в борону. Сам коренником хомут надену-потяну. Мало будет — коровы помогут. — И крикнул: — Молчать! Не ваша забота! Которой вожжой потяну — туда и воротите!

С ним много не поговоришь! Язык чесать не даст! Скоро ли пропасть на него придет? Где это видано — на людях

пахать? Да еще смешнее — коров запрягать! Зубы скалит, старый лешачина!

А Демаха указал бабам:

— Добрый хлеб не пекчи, а с отрубями, с мякиной. Малым робятам постные дни не соблюдать, молоком, яйцами чаще кормить их. И молчать, попу о том не каяться. Я сам вам поп!

И все же Дементий Иванович в ту тяжелую осень допустил одну большую ошибку. Из ненависти к Сатане, из жалости к соседям-мужикам, которым он был так благодарен за поддержку против наскоков Панка, Демаха подрубил под собой сук.

На крестьянах Остроженской волости лежала постоянная повинность — чинить Казанский тракт. В горячую пору пахоты, сенокоса, страды оханская управа отрывала мужиков и баб да с лошадьми на ремонт тракта. За работу от зари до зари платили по... семи копеек в день. От такой работы и заработка голосом выли люди.

Староста Агей Кириллович умел пользоваться людской нуждой и силой. Не каждого он наряжал на тракт. И кто не был наряжен на эту работу, тот без напоминаний повинен был отблагодарить старосту чем и как может. Одни два-три дня работали на его поле, другие не жалели барашка, порося, кто что. Семья Демахи каждый год по-разному благодарила лихоимца, за что и от работы на тракту до сих пор избавлялась.

И вот, сам не желая того, Демаха стал поперек дороги старосте. Как-то на сходке мужики взмолились:

— Доколь ты, Агей Кириллович, станешь нас на тракт отрывать? Ни единую весну передышки не видим!

И тут вступил в разговор Сатана:

— А что, общественники, рази меня у вас нету? Завсегда избавить вас смогу. Снесусь ноне с тюрьмой, три десятка острожных либо пересыльных вместо нас с вами отробят, как голубчики! Три копейки им платят, а вам надо по семи. Двенадцать рубликов за две недели — тьфу! Ради дружбы!

Народ было довольно загудел, Агей Кириллович согласно кивнул головой. И тут как кто подколынул Демаху, крикнул он:

— Еловые головы, чему обрадели? Два года не родился хлеб, и вы почти все надельные полосы отдали ему исполу

на два года, а на третий он станет их полностью засеивать себе. Но раз вы дадите ему свое сугласье заплатить за себя три копейки за день, он задарма их не бросит, подосчет и на другую же весну ваши полосы себе запашет. Пошлите его ко всем лешакам!

От неожиданного удара Сатана содрел.

Староста поднялся с места злой-презлой. На самом деле: удержав народ дома, и он мог рассчитывать больше благодарности увидеть.

— Ты, Дементий Иванович, понапрасну себя как с цепи спустил. Зря осрамил ты Лексея Семеновича перед миром. С кем и когда он так поступил, ну-кося? Докажи! — И он погрозил Демахе пальцем. А Сатана уже пришел в себя и стал заминать неприятность:

— Да на что он, суд-от, между суседями? Я не сержусь. Меня не замараешь.

Агей Кириллович продолжал мягче:

— Сами глядите, мужики. Воли вашей не снимаю, а могу и поспешествовать в переговорах с тюрьмой и с этапом. — Но, повернувшись к Демахе, опять окрысился: — Была ли твоя семья на той работе? А за какую рожу тебя обходили? — Он постучал по столу. — Ну, погоди... помнишь...

Пригрозил на людях! Мужиков жаль-то жаль, да ведь своя рубаха ближе к телу. Ай как спохватился Демаха! Спина содрела!

Опять приметы оправдались — весна пришла добрая. Таких Дементий Иванович мало и помнил. Снегу за зиму выпало толсто, и земля небожно промерзла. Таял снег не бурно, вода с угоров не сбегала скорыми потоками, а насыщала землю. В воздухе стоял запах не камской воды, а прелой земли. Не холодным сиверком несло и не сухим полудником тянуло, а ласковым заходом. Выпасы на склонах угорьев, как коврами, украсились подснежниками. Рановато еще, но вода не студеная. Суглинок не жидок и не сыпуч, не утекает сквозь пальцы и не комится. Все-все приметы добрые! Даже жаворонки ныне прилетели вовремя, ко дню сорока святых — сорока мучеников, а лист на берегах — как шелк в руках!

Хоть и одна лошадь осталась, но Демахины свозили в поле весь навоз.

Недалеко и до весеннего Егорья, а до него, по нынешней погоде, землю надо вспахать.

Уже неделю семья Демахи набиралась сил, после худого хлеба ела добрый и убойнику. Дементий Иванович был весел. Однажды после ужина он объявил мягко:

— Сегодня раньше, без сумерничанья ложитесь спать. Завтра пахать начнем полосы, которые повыше. — Он пристально оглядел всех, и голос его подтвердел: — Ты, Иван, постарше других, в соху лошадь запряжешь, справишься. Яков с Николой, я вас учить стану, обеих коров попеременно в борону, спервоначалу приучить, запряжем, следом за сохой пойдем.

Все чада Демахи так и ерзули на местах, будто от грома ниже потолка.

— Осноди Сусе! — сотворила крест Татьяна, а Клавдия всплеснула руками. Яков очумело уставился на деда, а Никола ни с того ни с сего пнул чьи-то лапти под скамьей. Анна и Катерина с любопытством смотрели на батюшку. Подростки прыснули и весело ждали чего-то. Иван тяжело поднялся со скамьи, сказал, как резанул:

— Да ты, родимой, сдурел, пра-ей-бо!

Демаха негромко переспросил:

— Это я-то сдурел? — и, не дождавшись ответа, еще спросил: — А ты умной стал?

Иван выбрался на средину горницы и резко опять заявил:

— Никто на белом свете не ездит, не пашет на божьей скотинке! Противу писания это!

Демаха тоже вышел из-за стола. Он потыкал через плечо на заход большим пальцем.

— В тех краях, которые я испрошел, отнюдь не на лошадях, а только на коровах да на быках и пахут. Так почему и мы не сможем? И где и когда ты, сленошарой, божье писанье чел? Говори!

— Господь-бог не допустит...

— Господь велит не сеять, не жать, а жить яко птицам небесным. Ты почему это не исполняешь, хлеб запа-саешь? — Демаха схватил батог, замахнулся. — На колени пади!

Иван стукнулся на колени и резко крикнул:

— Сам не стану на матушках-коровках пахать и семье благословенья не дам!

— Ста-анешь!

Сроду Дементий Иванович не дрался, а тут ударил непокорного сына по голове. Иван склонился до пола, зарыдал злобно.

— Батюшко наш, молим, прости батюшку родимого! — взмолились в голос все, но никто не посмел ухватиться за батог, отвести руку праотца.

— Станешь? — Демаха снова занес батог. Иван подполз, обхватил одной рукой колени отца, другой схватил его руку, прижал к губам.

— Стану, отец мой дорогой! Стану и всем велю. Прости-ко меня, глупого. До чего я довел тебя, бить вынудил. Стыд-срам мне!

С непривычки первый день негладко прошел, но к вечеру все удивились: одну полосу вспахала лошадь, а другую — коровы, и обе полосы сборошили.

Дементий Иванович радовался, а ободренные родичи собирались и завтра работать от всего сердца.

Да не тут-то было! Ах Демаха-Демаха! Забыл ты про обиду, которую нанес власти на сходке. Но Сатана и Агей Кириллович не простили того. Перед сном уже сам десятский развезел по раме оконницы:

— Эй, Дементий Иванович, приказанье тебе: с утра посылай на тракт от семьи четверых, да без замены малыми, да с лошадью! Гляди, не проштрафься!

Как обухом по голове! Кому теперь на коровах пахать и боронить?

Но старый солдат привык подчиняться. Отправил он Якова и Клавдию, Николу и Татьяну с единственной лошадью на тракт, а с Иваном, Анной и Катериной выехал в поле и подбадривал:

— Не гнуть выи! Не правду бают: корова не лошадь, а баба не человек. Нажмем!

Между тем не много нашлось дураков в деревне, которые бы хохотали над тем, что Демаха на коровах пашет и боронит. Беднота спохватилась: значит, можно и на коровах, если не стало лошади, выехать, а не сдавать землю кулакам исполу! Ах мы, лопухи! И впрягли коров в сохи.

Староста и Сатана не могли же молча снести такой урон в своем хозяйстве: столь народу не пришло к ним за лошадьми, не сдали им землю исполу!

Едва Демахины принялись за работу, как десятский увел Дементия Ивановича к старосте.

— Ты что же это, Дементий, сам с ума спятил и народ мутишь? Кто разрешил тебе или благословенье дал на божьих коровах землю пахать, боронить? Так тебе это не пройдет, молодчик! — негодовал староста.

Демаха сдержал обиду на сердце и на вопрос ответил вопросом же:

— Неужто, Агей Кириллович, только поэтому отдернул ты меня в горячую пору с работы? Может быть, на козу хомут одену. Не заботься о чем бог не велит, отпусти-ка меня.

— Нет, постой! Смиренья в тебе не вижу, а непокорство прямое. Уму непостижимо, какие раздоры зачались: бабы коров не дают, а мужики тянут их в поле. И это ты перевернул все вверх дном! И за это ступай к попу, либо немедленно сам убирай коров с поля, либо я не знаю, чего с тобой сделаю! — орал староста и колотил кулаком по столу.

Но Демаха не дрогнул.

— К попу идти мне незачем, а на коровах стану делать, что мне надо. Люди сами про себя знают, не учить мне их. А вот чего тем старосту задело? Так это удивленье!

А староста злобно шарил в уме, чем бы шарахнуть этого зубатого упряма, но подходящего закона он не знал, можно было только безнаказанно мешать работать Демахе. И Агей Кириллович отправил старика с понятием к попу: пусть протрясется и время потеряет.

Отец Сиволоб не торопился беседовать с мирянином, который так и не заказал молебен с акафистом, а теперь выдумал пахать на коровах. Худо это или хорошо, кто его знает. Духовная консистория никаких циркуляров не давала, а в приходе случай такой первый, и, пожалуй, лучше будет осудить его. Недаром же того требует и староста.

Думал-думал поп, а у Демахи два драгоценных дня как в воду канули. Как зло ни распирало, он настраивался не перечить попу ни в чем. Демаха хорошо знал, как опасно спорить с попом. Может поп без ножа зарезать, хуже старосты вред причинить: надумает грехов и отправит на моление в монастырь теперь же, да на целый месяц. Вот где будет гибель всей семье!

И все-таки Демаха обозлил отца Сиволоба.

— Темный я, батюшко, но насмотрелся, как хохлы, нашей же веры, ездят и пахут на коровах, а старосты и попы

за то не клянут их и не преследуют. Так пошто же мне от вас всех осужденье исходит? — бухнул он так с горечи и осекся.

— Замолчи! Откуси язык свой и выплюнь псам смердящим. И не мучай божью тварь, да не последуют тебе иные, неразумные. Молись и каждодневно всю неделю приноси полста поклонов богу земно.

И не чаял Демаха столь милостиво вывернуться.

Как ни спешил он домой, но по дороге на миг задержался и обратился к богу:

— Не гневись, не нашли на меня еще чего-либо похуже, а нету места у меня теперь бить тебе поклоны. Войди хоть один раз в положение, овремени, когда отсеюсь, враз все отмахую.

На воротах и на стенах домины своего увидел Демаха намалеванные углем круги, а в кругах кресты. Мазня эта поразила его, и он вошел во двор с недобрим предчувствием.

И тут его затрясло от гнева: Иван, Анна и Катерина были дома и, видно, не выезжали сегодня в поле. Под навесом бабка Васиха шептала чего-то над пойлом в ведрах для коров.

— А что за тряска такая — не на пашне вы? К чему прохлаждаетесь дома? — грозно спросил он. И те, стуча зубами, поведали ему:

— Вчерась еще побежали по избам бабка Васиха, Улита Вестница, да и другие старухи застрашивали всех: Демаха-де зажился на свете потому, что он и есть самый антихрист. Родиться на полосах станут коровьи лепехи, а не хлебушко. Ну, после этого бабы разодрались с мужиками и угнали коров с поля.

И все трое залились слезами. Анна собралась:

— Пойду-кось, батюшко, теплой водой — иконку я в нее макнула — смою с ворот и со стен те печатки.

Понятно стало Дементию Ивановичу все, что творилось без него, и он ответил:

— Не смей смывать их. Привыкайте к ним сами и пусть приглядятся люди. У кого голова на плечах добрая — поймут и отсмеют Сатане и старосте попуше того маранья на стенах. А сейчас собирайтесь на пашню.

Хорошо знал Демаха, что семейственники все-таки боятся больше всего его, а не бога, лешака и всяких выдумок. И необходимость заставляла страх их выбить страхом же.

— Эй ты, старая колдунья, долой со двора!

Он затопал ногами, и Васиха понеслась вон, как будто ноги у нее помолодели.

За воротами Демаха указал родным на мазню, рассмеялся:

— Глядите, милые, и втолмачьте себе: ничего они, эти тикетки, нам не причинили.

Проходя мимо, он погрозил ненавистной доминне:

— Обожди, Сатанище, люди умнее станут! Придет пора — тебя хуже, чем француза из Москвы, бабы и мужики вилами прогонят! И не найдешь, мироед ты, места нигде!

А осенью победа была полная: купили еще двух коров и пару лошадей.

Все приметы были хорошие, собирался Дементий Иванович и в новом году засеять свой клин своим зерном и окрепнуть. Но весной пришла всем беда, которую никто не мог предвидеть.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ИВАН ДЕМЕНТЬЕВИЧ

Сын Демахи Иван Дементьевич мало чем походил на отца, бывшего солдата, властного хозяина. И развернуться ему самостоятельно ни места, ни времени не было. Хозяином был отец, который, казалось, никогда не сломится, а тут выросли его, Ивановы, сыновья Яков и Никола. Жена у Ивана умерла вскоре после рождения Николы, а жениться в другой раз отец ему не дал. Сам Дементий Иванович любил и знал в жизни только одну свою Соломею и такой же стойкости требовал от всех. Пока не вырос и не женился Яков, в доме и хозяйки не было, но Дементий Иванович был непреклонен, говорил:

— Не дам сугласья тебе на женитьбу. Не стало жены, а мысли свои ты с ней держи и будь верен ей до смерти. Ты человек, а не кобель, не кот и не петух. И робятам вторая доброй матерью может не оказаться. Задумают они отколоться, землю делить, старину зорить.

А тут женился сын Яков, и Иван остался в домашности сбоку припека.

Он всю силу в дело вложил, но в душе затаилась глубокая неудовлетворенность. В царскую службу он не ходил и нигде дальше Осы, Оханска и Перми не бывал. Незнание жизни, обида на нее и на отца, тоска по женщине, бывало, толкали Ивана на гульбу и выпивку. Но на это требовались деньги, а они не часто бывали и строго учитывались отцом. Приходилось, чтобы отвести душу, ловить редкие, подходящие случаи.

И вдруг в девяносто пять лет задумал Иван жениться и отделиться.

Замечать стали родные: по вечерам Иван уходит куда-то, по ночам ворочается, вздыхает; пропал туюсок с медом, пара новых женских лаптей.

Однажды, одевшись, он начал собирать узел: свернул свой войлок, подушку в него, пимы, рубаху с портками.

Дементий Иванович спросил:

— А в какую, Иванушко, сторонушку собрался? И времячко-то позднее на дворе.

— Ась?.. — вздрогнул Иван. — А я, батюшко родимой, благослови-ко меня... жениться лажу... — сбиваясь, ответил Иван и от волнения сел на свой узел.

— Свет ты, осподи! Родименький... — всплеснула руками Татьяна. — Не иссякла охотка!

Клавдия от смеха закрылась передником.

Подростки удивленно окружили дедушку, а Яков и Никола отвернулись к окну. Демаха стал разыгрывать:

— Почто же тебе куда-то тащиться, сынок? Давай сватков зашлем да ее, невесту-то, в дом к нам приведем. Можно — так скажи нам имячко твоей касатки?

— А это самое... как ее? Терebihой ее все гаркают... А имя-то? Забыл, пра-ей-бо! Погоди, зашибло... будь она проклята... — совсем запутался жених, тер коленки, не мигая смотрел на отца.

Больше никто удержаться не мог — закатились хохотом. Терebihа была старая солдатка, и никто в деревне имени ее не помнил.

Тут Иван борзо вскочил:

— Выделите мне мой пай! В силах сам я вожжи держать!

Демаха не терпел разговоров о разделе. Мало ли кто бы как задумал жить!

— Паю захотел? Кошачий умок! Я те такой выделю — родных не узнаешь! — Он подскочил к старому сыну, замахнулся батоном. Иван слабененько стукнул себя в грудь кулаком.

— Эх ты, батюшко родимой! Веку ты мне унес! Земли тебе все, земли! Сто годов ты коробишь жизни наши ради прихоти своей, добра не видать! А кабы у меня тоже не было намерений каких? И у меня здесь не овечьи потроха...

Но под упорным взглядом отца он как подавился, закинул узел на полати, полез на печь.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

НИКОЛА, ТАТЬЯНА И ДОЧЬ ИХ АННА

Якову, как старшему сыну, царская служба не угрожала, повинен был отбыть ее младший брат его Никола. Но старики, Демаха и Иван, не пожалели денег и седи на взятки, чтобы вызволить Николу из беды. Заранее Иван Дементьевич стал возить в воинское присутствие и к фельдшеру лукошки с яйцами.

— Покажи мне, старик, своего сынка, может быть, я и найду зацепку сохранить его от напасти, — сказал фельдшер. Иван выдвинул здоровяка Николу.

— Нда-а, — сразу задумался фельдшер. — Все ли персты на ногах? Не плоская ли ступня?

Ноги были какие надо солдату.

— Нда-а. А нет ли недостачи зубов?

Зубов был полон рот.

— Сколько вон на дворе, у колоды, пурхается воробьев?

— Два.

— Востро видишь, плохо дело. А в груди ничего не препятствует?

— Не кашляю, слава богу.

— Нда-а. Здоров, как назло.

Время призыва приближалось, бабы в семье уже поплакивали. Старики увеличили количество подарков в Оханск, и вышел Никола из воинского присутствия беда веселым.

— Грыжу ушупали, забраковали!

Когда еще женился старший брат, Никола понял, что он останется в домашности, как и отец его Иван, просто никем.

И его потянуло как-нибудь изменить жизнь. Он завидовал сверстникам в деревне, которые жили хотя и беднее, но куда свободнее и веселее. В любое время, куда угодно, они ходили на разные работы, пусть не помногу, но у них водились деньги, имели они и красные рубахи, и пиджаки, и сапоги. А дед Демаха, сковырня его лешак, водил всю семью в понитковом, в лаптях, а на гулянку разве только тайком изредка улизнешь.

Никола не смел проситься на работу у деда и робко обратился к отцу:

— Отпусти меня, батюшко, на чугуне поробить.

Иван испугался.

— Молчи-ко! Услышит сам — согрешишь с ним.

Прошел не год, пока Никола набрался духу снова попросить о том же самого Демаху.

— А-а, не о земле, не о хлебе ты печешься?! Не домашность и старина у тебя в мыслях! Может быть, тальянку или балалайку охота завести? Один исход — женить тебя, а то ты вовсе свихнешься. Женю! — разбушевался Демаха, а Никола обрадел прежде времени. Была у него на сердце девка Ненила в Окуловке, с которой они и руки жали со значением.

— Раз, батюшко, добрый дух напахнул на тебя, возьми за меня Ненилу. В ножки кланяюсь!

— Да ты по-вольному, не спросясь, девку облюбывал? Да рази это твое дело? Сам я погляжу, чего она стоит, — сказал Демаха и на гляденые невесты взял с собой Ивана.

— Накрывай на стол сама, Ненилушка, угощай гостейков, — сказала мать дочери. Родители ее сразу смекнули, зачем к ним пожаловали старики, древние обычаи которых да и смиренный парень Никола были им по нраву.

Понятное дело, как Ненила переполохнулась. Лишку она засуетилась, а доброй невесте положено быть степеннее. Улыбка не сходила с ее лица. Стала она резать хлеб на столе, а разве так полагается, если она у настоящих отца с матерью вскормлена: надо каравай прижать ко груди и так нарезать аккуратные ломотки. По рукам ее мало хлестали, вот и неладно воспитана. Отец Ненилы совсем не знает порядку: поставил к угощению вино, а добрые люди на смотринах вино не подают и сами не пьют. И с вина, которое пил один, он еще расхвастался: за единственную-де любимую доченьку не пожалеет и двух коров

придать. Эка невидаль! Демаха намекнул: раз дочь одна и любимая, не жалел бы отец и полоску земли за нее прибавить. Это было бы подходяще!

В ответ отец тоже намекнул, что-де никакая девка полосы земли не стоит, жирно больно так будет: в наших местах и порядку такого не водится.

Дома Демаха заявил:

— Ни с которой стороны Ненилка нам не подходящая. Зубоскалистая, хлеб резать по-людски не приучена. У отца от снухи нос багровой. Пусть беднее того, но сам я найду тебе невесту.

Никола повалил было головушку на стол, но Демаха рывкнул:

— Моя забота женить тебя, а не твое дело!

И за год до призыва на военную службу Николу женили. Старики на базаре договорились без молодых, и они увидели друг друга только под венцом. Из починка Татарки на Каме, откуда когда-то приехал и сам Демаха, взяли Татьяну Давыдовну. Она была маленького роста, но очень красивая.

Не поймешь душу человеческую! Тосковал ли Никола по Нениле, хотя и не поминал про нее, возненавидел ли жизнь, которую Демаха без остатка подчинил себе, старине, земле, хлебу? Кто его знает! А стал заводить Никола любовь на стороне, да не один раз, и жизнь у Татьяны сложилась горькой. Дело давно прошедшее, и немало такого творилось у людей, но Никола был чересчур безжалостным к жене.

Забитой Татьяну назвать было нельзя, но больно уж она была смиренная. Заберется на сеновал или убежит на гумно и наревется там беззвучно. Как-то умела она беззвучно плакать и смеяться, за что и звал ее Никола божьей коровкой. И никто в семье жалоб от Татьяны не слыхивал, да и негде было ей привыкнуть жалобы разводить: в семье у отца было их тринадцать девок и жили как — лучше не упоминать.

Вина Никола не пил, из дому ничего не уносил, но однажды он нарвался на соперников, и те избили его, а после и просмеяли. Узнав про все, Дементий Иванович возмутился донельзя:

— Пошто я сто годов верной своей Соломее? А ты — обок жена! Скотина ты али кто? Я те укрошу похоть — другим закажешь!

Он свозил внука к попу. Целую неделю Никола отбивал перед иконой по двадцати поклонов каждодневно. Не помогло! Бабка Васиха старалась тоже, неделюшку поила Николу настойкой с приговорной к жене молитвою. Крепко-накрепко сшила она портяной ниткой Николину пуговицу с Татьяниной петлей. Чего уж надежнее! Ссохнутся они в печурке, ссохнется и жизнь супружеская. Без толку! Как оглазел Никола — пуше задурил.

Счастья и радости Татьяна Давыдовна мало видела. Рожались парни и не выживали. А тут выросла Анна.

Первым посватался за нее второй сын Сатаны.

— Как? За сына такого варнака, от которого люди воют? Родниться со снохачом? Вот вам бог, а вот и порог! Сваты остереглись и передать такую брань Сатане.

Анна не страдала от этого отказа. Но скоро она слюбилась с Крысаном, с добрым парнем из Губников. Когда о том проводали старики, они сказали:

— Если любя ты ему, пусть он входит в нашу семью. Надо нам за девок брать мужиков в дом, тогда земли нам прибавится, старина укрепитя.

Но у Крысана были отец с матерью и сестры. Не хотел он бросать их. Анна бежать с Крысаном тоже не решилась.

Татьяна умоляла стариков и мужа не губить Анну, но те ничего не признавали.

— Какая такая погибель ей? Погибель, когда земли и хлеба недостает!

Анна родила дочь, а через год и сына. Чего и говорить, каким позором почиталось, когда девка без венца ребенка приносила. Ворота демахинские были вымазаны детем. Самого Демаху, врага всякого блуда, да и всех в семье это подсекло. И уж теперь-то следовало отпустить Анну, Крысан все еще звал ее. Нет! Праотец превозмог стыд-срам, стоял на своем, рассчитывал:

— По закону на каждую мужскую душу полагалось бы нам земли по две десятины. Это вместе с лесом и покосом. Но ни лесу, ни покосов у нас не дают, а только пашни с полдесятинки. И надо мне за всех девок мужиков в дом взять. Сколь земли привалит! Вот где избавление нам!

Не думал Демаха о том, согласится ли кто идти к нему в дом, жить под его суровой властью.

Презрев мирской стыд, горе Анны, Никола дал ребятам свое имя. Девку окрестили Настасьей, по отчеству

Николаевной, парня — Данилом Николаевичем. Любили Настю, а Даньку прямо радовались, потому что Демаха получил на парнишку полосу земли.

Так мечтали о земле не одни Демахины. Родители Крысана не шелохнулись, когда услышали, что Анюшка демахинская от их сына родила девочку. Но вот до них достигла молва, что она принесла парня, которого Никола усыновил, а Демахе уже прирезали полосу земли на него. Тут Гаврило, отец Крысана, как белены глотнул, замахнулся на сына.

— Зашибу, легче мне станет! Разлапушка твоя сына от тебя притащила! Наш! Мы старались, а Никола поспел, усыновил парня, а Демаха уже полосу земли приграбастал. Нам бы она сгодилась! Отдай мне, бестолковой, землю!

— Сам опробуй, батюшко! Всяко звал Анку: добром и убегом за себя. Нет, она, окаянная, одно твердит: мы-де, демахинские, крепкие, старину зорить не станем, айда ты сам, Крысан, к нам, все тебя любить станут. Вот и возьми ее за сколь знаешь!

— Спутанную ее приволок бы ко мне, а Демаху я бы оглоблей до ворот не подпустил. Отдай полосу!

Вмешалась мать Крысана — Лизавета:

— Парня с землей из рук выпустили! Запрягайте лошадей, сама поеду я к Демахе и все улажу. Анку с ребятами домой представлю.

Лизавета вошла к Демахиным в избу, перекрестилась и взвеличала всех по имени и отчеству.

И едва Демахины вразбивку ответили, как она подошла к годовалой Настюшке, которую держала на руках Клавдия, прошептала с надрывом:

— Внучонушка! Вся в нас... — И сама отдернула занавеску у зыбки, склонившись над Даньком. — Ну, хоть куды ступай — весь в Крысана! Голубчик наш...

Слезы показались у нее, но она подавила волнение, отошла от зыбки и села обок с Дементием Ивановичем.

Анну трясло, и она обеими руками ухватилась за край скамьи, на которой сидела. Татьяна Давыдовна толкнула Катюшку разжигать самовар. Все были не в себе. Только Демаха спокойно спросил:

— Как здоровье-то у Гаврилы Степановича?

Но Лизавете было не до прочих разговоров.

— А чего ему стряслось! Да и не от чего хворать-то, с хлебом мы ныне, слава богу. А приехала я не шоры-еры

разводить, не чаи распивать. — Она показала на Анну. — Тоже она наша. Решить надо дело. И давайте-ко, милые, не ерешеньтесь больно-то, без вас и без нас молодые любовью сблизились, а грех надо венцом прикрыть. Соберите их по-доброму, увезу я их домой, где им место быть.

Демаха засмеялся и хлопнул себя по карману.

— Земелька на него — здесь вот!

Лизавета с места вскочила.

— О земле пускай мужики ладятся, а я людское намерюсь соблюсти! На удивленье всему миру парень от своей домашности должен в чужие люди уходить на житье? Анна, собирайся! Слушайся меня, кутай робят, носи в телегу, айда на место, домой! И весь сказ тут...

Анна скользнула со скамьи на колени, прижала руки к груди.

— Батюшко родимой, благослови...

Мать ее прошептала:

— Смилуйся, родной...

— Мо-олчать!

Татьяну как ветром сдунуло, упятилась на середину. Никто больше рта не раскрыл, голоса не подал.

Скоро Крысан женился.

Так, любой ценой Дементий Иванович стремился добыть земли. Татьяна Давыдовна совсем поседела, и рано звать ее стали бабушкой.

А тут заневестилась Катерина.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

КАТЕРИНА

К Катерине льнули женихи. Бедняки вздыхали:

— Хороша невеста, да кабы хлеб был!

Но никто не порывался за Катериной идти жить к Демахе в дом.

— Хороша, как наливная шанежка! — восхищались богатынки, а сватов засылать не решались, знали, чего добивается упрямый Демаха. Да и сама Катерина держалась того же берега: сохрани боже, расстаться со стариной, жених должен войти в их дом.

Боясь еще раз осрамиться, насмешить людей, как это случилось с Анной, праотец Демаха, дедушка Иван и отец Никола не спускали с Катерины глаз ни в церкви, ни на базаре, ни в хороводе у пожарки. Но Катерино сердце пока не задел ни один из женихов. Правда, брала уже досада, когда женихи, не добившись ее согласия, начинали заигрывать с другими девками, а сваты подворачивали коней к другим воротам. Но и тут она упрямецчала:

— Не горюшко мне! На их место — десяток!

Анна жалела сестру и уговаривала:

— Дай согласье Сташку. Бравый парень, семья добрая. Как-нибудь слошим стариков. Я погублена, а ты будь смелее.

Но Катерина пока отнекивалась.

Но сколь бы девка ни крутилась, а сердце ее обожгло. И кого Катерина полюбила-то, ой-ей-ей! Из самого последнего рода, Петруху из деревни Пустомолвиной, по прозвищу Мазет.

Петрушка отца не помнил. Мать его, Александровна, бродила по селам и деревням.

Шатаясь с ней по дорогам, Петрушка был грязен и одет не гляди глаза в какую рвань.

Лет с тринадцати пошел Петрушка по работам. К чему поминать, сколько он намотал на кулак слез, а все-таки вырос.

Петруха из крайности выкарабкался и не пил, не курил, а завел себе тальянку. Заявился однажды на вечерку в Усолье и с ума всех свел. Разодетый — за мое почтение: фуражка на ухо, сатинетовая рубаша с витым поясом из-под пиджака завлекает. Рослый, на лицо умильный, он до того обходительно со всеми поздоровался за руку, что заперешептывались:

— Вот-те и Мазет! Сто очков вперед всем дал!

Старики подтолкнули друг дружку:

— Правду бает божье писание: последние станут первыми, вот оно!

А Петруха уселся да грянул на тальяночке, а сам подтянул:

Разлука ты, разлука,
Чужая сторона...
Никто нас не разлучит,
Только мать сыра-земля...

Так тут, мои матушки, все девки оставили глаза на нем! А он сменил ногу да еще прелестнее того завел:

Чудной месяц плывет над рекой...
Ничего мне на свете не надо,
Только видеть тебя, милый мой...

И еще! И еще! Откуда и брал?! Как будто песенки у него, как и тальяночка, через плечо на ремешке висели.

И, понятное дело, усольские парни взъерепенились. Под утро на дороге, у крестика, они скараулили Петруху. Дрались не на милость божью! Обороняя не столько себя, как тальяночку, Петруха Очер-реку без броду, весь измок, пересек. Она, милая реченька, только и отсекла погоню, а то бы неизвестно, чем закончилась драка. Вслед грозились:

— Заявись еще раз! Башку назад шарами завернем!

И хуже ребята сделали себе. Драка эта не осрамила Петруху, а, наоборот, помогла успеху у девок. Едва затянулись ссадины и рассосались синевицы под глазами, как Петруха снова появился в Усолье. Наигрывал, заливался.

Неслыханное дело, сколь он наполучал подарочков от девок. А Катерина спалила свое сердце.

Сидя под демахинским тыном, она уговаривала:

— Айда, Петенька, к нам в дом, стариков я умолю. Перестань ты шляться по работам, жить виноголодь.

А он отказывался:

— У меня — мать. Она не кинула меня, как ни горько ей жилось. Да и под началом таких идиотов, как твои старики, жить неохота.

— Да никто у нас не дерется, Петенька, не бойся. Так только, острастку наводят, кулаками пусто машут.

— Замах — хуже удара. И так я бит досыта. С тычками и вырос. Бежим в город и там обвенчаемся. Станем биться за то, чтобы постоянное место работы где добыть. Решайся!

Но Катерина не решалась, мечтала:

— Обождем, Мазетушко. Чует мое сердечушко — добром мы женимся. Да и ворожила я — все горошинки в одно местечко сбежались.

Счастливые, они до того забылись, что глаза закрыли. Тут, как лешак от божьего неprisмотру, накрыл их Никола. Он ухватил дочь за кудри, а Мазета так огрел по шее, что тальяночка покатила в кусты.

Дома Катерина заявила:

— Убей меня, батюшко, а благослови за Петю!

Никола бесновался:

— Петю сыскала? Не Петя он, а Мазет! Мирской вскормленник! Ни земли у них с матерью, ни ложки, ни поварешки.

Татьяна Давыдовна вступилась:

— Да ты, Миколонька, уж загубил одну дочь. Толкнул Анну незаконных ребят поиметь. Искорежил ей жизнь своим поровом. За землю вы готовы всех загубить.

А у Петрухи наделная полоса земли еще в детские годы подволошенскому кулаку проедена, и Демахе в дом он не нужен.

Стали Демаха, Иван и Никола вокруг дома ходить, как бы Петруха с Катюхой еще не встретились.

А Демаха принялся искать жениха, какой был нужен старому хозяйству. Тут навязалась помогать ему вселенская сваха и сводница Пашка Криуха-драное ухо из Андреевки. Терпеть не мог ее Демаха, но скрепил сердце до поры: вдруг да польза окажется. А как раз она-то и сыскала женишка для Катерины, о каком Дементий Иванович в уме не держал.

Дверь в горницу распахнулась, и вошла Федора Колотовка из Лужков.

Уважал ее Демаха и водил разговоры с ней при встречах без смешков, как будто с добрым мужиком. А она заслуживала это. Оставшись круглой сиротой, Федора головы не потеряла, домашность из рук не выпустила, взяла себе в мужья доброго парня. Да не повезло ей, не успела принести первенца, как мужичок умер от леготки.

— Спи спокойно, милой мой Егорушко, никому я больше сердце не отдам. На том свету соединимся! — поклялась на гробу мужа Федора и стала жить так, что никакая пташка про нее худого не прощелкнула. Золотая была баба! Какие средства скопила!

— Добро пожаловать, небывалая гостыюшка! Проходи-ко наперед, садись-ко.

Федора про то, про се напрасно языком не молола, сразу к делу перешла:

— Разговор-то какой у меня к тебе, Дементий Иванович! Ни к кому другому не подступилась бы с таким, а ты всем ума даешь — не осудишь. Возьми-ко в дом к себе за Катерину сынка моего, милого Евдокима.

От неожиданности Демаха весь повернулся к ней, а Федора за рукав его взяла.

— Слышал, наверно, какой он работливой, смиренной и к Катерине тянется, не утаил от меня. И вот хоть хорош сынок у меня, а то ли я мало его лупила — лишку гладила, а самому ему хозяйство не составить, слабохарактерной, может только в крепких руках быть, в таких, как твои. Тогда я умру спокойно.

Демаха все еще в ум не пришел, а Федора подтолкнула его в бок.

— Радехонька не только отдать наделъную полоску за него, а прикуплю еще одну в собственность, не говоря — все, с домишкой и усадьбишкой, после смерти моей — его...

Дай же бог тебе здоровьица, Пашенька Криуха-драное ухо!

Федора не все сказала, а Катерина уже хорошо знала Евдокимку Федоркинова, который на гулянках и играх из всех девок первой ей всегда угощенье, орехи и пряники сыпая в подол, звал не других, а ее плясать. Был он пригож, обходителен и чисто одет, и Катерина не отворачивалась от его заигрываний.

Да вот беда и смехота с ним: плясал ли он с кем, беседовал ли, но, как только на глаза ему попадалась муха, Евдокимко с лица менялся, бросался ее ловить. И если удавалось схватить ее, растереть подошвой, он приходил в себя, сиял. Когда же муха улетала, парень растерянно блуждал глазами, стоял, разинув рот.

Прозвали его Мушиная кара.

И вот Демаха объявил семье свою волю. Катерина без ума закричала:

— За кого ты меня, батюшко родимой, проткнуть задумал? Заверни лучше живую в балахон, отправь на могильник!

На такую небывалую дерзость, к удивлению всех, Демаха не обозлился, что было хуже всего, значит, его решение бесповоротно.

— Чем он тебе не по губе?

— Не все у него в голове дома! Худоумной...

— Мух ловит? Экое место! Лови он, не жаль. Одумается — перестанет.

Хотя Федора об этом и не упоминала, но Демаха хорошо знал. Две полосы земли для старины — дорожке Демахе всего на свете!

— Не твое дело об уме мужика судить! Знай: дар божий бабе — пришивать заплатки. Люби не люби — почаще взглядывай. После сева свадьба, и баста!

Всякие разговоры с праотцом больше были ни к чему, а Евдоким зачастил в гости с пряничками и орешками.

А Петруха звал:

— Бежим, Катя! Решайся!

Она припадала головой к его груди, ревела:

— Знаю я, чего сделать...

Напрасно она так заявила: не знала Катерина, как спастись от беды.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ПОСЛЕДНИЙ ДОБРЫЙ ВЕЧЕР В СЕМЬЕ ДЕМАХИ

Самое тяжелое было — матушке родимой Евдоким пришелся по душе. Слезы и отчаяние Катерины казались ей обычными у девки перед замужеством.

— Не реви-ко, Катенька! Всех слез не выплачешь, немало их будет и после. А то, ну ладно, пореви.

Невыносимо было Катерине — и Анна и вся остальная родня, оказалось, не терпели Петруху: улестил и их Евдоким угощениями и ласкою.

В этот вечер соседями набралась полна изба. Евдоким прискакал на лошади верхом. Под суровым взглядом праотца, дедушки, отца, подталкиваемая матерью, теткой и сестрой, Катерина села с женихом рядом, как на каленые уголья. На угоре за речкой ревела-наговаривала песенка под тальяночку:

Разлука ты, разлука,
Чужая сторона...

Сколько раз самовар подогревали, веселились. Уж как велось в доброй семье Дементия Ивановича, стал он разные случаи из долгой жизни вспоминать, а Татьяна Давыдовна

сказки рассказывать. Никому не мнилось о беде: забыли как будто о Катерине, а она вся сама в себя ушла.

Поздно с горячей думой о земле и с надеждой, что добрые молодцы Емельяна Пугача может быть все-таки вернутся и добудут им землю, расходились соседи с посиденок у Демахиных.

Евдоким с силой прижал голову Катерины, поцеловал в губы.

— Желанная! — прошептал он.

— Желанной и ты, любезный Евдокимушко... — за дочь ответила ему и поклонилась матушка. Демаха крикнул от удовольствия, и вся семья высыпала из избы проводить дорогого женишка.

Вскочил в седло, лихо стегнул лошадь Евдоким и слился с теменью, одни копыта наговаривали.

За речушкой, в лесу, дико ухал леший, тоскливо кричала птица Гайкун, и все заторопились в горницу.

На полу билась Катерина.

С ней отводились. Но пропали в семье веселье и радости, как будто кого схоронили. Демаха осел, нет, он не отменил своего решения — и вслух говорил и про себя бормотал:

— А земелька нам как же? Неужто кто чего затеет, тому и быть? Погоди — отсеемся, до того все умнется...

Яков с Клавдией беспрестанно шушукались:

— Все едино отойдем... дай только бог умолот доброй...

Соседи по вечерам перестали собираться, не говорила сказок бабушка Давыдовна, не шли на ум воспоминания Дементию Ивановичу.

К слову сказать: беда не приходит одна — каждому известно, а тут еще как-то ночью из-за печи раздалось:

— Ппы-ых-пша-ах! Пшш-ш-ш...

Господи, страшной суд доспел! Замерли Демахины, головы укрыли, ноги утянули, дых затаили. До света дрожали, зубами стучали, с жизнью простились.

Демаха первый почувал запах и мокро, опаматовался:

— Да то опара раздурелась!

Раздурелась! Бог бы с ней, раз обе бабы, каждая сколь могла, закваски в нее брякнули. Да ведь это не к добру. Эх, чего только и будет?

Не прошло недели — курица петухом запела. Спаси и сохрани нас, боже!

Тут корова преж времени скинула. Клавдия солоницу расхропала, соль просыпала. Господи, чего нас ждет?

А веснушка катится добрая!

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

РАЗОРЕНИЕ

Весна пришла добрая! Неоткуда и быть беде. Все люди были веселые, а Демаха как помолодел, радостно говорил своим:

— По всему видать — опять хлеб уродится! А там, бог даст, и третий годок не хуже. А нам бы только три лета сподряд уродных — и мы своей землей почнем обзаводиться. Жить станем!

Да, стадвадцатичетырехлетний Дементий Иванович жить собирался! И жить так, как он еще никогда не жил. Ради этой жизни он не жалел себя, не щадил и родных. И вот эта жизнь обозначилась со всей заманчивостью. Демаха уже воочию видел: как, и какую, и где он купит землю. О, надо непременно — в низине, около Очера! Тут в любую засуху хлеб родится.

Заразил Демаха своими радостью и надеждами всю семью: как праздничек встретить выехали пахать сразу две полосы. И тут у них рученьки опустились, бабы заголосили:

— Уж не напрасно было столь примет нам: опара из квашни убежала, соль просыпана, кура петухом заголосила, корова до время скинула. Вон сколь мы прогневили бога! Вот и извели нас Панушковы в самое больное место. Что делать?..

Еще не бывало, чтобы захватчики когда-либо дерзали, урывали у соседей земли враз по стольку много. А на этот раз припахали себе Панушковы на три шага дорогой, кровной земельки.

Староста Агей Кириллович и не дослушал до конца жалобу Дементия Ивановича.

— Не ври ты, чтобы целую сажень они! Из ума ты выжил! Да и пусть хоть всю полосу — не мое дело.

И поп Сиволоб усомнился:

— На три шага? Эх, раб Дементий! Обеими ногами в гробу ты, а столь грепишь! Не боишься гнева господня,

на руку врагу человеческому экую хулу на суседей несешь: на три шага! Небывалое дело! Может, на какой-либо малой шажок они ошиблись, случается огрех. А ты — на три шага! Молись-ко больше, подави злобу в себе. Удосужусь после сева, поговорю с Памфилом...

После сева! Нет, духовная власть не спешит на помощь таким слабым в вере прихожанам, как Дементий Иванович.

А дома долетали в окно от Панушковых ворот хохотки и заирки. Там нарочно громче кричали, чтобы подавить самый дух семьи Демахиных.

— Да на что ему земля-то? Скажи на милость! Мало ты, Панко, хапнул — отмахни еще! Поглядим, как скорчит-ся он! — хохотал Захар.

— Если трухнешь, Панко, веры моей тебе конец будет! Держи, что взял! Смеху-то, пра-ей-бо! — травил Сатана.

— С места мне не встать, не тронул я его полос ни дюймовочки! Это он, пропащина старая, от меня ладит урвать! На мою землю шары выворотил, жади́на проклятая! — орал Панко.

Он хорошо все рассчитал: староста больше не будет помогать Демахе, поп тоже ненавидит его, а мужики-соседи — перед нынешним посевом в займах у Сатаны и у других кулаков. Да и они косо глядят на Демаху по простой причине: все почти разорились за эти годы, только Демаху ни вьюгой, ни морозом не хватило, как корень в земле. И зависть подавила у соседей уважение к Демахе.

Демаха сидел, слушал все эти крики с угрозами. Упервшись бато́гом в пол, он твердо говорил своим:

— Чуете? Варнакам потачка от всех властей и богатинок. Так они и еще две полосы сузят нам. Да не гните выи, не первая нападкa! А рази можно земельку уступать? Да ни в жизнь! Чуть забрезжит свет — мы отмахнем ее обратно, чего бы ни случилось...

Ах Демаха-Демаха! Год за годом проходили, горе за горем, беда за бедой наваливались, умел ты их предвидеть, обойти, да и теперь бы со своей смекалкой и дружной семьей отбил бы зубы-охотку на чужую землю варнаку Панушку, да вдруг разразился над оханской землей такой удар, какого ты не ждал.

Еще не успело рассветать, а Демахины и спать не ложились, кто-то по деревне пробежал, кулаком в оконницы забрякал:

— Эй, вставай, народ! С пашни гонят — землю отбирают! Конiec свету нам!

Прибыл в волость управитель строгановских наследников и объявил: землю на Очер-реке пахать и засеивать хозяева ныне да и впредь всем запретили. Самим-де им она нужна. А зачем? Неизвестно.

Никому бы в голову не пришло, что с этой землей когда-либо так обернется дело.

Не стали мужики слушать старосту, двинулись в Острожку, к старшине.

У графского управителя скобелевская борода раздувается на обе стороны. Он сырой, староват, но крепок. Стоял перед мужиками и разводил руками.

— Я, знаете ли, тоже подневольный. Служу, знаете ли, и слушаюсь. Жалуйтесь самим, знаете ли, в Париж.

Привалили сюда мужики дружно, но после первых же слов раскололись. Половина заявила:

— Что хотите делайте, а пока жалоба ходит, мы землю засеим. Нам без этого — ноги протягай!

Даже сам старшина был не в своей чаше.

— Главное, без ссоры людям, когда посев приспел! Неладно! А вы, мужики, смирно! Никаких чтобы самоуправств! Я сам съезжу в уезд, в губернию. Да и отец Сиволоб отпишет в консисторию. Бог нас не оставит.

Но мужики не верили ни старшине, ни богу, орали:

— Пока вы доспеете там, нам не у места ждать!

И тут выступила другая половина мужиков, у которых имелись средства:

— А может быть, их сиятельства эту землю нам на откуп отдадут? Какая, к примеру, цена будет?

Управитель разъяснил:

— Продавать указанья мне нет. Только опять же на срок сдать можно и не менее как на десять лет. Условие... — Он объяснил условия и новые цены на землю. — По перемеряем земельку и нарежем полосы заново. Вот и землемеры со мной.

Даже те, у которых водились средства, ахнули:

— А чем кормиться-то станем?

Тут управитель злорадно стал кричать и грозить пальцем:

— Ага, не по вкусу? Старая-то мерка была на глазок, а теперь — шалишь! По законной сажоночке нарежем. Будя вам на даровщинке пахать!

Мужики со средствами добивались своего:

— А какова, к примеру, будет льгота на рассрочку-то? Управитель и это разъяснил:

— Залогу немедля десятая часть всей стоимости. По осени — первую половину за все десять годов. На вторую осень же — остальную сумму. И пашите с богом!

Это были немыслимые условия!

— Да какие же деньги у крестьян весной? Их у нас и осенью не водится! — закричали мужики. И тут, сидя в своем коробке, заговорил Сатана:

— Не вешай головы, робя! Да рази мы не выйдем из беды? Думать надо! Кому туго — за того деньги, пожалуйте, внесу и с вас их не спрошу. С умоловов зерном неторопоко расплатитесь, потерплю. Не так страшен лешак!

Старшина растрогался до слез:

— Алексей Семенович! Ограда наша и заступник!

Отец Сиволоб осенил крестом большим Сатану и народ тоже.

— Не оставляет господь-бог без милости стадо свое любимое! И тут благодать ниспослал! Зрите, православные: по новому нарезу земелька-то вам вся будет вкупе — избудется чересполосица! Возблагодарим...

Демаха на полосе понурил очи.

— Земелюшка родимая...

Ветер раздувал полы, косил волосы и белую бороду в сторону. И он казался патриархом, спокойно и мудро слушающим проснувшуюся весеннюю землю, тогда как стонал и весь трепетал от тоски за нее, которую у него вдруг так несправедливо, неожиданно отняли.

Он не слышал и не видел, как десятский Влас ходил и бранился:

— Проваливай отсель, лешаки! Староста наказал: гнать вас с пашни. Чужая стала! Не смей пахать ее!

На него взъелись:

— Подавись, помещицкий холуй!

А десятский вдруг выронил батог из рук, захватил голову, осел на колени, завыл с переливами, по-бабьи:

— Измаялся с окаянными! Нету мочи совладать с вами! А у самого-то, у меня-то, ртов-то девятеро-о-о... Чем кормиться-то стану-у-у?

Демаха видел все прошлое: как он корчевал, выжигал пни, унаваживал землю и она стала давать ему хлеб. И это

была его земля, по простому, человеческому праву. И вот ее вырвали, ушла она из его рук, из его воли.

— Матушка-кормилица... — стонал он глухо. Родные звали его домой: их поразило, как праотец на глазах есугорбился. И поняли: это хуже, чем если бы он шумел, пылал. Пытались усадить, уложить его в телегу, но он не дался.

— Не тронь меня, я в силах! Вы думаете — кончился? Не-ет! Я удержу и землю, и вас. Воли не будет никому! На Чуран никто не улетит, девки из дому не упорхнут. Хоть я прожил сто двадцать четыре года... — Он обвел семью таким взглядом, что все потупились.

Иван заторопился успокоить:

— Так-так, батюшко родимой мой! Святая правда! Сто двадцать четыре тебе и есть, а то и поболее того.

Демаха радостно встрепенулся, весь засиял, закрыл глаза пальцами, и они стали мокрыми. Когда это бывало — Демаха слезы лил?

Но он взял себя в руки, выпрямился.

— А теперь, Яков, гони Карьку и Сивку на базар. Лошади весной в цене, добывай деньги. Хоть ногтями из земли скребчи их надо. Сеять станем!

Бабы тихо заплакали, мужики зароптали:

— Мыслимо ли! Землю-то перемерять зачнут. По нашим полосам межи пробороздят...

— Мо-олчать! Не ваше дело!

На соседней полосе распластался Памфило. Он как ума решился: тянется руками, гребет под себя землю, целится опять Демахину межу отхватить. Земли! Земли! Шире ему надо!

Пыжился-кожилился, да так и не достиг, не охватил всю, сколь ни напрягался, тут его паралик и хрястнул.

Провожая Панушка в могилу, Демаха с дрожью говорил:

— Всю-то житуху мы вздорили с тобой о меже, а вот явился тот, который и не маялся на пей, целиком ее загреб под себя...

Яков вернулся домой через неделю и испугался: праотец засеял всю бывшую арендованную землю.

— Как ты, батюшко, насмелился? Отберут хлеб у нас!

— Как отберут? Быть не может того! Вся оханская земля дыбом встанет! Народ заговорит! Жисть порвать не дадут, не бойся! — бунтовал Демаха, а родные поняли: пра-

отец утерял и сметку, и осторожность, не по силам тяжбу затевает.

Денег, добытых Яковым, хватило на задаток только половины засеянных полос клена, остальной посев оказался на чужой земле.

Не напрасно ждали — хлеба уродилось поне, как на-зло, немало. Но у всех он ушел на штраф. А Сатана и другие сбили цену на зерно небывало низко.

Демаха метался, искал средств, но разоренье было полное и бесповоротное!

— Староста! Да неужто нельзя добиться, разложить штраф не на один год?

— А, провались ты! В зобу засел! Пропasti на тебя нет, седая косица! — отмахивался староста.

Весь уклад жизни перевернулся. Но народ не заговорил, земля не встала дыбом.

— Батюшко Сиволоб, неужто это справедливо? Пошто ты нам всегда заступу-то божью обещал? Где он нето, бог-от? — протягивал руки к попу Демаха.

— Замолчи, отступник! Не богохульничай! Страждешь, землю добиваешься, богатство ищешь, а забыл о спасении души: легче верблюду сквозь игольное ушко пролезти, чем богатому в царство небесное внити.

— Где оно у меня, богатство-то, было? Пошто ты не стращаешь Сатану, который захватил тожно всю нашу землю?

И лопнуло терпенье у попа Сиволоба, от гнева личина перекосилась.

— Замолчи! Проклян у с амвона! Зависть — страшный грех!

— Опять мне грех...

— Ступай в монастырь и плачь, и молись, и кайся там три недели. Тогда, бывать, вразумленье придет. Велю старосте спровадить в дорогу тебя.

Воля духовной власти свята. Вечером же десятский забрякал в оконницу:

— Эй, Дементий Иванович, попушко наш да и староста тоже пекутся о душе твоей: собирай котомочку, наряжен я поутру проводить тебя на моление. Благодать-то тебе! А чего? Мирского-то в тебе ничего не должно и быть. Без земли-то легче к богу прилегчи, ха! Молись, знай, за нас, грешных...

И сломился старый кутузовский солдат Дементий Иванович Косков. Понял он: нет поворота хотя бы к старому. Всю ночь он не спал, сидел у окна, глядел в черное, осеннее небо, шептал:

— Соломеюшка милая, гляди, как я надселся не от работы, а без земельки-то! Сразу стал никто! Скоро теперь мы сольемся с тобой.

Сроду Демаха не просил смерти у бога. Это впервые и то скользком помянул он ее.

К утру Демаха растянулся на скамье. Родные на коленях плакали.

— Не кидай нас, заступник наш! Пропавшие мы без тебя...

— Сейчас, родимой, попа привезем...

И еще раз Демаху как подстегнуло.

— Ко всем лешакам его, попа окаянного! Мздоимец он, а бога не ждите, нету — отсекчи им когти. Не грешной я — безземельной. Верую я — обретут люди силу в себе, а не на небе. Земелька-матушка всем должна быть. Верую, жду, как пить хочу... и... буду...

Жизнелюбец, он еще чего-то хотел, сказал: «...буду», хотя уже синел.

Через неделю после похорон Демахи Катюха убежала с Петрухой в город. Через месяц Яков с семьей уехал на Чуран. Иван остался с Николой. На одних наделных полосах земли семья Николы бедствовала, как и большинство людей в Усолье.



ОКАЯННАЯ СУДЬБИНА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Хотя семья Панушка, то есть Памфила Антоновича Коскова, и имела наделной земли на семеро мужских душ, но и едоков в ней было больше, чем у Демахиных. Своей земли у Панушковых также не имелось, а пользовались, сколь силы было, графской и с хлебом перемогались куда тяжелее Демахиных. Они жили труднее еще и потому, что в самой семье у них не было согласия и лада.

Оба сына каждую зиму, чтобы заработать денег на зерно к севу да и не быть голодными, уходили в Юг, в Очер-завод, в Пермь. Они не весь заработок вкладывали в семью, и зародилась особица. Бабы завели в огороде отдельные гряды. Из общей квашни они что получше утаивали друг от друга.

У старшего сына Захара и у жены его Оксиньи было два сына и семеро дочерей. У второго сына, Григория, которого за то, что он отбыл царскую службу, прозвали Солдатом, и у жены его Палагеи росло два парня и пятеро девок.

Снохи плескали друг дружке в глаза ополосками, племянников и племянниц колошматили, а за столом брякали их ложками по лбам чаще, чем своих ребят.

Но оба брата разделяться не думали, знали, что по отдельности пропадут, хотя часто ссорились.

Вся деревня не любила Панушков род, многие не желали с ними и кумиться. Всех семейственников Панка уличали в разных пакостях и кражах. На Савушкиной пустоши они выдаивали чужих коров, стригли соседских овец. Даже подростки злобедничали. Сыновья Панушка, да и сам он, нахально подпахивали смежные полосы у соседей.

И была у Памфила еще дочь Дарка. Мать ее умерла вскоре после рождения дочери, и Дарка привязалась к отцу. Если она и любила кого-либо в семье, то только его одного.

Братья, снохи, а глядя на них племянники и племянницы, ненавидели Дарку. Выросла она с тычками и затрещинами, попрекаемая хлебом. Да ведь и на самом деле, хлеба из года в год не хватало, а тут она, лишний рот, навязалась! Пусть хоть того более работающая, да в семье работников в избытке, все равно лишняя.

Дарка очень была похожа на отца. И как будто Панушко был ласков с ней, но звал дочь Приблудком. Хлебом сам не попрекал, но и не заводил на нее ничего, не одевал, не обувал. К празднику богородицына дня всей семье рубахи и сарафаны заведут, а Дарку — как в глаза не видят, одевалась она в никому не нужные обноски. За столом чашу с хлебовом отодвигали от Дарки подальше: пусть, если хочет, кринки и горшки зализирует.

И не было у Дарки задушевных подружек из-за ее же озорничанья. Заставали ее, когда она с чужого поля уносила на свою полосу хлебные кучки. Это она у старого Логи

повалила на избе трубу. Она же ночью поставила у ворот Сеньки Ларькина огородное пугало, а потом чем-то грохнула в оконницу. Когда же Сенька выскочил на улицу и наткнулся на то пугало, от ума чуть не отстал.

Чего и говорить — противной была Дарка! И как оглашенная: когда ее били — не ревела, а только ойкала.

В тот год, когда Дарке исполнилось тринадцать лет, хлеб не родился. Братья собрались идти куда-нибудь, искать работу. Захар заявил Дарке:

— И ты провались, нету тут тебе еды.

Дарка растерянно спросила:

— Куда я денусь-то?

Но взъелся и Солдат:

— А хоть к лешему! Долой с глаз!

Ночью Дарка тихонько одела Палагин пониток, Оксиньину шалюшку, вышла за ворота, поревела тут досыта с причетами, плюнула на ворота, пошла сама не зная куда. Никто не хватился, куда девалась девка, даже отец не тревожился о ней: жалели пониток, шалюшку, ругали за них Дарку.

Она вернулась на другой год, весной, к севу. Скинула с плеч лубяной короб с замком и узелок.

— Здорово, тятя, братоньки и все!

Ответил только отец:

— Где шаталась, Приблуда?

Дарка развязала узел, кинула снохам пониток, шалюшку, а отцу ответила:

— Жила я у Ахмата. Мыла полы, чистила двор, ходила за ребятами и все делала.

Ахмат был богатый лавочник в Оханске.

— Татара, а беда добрые. Не отпускали, да соскучилась я по тебе, тятя. Охота в дом родной. Помогу оборонить, в огороде посадить. Не бойтесь, не объем, — предупредила она братьев и снох. На ней была добрая жакетка с чужого плеча, ситцевый сарафан, в ушах пяташные серьги с малянками, на ногах городские чулки и ботинки с резинками.

— Вот люди живут! Сытая я была. Одежу мне дали, да по рублю в месяц денег платили. Станем-ко, тятя, чай пить.

Голодные братья, снохи, племянники слюнки глотали, когда она достала из коробка и разложила на столе крендели, сахар, леденцы.

Дарка с отцом пили чай до пота каждый день, но ни разу она и обломка кренделька либо сахару кусочек не кинула

даже самой младшей племяннице. Впервые она испытала всю сладость быть независимой! Вот что значит иметь свои деньги!

Помогать работать было нечего, и Дарка через неделю с коробом за плечами отправилась по свету. Но и после каждую весну и в страду она приезжала домой.

Хоть что делай, места в Оханске не нашлось никакого. И на последние копейки Дарка поехала в Осу. Там посчастливилось ей угодить на работу в пивную. Хозяин встретил ее игриво:

— А-а, совсем молоденькая! Может быть, и не станешь пьянствовать и распутничать. А то все девки здесь портятся, прогоняю постоянно их. Ни боже мой, пьянства и распутства не терплю! А со мной все можно. Мы договоримся, ха? — Он подмигнул и ушмыгнул Дарку. — Мне хорошо и тебе хорошо будет!

Он заигрывал, а Дарка молчала. Она понимала: нельзя сразу хозяина отталкивать. Страх брал — некуда ей идти, не знает она места, где голову приклонить.

Трое девок посились по залу, не успевая обслужить все столы. И Дарка стала работать. Хозяин не платил своим слугам, говорил:

— Я пожалел вас, дал вам место, а прислуживаете вы не мне — гостям. С них и получайте, что сумеете. Но у меня держи хвост морковкой, чтоб жалоб на вас ни-ни-ни!

И слуги старались: помимо чаевых, не сдавали сдачи, сливали опитки и снова их продавали, пьяным одну и ту же бутылку с вином или пивом подавали не один раз, а питались обiedками. Трудно было быть на ногах с раннего утра до поздней ночи, но денежно, и работой хвалились.

С непривычки пьяный угар оглушил Дарку, но она не струсил, жадно набросилась на работу, а главное — на наживу денег. Здесь у нее зародилась мечта — больше нажить их и через то добиться лучшей жизни — землю завести.

Гости хватали ее, целовали, соблазняли. Надо было терпеть, не реветь, не обидеть гостя, не попасть на глаза хозяину. Скоро Дарка научилась увертываться от пьяных рук, выманывать в то же время деньги или урвать их другим путем.

Хозяин сам спивал гостей: подсаживал крепко закуски, подавал «ерша», подсыпал сонных порошков, а потом, обчистив карманы, выбрасывал бесчувственные тела на улицу.

Да не пришлось тут долго греть руки. Однажды хозяин объявил своей прислуге:

— Каждая свинья имеет в году праздник, а мы чем хуже?

Проводив ночью последнего гостя, он закрыл ставни в окнах, затворил двери, выставил на стол угощение и пригласил:

— Я не терплю пьянства и распутства с другими, ну а со мной все можно. Кто я вам? Кем вы живы? Из моих рук хлеб едите! Станем как Адам и Ева в раю!

Какой ни была Дарка отчаянной в деревне, сейчас с ужасом прижалась к стене. Но она совсем обомлела, когда услышала смех хозяина:

— А ты чего, Дарка, рази не с нами? А ну, девки-Евки, разболоките ее! Ее очередь уважить меня!

С ревом Дарка раскидала насевших на нее подруг, убежала за печь, где спала после работы.

— Не ускользнешь! — гоготал хозяин и облапил Дарку.

— Не тронь меня, Тихон Петрович! Малолетняя я... — редела Дарка. Еле высвободив одну руку, выхватила из ко-сы обломок пребенки и содрала им у хозяина кожу со лба и носа.

Пока хозяин выл, ослепнув от крови, Дарка убежала — бросила доходное место.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В Перми по Петропавловской улице, рядом с Черным рынком, стояла небольшая деревянная церковь — филиал Белогорского мужского монастыря. Люди просто называли его Белогорским подворьем. На этом подворье в двух больших домах жили монахи.

Рядом, на углу квартала, ближе к рынку, стоял одноэтажный домик. С улицы, над его входными дверями, висела вывеска: «Бакалейная лавочка Пospelова».

Внутренняя дверь в этой лавочке вела в квартиру хозяина, состоящую из кухни и трех маленьких комнаток. На небольшом дворе стояли дощатые склад для товаров и дровяник. Но в них товары и дрова не складывались, а были устроены маленькие каморки с лежанками.

В заборе, который разделял двор Поспелова и Белогорское подворье, доски раздвигались в стороны и открывали проходы — щели. По вечерам и ночам в эти щели во двор Поспелова, как черные крысы, пролезали монахи, а через калитку с улицы проходили девицы.

Сам Поспелов был стар, редко показывался во дворе. Всем распоряжалась его жена, женщина лет сорока, худощавая, белая, расторопная. Покупатели в лавочке, почные гости во дворе и девицы называли ее по-разному: в глаза Федосья Пименовна, просто Пименовна, а за глаза — как язык повернется, грязнее.

Намотавшись в течение лет трех по Осе, Оханску в прислугах, в няньках и на других незавидных местах, Дарка приехала в Пермь. Сразу с парохода по Осинскому переулку она наткнулась на лавочку Поспелова и вошла в нее. Здесь она купила хлеба, печенки, тут же у окна присела, стала есть.

Федосья Пименовна пригляделась к ней, догадалась: наверное, девка безродная, беспомощная, в городе не бывалая.

— Как тебя зовут, барышня? — спросила она ласково.

— Я не барышня, а деревенская. Зовут Дарьей.

— И куда же ты, Дарьюшка, пробираешься? — опять по-хорошему спросила Пименовна, потому что и сводницы иногда бывают добрыми.

— А где место найду, там и голову приклоню, — невесело ответила Дарка и есть перестала.

— Так, так, — произнесла Пименовна. — Ступай-ко, девка, на кухню да вымой полы и окна у меня.

Дарка обрадовалась и два дня мыла весь дом. В лавке на полке увидела она маленькие пачки, взяла одну и спросила:

— Это чего же такое?

Хозяйка рассмеялась:

— Это, милая, дешевка для монахов, папироски по пятачку за пачку. Такое и название им малохольное — «Трезвон».

Дарка с отвращением сплюнула и с деревенской простотой спросила:

— Да неужто святые монахи пакость экую курят?

Пименовна расхохоталась:

— Дурочка! Не только табак курят, а и водку хлещут и нашего брата любят. Не плюй! Они веселые и денежные. Около них можно жить и кормиться. Вот сама увидишь!

Поддешишь монаха, станешь живая ладаном пахнуть, а ничего. Нужда прижмет!

Дарка выронила тряпку из рук, перекрестилась на икону:

— Оборони меня, мать божья! Да чтобы я когда-либо с монахом согрешила хоть с тютельку!

Пименовна от хохота повалилась на стойку.

С первого же вечера Дарка поняла, в какое место угодила, каким делом хозяйка зарабатывает деньги, и подумала, что и ей можно будет добыть здесь копейку немалую. И, чтобы удержаться на этом месте, принялась усиленно угождать хозяйке.

А уже через несколько дней стала Пименовне необходимой помощницей. Она кидалась на все: бегала на базар, в пивные и винные склады, подтирала и подметала. Сильная, она ловко вышибала пьяных гостей за ворота, а монахов подмышки или за ноги протаскивала в щели забора на их подворье, за что Пименовна была ею особенно довольна.

Подметила Дарка и слабые места самой Федосьи Пименовны: боится она полиции и штрафов за незаконное содержание притона, а также, обманывая старого мужа, сама принимает гостей, особенно учтиво монаха Исидора — главного на монастырском подворье, толстопузого, с трудом пролезающего в щель забора.

Сообразив, что Пименовна за работу ничего ей платить не будет, Дарка осмелела, начала сама зарабатывать деньги, обслуживать гостей и девиц.

И вот однажды хозяйка сказала ей:

— Будет, девка, дурака валять: прислуживать мне нечего, сама справлюсь, — усмехнулась и стала еще ласковее: — Давай-ко, Дарья, я тебя пристрою, без копеечки пропасть можешь. — Присела рядом, обняла за плечи, стала сомущать: — Одна нашей сестре дороженька, так уж лучше денежки за то получить, не даром свихнуться. По рукам идти сразу не годится, а завести одного — любезное дело. И оденет, и обует. Ну, как?

Дарка насторожилась.

— Тут сам Сидор к тебе пригляделся: догадался — чистая, ну и загорелся. Он за главного на подворье: у него в кармане вся божья обитель с денежками. И кольца дорогие будут на твоих пальцах, и сережки в ушах, да и платьев

наберет, носи — не хочу! И ты не больно-то упирайся, красы-то у тебя нет: таких рябых кур на базаре ведрами черпай. Не житье будет, а малина! Главное — денег добыть, подкопить, свое дело заведешь, как и я. Сама себе хозяйкой станешь!

Дарка молчала. Это было самое заманчивое — стать хозяйкой! Займать деньги! Купить землю, усадьбу!

А этот черный жук пытался уже на кухне щекотать ее. Она по-деревенски огрела его мокрым вехтем, он зашикал: — Тш-тш! Бог с тобой, дурочка! Вот тебе...

Монах сунул Дарке полтинник, который она жадно схватила, опустила за чулок. Смеясь, Исидор выхватил из кармана сколько-то кредиток и стал этой пачкой водить у носа Дарки.

— Нюхай-нюхай, сколь они уманчивы, сладки... — он подталкивал Дарку в комнатку, а она цап-царап денежки из его рук и шмыгнула во двор.

Пименовна, как бес, сбивала Дарку изо дня в день:

— Говорил мне Сидор: на первый раз не пожалеет — отвалит тебе рубликов двадцать! Не будь дурой!

Двадцать рублей! Это столько зерна, сколько братья и не сеют за одну весну! Но нет! У Дарки есть свои горячие мечты. У самой бедной крестьянской девки голова полна ими, хорошими, чистыми. Дарка мечтала: у нее есть на свете родной дом, есть и тятя. Есть и братья: какие бы они ни были злые — все равно братья. А злые они потому, что мало у них земли и всегда не хватает хлеба. И она поневоле — лишний рот. У всех так. У всех сестры — обузы. У нее дело обстоит даже лучше, чем у других девок: отец и братья не станут мешать ей выйти замуж. Вот нет у нее никакого приданого, а братья не дадут за ней ни петуха, ни курицы, и отец не настоит на том. Пускай! Дарка сама себе добудет приданое.

Она терпела, когда монах вдевал ей в уши золотые сережки, кольцо на палец. Но после этого она опять выскользнула.

— Ох ты! Вот наказание-то! — горячился Исидор. А Пименовна его утешала:

— Робест деревенская дура, но ведь не отказывается. Не уйдет!

Пименовна считала, что так даже лучше: Дарка ловко разжигает жука, и он побольше отвалит денег.

А Дарка, мечтая о деньгах, чтобы легче и больше добывать их, приделалась по-городски: справила себе недорогое платьишко, туфли на высоких каблуках.

Но Исидор не отступал, и Пименовна подсыпала девке в чай сонного порошка.

Но здоровый крестьянский вкус сразу учуял горечь. Дарка еще в Усолье слыхала столько разных рассказней о всяких зельях, что беда боялась их. Вспомнила она, как хозяин в Осе применял такие порошки. И она обменяла чашки с ухажом, который, разомлев, выкушал на доброе здоровье снадобье. Скоро он стал клевать носом и мирно опочил.

Мечтая о своем немудренском деревенском счастье: земле, хлебе, женишке, Дарка с легким сердцем освободила карманы монаха от денег. И, спасаясь от неприятности, от страшного падения, собрала свой коробок, улизнула на пристань.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

На пароходе Дарка задумалась: куда ей ехать? Дома осенью и зимой совсем делать нечего. Только с отцом тянуло повидаться, а с остальными родными житья доброго не будет. И вдруг Дарка испугалась: за зиму в деревне она проест все деньги! Нет, допустить этого ни за что на свете нельзя. Деньги эти надо беречь пуше глаза: они единственная опора в жизни. Только с ними она сможет увидеть что-либо путное, человеческое впереди. Наниматься в домашние прислуги она не хотела: ничего не заработаешь, не справишь приданого, не заведешь всего того, о чем так горячо мечтала и мечтает. Оставалась одна дорога: ехать опять в Осу, в ту же пивную, к тому же хозяину. И Дарка горько раскаялась: «Зачем я, дура, так ожгла его пребенкой! Рази можно мне в моем низком положении допускать обиды и злость на хозяев?»

К удивлению, хозяин встретил Дарку весело:

— Дарушка-драчуня! Не чаял я, что прикатишь сызнова. Знать-то, нужда тебя пристегнула ко мне же опять притопать.

Он вышел из-за прилавка, на глазах гостей взял Дарку за подбородок и спросил:

— Не станешь задаваться и драться?

Что тут делать? Куда бежать? Братьевы кулаки дома не легче! Поневоле губы прошептали:

— Не стану, Тихон Петрович...

Как бы при таком условии повернулась жизнь у нее? Неизвестно. Но хозяин занялся в эти дни какими-то важными делами, а Дарка повстречала Василка Рядка.

Рядком его прозвали не люди, а мать его. Получив от сына-солдата письмо: «Тожно я, мамонька, рядовой... полка», хвастала перед всеми:

— Сын-от, глядите-ко, рядовой у меня! Боушко в рядовые возвел!

Ну, а народ, известно, — ха-ха-ха! И просмеяли Рядком. Вернувшись со службы, Василко оставил мать, жену с двумя детьми и стал шататься. К работе он не прилегал — ленился, а что и зарабатывать — пропивал. Он уже сидел за кражу в тюремном замке, но и воровать, надо думать, ленивому не под стать.

Однажды, выбежав на улицу, Дарка увидела в канаве человека. Присмотревшись к нему, она узнала земляка и, жалеючи, утянула его от холода в угол за печью, где ютилась по ночам, дала ему опохмелиться, накормила, и Рядок суток двое отсыпался.

Она хорошо знала, что он за человек, как мучается его семья, и все-таки любовалась: какой он большой, силач, а красивый — не описать! Рядок — ласков и не нахален, а голос у него нежен.

— Эх, Дашенька, несчастной я из-за бабы своей! — плакался Василко.

— Не ври! Знаю я, она, бедная, одна как-то две половины обрабатывает, свою семью и твою мать кормит — не гонит. Ты честью в подметки ей не годишься, — отвечала Дарка.

— Мать сгубила меня — силком женила на ней, а она из худого рода.

Как будто Рядок сам был из богатых!

— Ненавижу я ее походку, ступни у нее под себя глядят, глаза неласковые, холодная, как полено с мороза. Давай-ко, Дашенька, махнем в Иж или в Воткинск. Где-либо работу найдем. Ты добычливая, строгая, сдержишь меня,

пить я остепенюсь. Беда ты мне по душе: как тут и была, прилегла к сердцу.

Не верила Дарка Рядковым словам: знала — так не будет. Но никто еще ее так не ласкал. Никто столь задушевно не говорил с ней. Кругом один соблазн, хозяин-змея, гнусные, пьяные гости. И тут Рядок, опаливший сердце.

И месяца с два он был как настоящий, даже денег по-немногу давал.

— Опося на дорогу и обживу...

Скоро он загулял, забыл обеты.

Хозяин ценил Даркину сноровку в работе, но косился — зачем она принимает пьяного полюбовника. Место для нее было дороже всего. Дарка стала прогонять пьяного Рядка без жалости. Но с трезвым встречалась охотно.

Весной, когда Дарка поняла, что беременна, она не открылась о том Рядку. К чему? Не выйдет из него ни отца, ни поильца, ни кормильца. По ночам она горько ревела, но была рада стать матерью. Она уже надумала, какой старухе отдать дитенка на житье, но сама ни в жизнь его не бросит, выкормит и вырастит. Не у нее одной такое положение! Ничего не поделаешь, если, имея при себе ребенка, найти работу невозможно. Надо всяко биться, а жить! Нечего надеяться и располагать принести дитенка в родной дом: там съедят его заживо. Мамки нет, снохи злы, как собаки, а братьовья закорят, забьют.

К страде Дарка опять торопилась домой помочь убрать хлеб. Ныне повсеместно урожай на редкость, — чего может быть радостнее на свете белом! И братья не станут так злобно ругаться.

— Здорово, тятя, братоньки и все! — поклонилась Дарка, когда ступила в горницу.

Нахмурился Захар, а Григорий сердито сплюнул. Отец махнул на них рукой.

— Не гляди на них, Приблудка. Злятся, хлеб не родился опять, бог с ним.

— Как не родился? У всех родился! Вот я летела — радовалась, жать помогчи. Эх, тятя-тятя, где бы ни было хорошо, а все домой тянет. Зачем так? — и с радостью, и с горечью говорила Дарка.

— У добрых так и полагается. Разболокайся.

Все поразились Даркиной городской одежде, платью, золотым сергам в ушах, кольцу на пальце, широкой гребенке в волосах.

В сумерках, тайком, за стаяй она зарыла узелок с деньгами.

На другой день вечером Дарка сидела в кустах огорода и ждала своего Василка. Взволнованно она глядела на дорожку через щели в тыну.

Рядок, оглянувшись по сторонам, перемахнул через тын и, не поздоровавшись, спросил:

— Чего зубы-то скалишь? За каким лешим звала?

А она обрадованно обняла его за шею.

— Стосковалась я, Василко. Поцелуй. Али желанье не приходит? На вот выпей, ласковее станешь.

Рядок махом вышиб пробку из шкалика, выпил не крякнув.

— Мало. Раздразнила только.

— Заслужи — добавлю, обними. Радость у меня безмерная! Тебе-то, малохольному, ни к чему, а я сплю и вижу робеночка, — счастливо шептала Дарка. А Рядок озлился:

— Сдурела ты! К чему тебе он? Мне-то плевать, а ты себе руки свяжешь. Выпей пороху, либо с крыши прыгни, мало ли средств, — уговаривал он. А она замотала головой:

— Ни за что на свете! Не бойся, на тебя не положусь.

Он усмехнулся, будто ласково подался к ней.

— Сама знаешь...

И с силой ткнул локтем в живот Дарке. Дико взревела она и завилась по земле.

Сквозь кусты Рядок увидел, как на недобрый рев в огороде из избы выбежали Захар и Григорий, перевалил через тын и удрал.

— Родит она! — сразу догадался Захар.

— Опозорила, Приблуда! Посадит нам на шею! Дуй ее!

Подбежал Памфило и батоном отогнал от дочери озверевших сыновей и склонился над Даркой.

— Ведите бабку Васиху! Немедля... — кричал он перепуганным внучонкам. Принес дочь в стаю, уложил на солому.

Как Дарка выжила? До ран и мозолей пролежала она спину и бока. Голодала, но больше всего страдала от жажды, до ведра с водой не могла дотянуться. Но и тут мысли не допускала сказать отцу: вырой, мол, тятя, деньги у стаи, ку-

пи кренделей, завари чаю, подкрепиться, мол, мне надобно. Нет! Лучше умереть, но не выдать свой клад.

Вся деревня знала о изуверстве братьев над сестрой. Девки да и старшие племянницы не раз подходили к стае, где оклемывалась Дарка, насмехались:

— Рыжая-бесстыжая!

Мерзла Дарка, как собака, но не ревела, не просила смерти у бога. Она никак не думала о плохом конце, верила: встанет и жить будет.

Едва поднявшись на ноги, Дарка перебралась в избу: необходимо было отогреться на печи, подкормиться. Короб ее оказался разломанным, разграбленным, хорошо, что деньги были спрятаны.

— Ты, Приблуда, всю страду провалялась, а приползла хлеб есть! — поднялся брат Захар, а Григорий кулак вздынул.

— Мало салазки загнули? Катись на все стороны!

На этот раз неожиданно заступился отец:

— Пока я жив, она будет со мной! Цыть!

— А чужое мне и в глотку не покатится. На-кось, тятя, денежки. Неси из лавки чего нам надо. Не все у меня из короба выловлено!

С торжеством она подбросила отцу полтину. Скося глаза, заметила, как поразились ее деньгам братьевья, снохи да и все. Панушко вприпрыжку понесся в лавочку.

Давным-давно вскинул кипяток в чугунок, а отец не возвращался. Прибежали племянники, орут:

— Дедушко распьянехонек на Даркину полтину!

Все с торжеством захохотали: чего теперь она станет кусать?

Было пестерпимо жаль полтину, но труса казать ненавистой семье нельзя.

— Да рази я какая — без средств? — гордо заявила Дарка и с трудом сама сходила в лавку за чем надо.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Закрыта была дорога Дарке туда и сюда. В Осе она боялась хозяина Тихона Петровича, а в Перми — Пименовны.

Но самое главное — у нее не было паспорта. И в про-

шлые разы, проживая тут и там, опасаясь полиции, она вертелась, как сорока на колу. После такого разрыва с родней паспорт стал еще необходимее, потому что придется жить теперь всегда по чужим людям. Да вот беда — паспорт выдавался девке после двадцати лет и то по согласию родителя или старшего брата. Не имела она права отлучаться от домашности далее своей волости. В одном Дарка была уверена — домашние не задержат ее. Но полиция! Выход оказался один: добыть больше денег! Хоть каким путем, а добыть! За деньги, она слыхала, можно купить любой паспорт, хоть где.

А деньги вернее всего можно сколотить не в прислугах, не в няньках, а только в таких притонах, в каких жила до сих пор. И если не удастся пристроиться у Пименовны, то пивных и других заведений все-таки больше в Перми, чем в Осе.

Пименовна, увидев Дарку, схохотнула:

— А а, Сидоркина завлека! Поминал он: куда запропастилась рыжая ягодка?

Дарка легко вздохнула: значит, Сидор не злится, что она ему карманы очистила.

— Здравствуй, Федосья Пименовна. Как вы тут живете?

— Да ровненько. А было — хоть давился. Санитарный досмотр накрыл, разрешили держать только бакалейную лавочку, остальное — ни-ни!

Дарка, слушая ее, без дела не стояла, уже обтирала стойку, полки, собралась мыть полы, как будто из временной отлучки вернулась к себе домой. И Пименовна не возражала, потому что Даркин труд ей ничего не стоил.

— А чего ты, Дарка, столь исхудала?

— В горячке лежала.

— Не ври. При горячке все волосы бы вылезли, а у тебя коса густущая. Поди, худую болезнь подцепила? Монахи-то тут всем дарят, — допытывалась хозяйка.

— Я не кашляю.

— К доктору сходи, а такая тут не крутись.

— У меня паспорта нет... — прикусила язык Дарка, да было поздно. Неожиданно сболтнула то, что мозолю было в мыслях. Хозяйка не имеет права, под страхом штрафа, держать ее без паспорта в доме. Что теперь будет?!

— Без паспорту-у? Ну желтый либо волчий дадут.

Дарка так испугалась — мыть перестала. Клеймо! Она

слыхала: желтый дают проституткам, а волчий — каждые три дня являйся в полицию и где разрешат, там и живи. Поймают на четвертый день в том же месте — выплюют с тем же видом за пределы губернии. От таких документов спасенье только в петле.

— Ладно, не трясись. Раз двадцати годов не дожидая девка на свете — извивайся всяко — таковская! Осмотреть — я тебя сама осмотрую лучше всякого доктора, а прописывать не стану. С умом увернуться легко: накроет квартальный с бородой — имей в запасе десятичку — возьмет, съездит раза по заливку, да отвяжется.

Как голодная, Дарка набросилась на работу: мыла и чистила, обворовывала, обманывала хозяйку, девиц, гостей, копила деньги — на еду не держала, зарывала их в землю.

Но она глубоко страдала: тосковала по Рядку и ненавидела его. Если бы он просто избил ее, но не тронул живота, она снесла бы это, — какой мужик где не взбучивает свою бабу или полюбивницу почему зря? Не могла она забыть и нечеловеческих побоев от братьев, жестоких насмешек от снох и племянников.

— Все равно я им отплачу! — твердила она. Как отомстит? Она не знала. Одно знала твердо: деньги надо! У монаха Сидорка их — не оберя-бери.

Через три дня Исидор показался в щели забора, и Дарка шмыгнула к нему в комнатку.

— Ах, это ты, ржанушка? Откуда заявилась? Ну и худа! Страданула? Отчего? — засыпал он вопросами, тоже никак не поминая о том, что она опоила его зельем и обложила ему карманы.

Играла единственной своей красой — косой: а чего ей теперь стесняться-то? Терять нечего — деньги надо!

Руки его были пухлые, нежные. Дарка закрыла глаза, представилось: «Рядок! Василко! Так же ты сперва-то...»

Она уткнулась лицом в густую бороду монаха, зарыдала глухо.

— Что ты! Что ты! Господь с тобой... — страстно шептал Исидор. — Боишься? Не бойся.

— Горе-е у меня. Мамка-то умерла-а. Тятка-то один. Полоса-то одна. Хлеба-то нету...

Монах с досадой поднялся, протянул в тон Дарке:

— Один? И полоса? Куда же ему больше-то? Чего реветь-то? Эх, взяло тебя не во время! Хватит! И чего тебе надо?

— Денег надо-о...

— И-и, до чего хитра! Ну и хитра! Не мало уж вытянула! И сколь бы их надо?

Дарка стихла. Вот ведь не подумала — сколь? Леший возьми...

— Три... Двести рублей...

— Ого-го-о! Заломила-а! За такие денежки любую, первого сорта, купишь с потрохами. Таких денежек у нас в самый великий праздничек Петра и Павла, на всех блюдах, перед ликом всех святителей не собирается.

Исидор с досады даже камилавку натянул, да задумался на миг, сунул руку в карман, кинул Дарке.

— Вот те! Не вой!

Дарка жадно схватила десятку.

Монах разворчался:

— Греховодница! Зря с тобой столь долго и кожеметился!

А Дарка думала: «Теперь я — распутная! Вот вам всем! Довели меня!» Мысленно она погрозила кулаком Рядку и родным, а вслух говорила:

— И как, Сидор, станем мы жить? Снимешь мне квартиру?

У Исидора глаза округлились.

— Да ты что, дурачина деревенская? Как это я могу?

— Ну, в этой комнатке. Плати Пименовне по-хорошему. Неси чего надо постирать, починить. Муж ведь, а как же!

Монаха ноги не сдержали, плюхнулся на табуретку.

— Да сгинь ты!

А она с теплом говорила:

— Не надеешься? Боишься? Не такая я, Сидорушко!

Ладно, стану я все время в церкви быть, на твоих глазах.

— Не вздумай!

— Тогда на подворье буду.

— Да будь ты проклята! Вот супостат навязался на шею!

Исидор выскочил из комнаты.

Хозяйка тоже поднялась на дыбы:

— Гои денежки сюда!

И подставила ладонь. А Дарка ей в тон и руки в бока:

— Ка-акие?

— Какие он тебе сунул. Я — хозяйка...

— Вот, на! И вот еще на! — Дарка сунула под нос Пименовне кукиш, а за ним и другой. — Я тебе не девица. И станем мы жить семейно. Не кто-нибудь мы, а муж и жена.

Пименовна было здорово окрысилась, хотела сейчас же прогнать Дарку со двора, но последним словам так удивилась, что про кукиш забыла.

— Опомнись! Ведь он кто? А ты кто?

— Велел он тут мне жить, берегчи себя, не мучиться. И уплатит он сам за койку, не постоит. Катись! — Дарка хлопнула дверью; уткнувшись в подушку, долго редела.

А Пименовна подумала: «Если жук расплатится, можно и не гнать пока. Поглядим...»

И Дарка продолжала работать с прежним рвением.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Исидор вошел в комнатку и удивился.

— Опять ты тут, ржаной каравай?

Дарка тоже удивилась.

— А где же мне и быть? Жена — не отопок, с ноги не сбросишь.

— Засело тебе в башку!

Дарка хлопотала:

— И вот к чему ты пришел, Сидорushко? И чайку вместе не попить нам. Сходи-ко на базар да купи самовар, либо мне деньги дай, я куплю. Самоварчик — первое обзаведенье в доме.

— У-хо-хо-хо-ха! — закатился Исидор. А Дарка обняла его за шею, наторяла:

— Давай обзаконимся как-нибудь? Где-нибудь в ином месте. Скинь харавину твою лешачью, остриги космы, и вид у тебя станет человеческий. А то кто ты такой? Образина, право!

— Ну и забавная ты, туды тебя... — трясся Исидор. А она предлагала:

— Лучше всего давай махнем в низа. Там, бают, есть Казань какая-то. Заведенье откроем либо лучше всего землю купим, усадьбу, избу, скотину. Ах, господи! Хорошо-то как! От людей почтенье.

Наконец монаху надоело слушать. На самом-то деле, шутка шуткой, а чего дурака-то валять! Поднялся он с намереньем уйти, но Дарка уцепилась за рукав.

— Стой, лешачина, не торопись! Зачем ты меня соблазнял, улящивал, уговаривал? Чего обещал?

— Когда? Где?

— Вот эта же самая иконка глядела на нас с тобой.

— Ну и навязалась, язви тебя! — вырвалось у Исидора. А Дарка преобразилась:

— Кто я? Значит не жена, а сбоку припека? Натешился и ладишь в церковке укрыться? Да ты не святой монах, а нечистой дух!

— Тьфу ты, срамно слушать!

И монах шагнул, но Дарка загородила ему дорогу.

— Стой, косматой варначище! Клянись перед образом, что станешь со мной добром жить! Ну?

— Стыдись, блудница лукавая...

— Так не станешь добром, как все мужики живут? Вот тебе!

Она ударила его кулаком в зубы, ухватила борт его рясы и оторвала чуть не до подола, сдернула с его головы камилавку, закинула за кровать. Исидор вытащил деньги.

— На! Отвяжись, худая жизнь! Не ори...

— Мало! Не то сама приду на подворье, давно не маливалась да обскажу с амвона, как ты насильничал. С хозяйкой разочтись, а шапчонка твоя в закладе останется.

Но через три дня Исидор не пришел. Не явился он и в следующие дни. И Пименовна заявила:

— Ступай, Дарка, куда знаешь. Видишь, работы не стало.

— А я твой хлеб не ем, сплю где попадя. Не уйду, — чего скажет мне мужик?

— Какой такой мужик у тебя? Где он?

— Вот так раз! Сама меня сомущала, сосводничала Сидорку, а спрашиваешь, где и кто мужик мой!

— Ты все еще дуришь? Ведь он кто? Не срами человека. Не даром ведь он, а денежки платил. Катись-ко ты в свою деревню, — довольно-таки благодушно уговаривала Пименовна.

— Как это? А может быть, у нас и ребеночек родится, — отстаивала свои права Дарка.

— Вот уж это ни к чему! Для пользы своей же изживи плод.

Дарка перекрестилась.

— Спаси меня, боже, накладывать руки на свое искреннее!

— А я тебя выставлю легче пуха!

Дарка не струсил.

— Валяй! Я полицейского приведу. Гибнуть — так той и другой!

— Во-он как за мое все доброе тебе?!

— И я на тебя поробила! За доброе — спасибо. Ты обещала мне какую жизнь, если я послушаюсь тебя и с жуком связаться соглашусь? А что я вижу? Давай лучше добром! Недолгое место пробуду, мне тут тоже срамно. Да что поделаешь?

А Исидор все глаз не показал. Опасаясь прежде времени повредить ему, Дарка пока не шла на подворье.

Кончалась зима, как Дарка почувала себя беременной и обрадовалась: «Теперь, может быть, Сидор и устыдится. Человек же он! Жизнь как-нибудь наладится. — Но тут же она и усомнилась: — А вдруг нет? И будет дитенок сиротой при живом отце. Буду я его кормить и растить, а все без отца не то. И опять — деньги нужны».

Теперь, зимой, деваться ей было совсем некуда. Домой показаться нельзя, а до Осы в легкой одежонке добраться и думать нечего. Здесь, в Перми, работы нигде не было, да она ведь и в тягости. Хоть пропади, а биться как-то тут же надо.

Однажды она услышала разговор и смех Исидора и Пименовны за дверями. Дарка рванула дверь, сорвала с крючка, вбежала, осыпала Исидора упреками, а хозяйка выскользнула за дверь. Монах хотел успокоить Дарку:

— Тише. Не выходи из себя. Смеялась мне игуменья — чего ты надумала. Немыслимое дело.

— А дитенок наш как же должен остаться? Без отца?

— Пименовна все устроит. Есть тут опытная одна, облежит тебя.

У Дарки голос задрожал:

— Душегуб ты! А со мной путем не думаешь жить? Милее таскаться? Врешь! Хоть и не законная, а не отстаю! Чем я плоха? — Дарка смахнула кулаком слезы.

— Вот что, ржанушка...

— Я тебе не ржанушка шикакая, а баба твоя, и имя у меня есть людское.

Исидор потер виски: право, ненормальная какая-то!

— Гм, ладно, я тебе дам на дорогу денег, ну и на прожитье. Уезжай в свою деревню.— Он бросил деньги на стол. Дарка схватила их.

— Мало! Рази я этого стою? А робенок как?

— Да что я тебе, купец, что ли?

— Хуже! Мошеник церковной...

Он не дал выпалить ей худшую брань, перебил:

— Ну, я пошлю еще...

И выскользнул в дверь. Пока он протискивался в щели забора, Дарка кричала ему:

— Попомни, крыса подворная: не пошлешь, приду на подворье! Я те покажу-у....

Некогда да и невозможно было Дарке пересчитывать свой капиталец в кубышке. Серебрушками и кредитками заполнилась уже вторая консервная банка.

— Пусть нету мне счастья, как доброй, но с деньгами я не пропаду. Господи, помоги мне человеком стать! Ни давиться, ни топиться неохота мне. Приведи мне с дитенком место в жизни горевать!

Раз не на кого в горе опереться, некому из людей верить поневоле, впервые в жизни, обратилась она к богу. Смотрела Дарка на иконку, а та с нее не сводила глаз.

— Нет! Деревянная ты, студено от твоего взгляда. Погибаю я, и ты бы шелохнулась хоть не лишку, не катиться бы мне книзу. Да нет, поди, не будет толку. Лучше и не полагаться, самой надо биться, самой.

И Дарка билась. Расспрашивала и узнала: право открыть, содержать любое заведение имеют мужчина или замужняя женщина не моложе двадцати лет. Значит, ей надо выйти замуж, а лета скоро подкатятся. Ах, только бы больше денег добыть!

Уже стало теплее, снег осел, дороги почернели. У Дарки проснулась обычная тоска по родному дому, по полям.

— К севу все брошу — поеду домой, а робенка в Болгары, к Иудовне завезу. Хорошо бы — сынка бог дал! Вскормила бы я его, от всякого ветра уберегла бы, чтобы не спознал он, чего довелось самой изведать. Дадут на него полосу земли, да я прикуплю либо найму. Усадьбу заве-

дем, хозяйство справим. Живи знай! Не открою я ему, кто и отец у него, чтобы не плюнул мне в глаза за этого жука, с коим окайнная судьбина пригнула меня связаться.

И она пошла разыскивать Исидора.

Дарка наугад направилась к одному из домов на по-
дворье, поднялась на крыльцо, вошла в сени. Здесь ее оста-
новил немолодой монах.

— Сестрица, сюда мирянам, да еще женщине, не поло-
жено входить. Что бы тебе нужно было?

— А нужно мне, божий человек, монаха Сидора, кото-
рой сыроват беда, а борода отсвечивает. Баяли, за главного
он тут кем-то, и одежда добрая. Где он, ну-ко? — спроси-
ла Дарка.

— Не знаю, сестра, бог с тобой. Такого будто бы нет
у нас. А чего бы, к примеру, от него нужно было? — рав-
нодушно спросил монах. А Дарка откровенно открылась:

— Дело у меня беда искреннее. Мужик он мой. И вот,
сам видишь, тяжелая я, а он шары закатил, не кажется. Ла-
дит, ино паук, за иконками отсидеться. А к чему так по-
ступать? Верно ведь? Да не-ет! Не на ту наткнулся! По-
кличь его, ради Христа, пусть скажет, как мне быть.

На громкий голос обежались монахи. Старый насупился
и нелегонько стал выталкивать Дарку из сеней.

— Иди-ко отсюда со Христом. Здесь божий дом и мир-
ские дела неуместны.

Дарка уперлась.

— Не подталкивай! Не подданная тебе! Вишь, я на сно-
сах. Не у места я? А у места вам всем... — она обвела ру-
кой по ряду монахов, которые весело скалили зубы, и пока-
зала на забр...—лазить в дыру в заборе к девкам? — И по-
грозила пальцем. — Всех вас, кривохвостиков черномазых,
да и тебя, старой пакостник, заприметила! Да наплевать
мне на ваши рожи, гаркните мне Сидора. Его я послуша-
юсь, он мне хозяин. С добра прошу. Вот у меня и шапчон-
ка его в закладе.

Дарка вынула из-за пазухи Исидорову камилавку, но в
тот же миг кто-то из монахов выхватил ее, перекинул дру-
гому. Дарка только и успела ойкнуть:

— Ну и варнаки!

Так камилавка исчезла. И ругаться было не с кем —
монахи разбежались. Только один, молоденький, остался и
ласково сказал ей:

— Пойдем сестрица, там посидишь, а я найду его.

Что тут было делать? И Дарка вышла с ним за ворота подворья, на улицу. Села она на скамью и крикнула уже в догонку этому монаху:

— Не загуляйся там, смотри! Помни о деле, не то вернусь я!

Долго ждала, терпенье лопнуло, поднялась, но только ступила во двор, как тот же монах загородил ей дорогу.

— Вот, сестрица, брат Исидор послал на еду пока..

Он протянул рублевку, игриво подмигнув, продолжал:

— Вечерком сам придет и деньги принесет. Ждать велел во-он на том углу.

Монах указал на бакалейную лавочку, где Дарка и жила. Говорить было не о чем, и она ушла.

Угол этот совсем не освещался. Ждала Дарка, подбирала в уме, чего бы ему, черной жабе, сказать-резануть попуше, шары бы от чего у него остекленели, бродила от угла до подворья и обратно, вся продрогла. Прохожих становилось все меньше и меньше.

Вдруг кто-то накинул на голову Дарки сзади плат или мешок. От первого же удара она свалилась.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Когда Дарка пришла в себя, схватилась за живот. Болело в ногах, в пояснице, во всех суставах.

Уткнувшись в подушку, рыдала она с наскazyваньем, изнемогла, опять забылась; подняла голову.

— И кто-то еще подобрал меня? Как добрую....

— Спи-спи, голубушка больная.

Подошел с улыбкой фельдшер, как маленькую, погладил по голове.

— Спать-спать! Баиньки-баю, милочка хорошая. Жива-здорова будешь, песни петь станешь. До свадьбы все проживет. Спать.

Он наговаривал, сестрица тоненько смеялась, и Дарке вдруг стало так хорошо, как не помнит, бывало ли еще когда. Огляделась: чисто, светло, тепло. Отмякли все болезни, и, благодарная, она опять заснула.

Да, она попала в совсем не ведомый ей мир. Она и в уме своем не представляла, что есть на свете такое место, где царят тишина, покой, вежливость, сочувствие, добрая пища. Она не слышала здесь брани, попреков, вечных разговоров о земле, о нехватке хлеба. Здесь не было дневной, бестолковой сутолоки и ночных пьяных безобразий, матерщины, драк.

Но жизнь жестоко довела ее до этой больницы, и жизнь сурово схватила ее за горло сразу, как только Дарка вышла в вестибюль. Тут ее ожидал полицейский.

— Долго ты валялась на койке, а я, как грешник, стереги тебя, беспаспортную. Марш за мной!

Так, за рукав, на глазах людей, он и вел Дарку до участка.

— Вот та самая штучка с ручкой, которая без вида на жительство протягалась в больнице, а преж того на монастырском подворье безобразия творила. Той же ночью, около того же места ее подобрали без памяти, ребенка скинула, — доложил полицейский дежурному околоточному надзирателю.

— Кто ты такая? — спросил надзиратель.

— Крестьянка я. Не сказать чтобы дальная.

— Имя мне надо, отчество и фамилию.

— Коскова я. Памфиловна по отцу-то... Дарья...

— Лет?

— Девятнадцатой побежал.

— Откуда?

— Остроженская. Из Усолья. Поди, бывали?

— Паспорта, понятно, нет, а вольная от отца была?

— Не больно я по сугласью собралась-то...

— Сбежала. Легче здесь быть...

Надзиратель назвал Дарку столь грязным словом, что у нее из глаз слезы покапали.

— Да разрази меня моланья, если я такая! Христос с вами...

Надзиратель топнул ногой.

— Молча-ать! Нечего притворяться...

И он опять выразился так, как и полагается полицейскому по должности.

— Еще чем ты занималась и у кого?

— Жила — рбила, полы мыла, скребла и чистила все, ходила за...

Чуть не проговорились: за гостями, да спохватились: как бы не подвести хозяйку! Пименовна так боялась полиции и штрафов. А надзиратель уже прицепился:

— Ну-ну, за кем ходила-то? За кем, за кем? И у кого? Да не ври!

Но Дарка молчала.

— Думаешь покрыть? А вот лавочница Пospелиха не пожалела тебя. Она показала честно, что ты — бродячая проститутка, — запутывал надзиратель Дарку.

— Да неужто она меня так? За что? — поразились и вознегодовала простодушная деревенщина, не имея понятия о коварстве полицейских приемов. — Да я ей в шары наплюю!

Надзиратель голос смягчил:

— Вот-вот! Экая подлюга она! Ты ей волосы выдери.

Жестоко обманулась Дарка показным сочувствием надзирателя. Раз хозяйка так ее представила, чего же ей, Дарке, шадить, прикрывать ее! И она подтвердила.

— А зачем ты в тот день безобразничала на монастырском подворье? Пьяная была? — уже с обычной суровостью продолжал допрос надзиратель.

— Сроду я пьяной не бывала. А турнула меня нужда. Добром бы вовеки не ступила моя нога в это срамное место.

Надзирателя с места как пружиной подкинуло.

— Как ты смеешь? Храм божий! Святое место!

Дарка махнула рукой, плюнула.

— Какое оно святое! Знали бы вы, самое, хуже нету, паршивое...

Надзиратель кинулся на Дарку:

— Ах ты, басурманка немаканая! Да я тебя затворю! Ломовым отдам за поношение дома божья! Всю тебе морду расквашу...

И Дарку затворили в холодную. Там не было ни нар, ни скамьи, а ее ноги не держали, присела на пол в углу. Дарку трясло не только от холода, от кулачных ударов боголюбивого полицейского мозжало в голове, глаза не видели света. Даже плакать было больно, но все равно Дарка уревелась до того, что забылась. Очнулась, когда в оконце под потолком глядела ночь. Вспомнился совет Пименовны, как отделяться от надзирателей: «Если квартальный с боро-

дой — имей в запасе десяточку, возьмет, съездит раза по по заливку, отпустит...»

Но денег с собой у Дарки не было. Они запрятаны в надежном месте и не на то назначены. Да и Дарка готова претерпеть чего и хуже, чем истратить из них хоть одну копейку. Как ни тяжело было сейчас, но подбадривала мысль: есть денежки! Все равно выведут они на дорогу к доброй жизни.

Вдруг двери в кутузку отворились, со смешком и прибаутками заглянули и вошли кто-то двое. Они схватили Дарку...

После их ухода она долго лежала без движения.

И еще по две ночи приходили, во славу Божию, те же или другие насильники. За попытку защититься Дарку били по голове, совали кулаками под душу.

Надзиратель спросил ее:

— Ну, дали тебе ума? Хватит или мало? Будешь еще господнее место поносить?

Дарка простионала:

— Чего же мне осталось сделать-то? От такого измывательства... только в Каму головой...

Надзиратель отрезал:

— Не дорого стоишь — не шибко жаль. — И застучал кулаком по столу. — Вон из города, куда зенки глядят! Попадешься еще — не то тебе будет!

Дарка не видела и не чувствовала, куда ее несли ноги. Намеренье было кинуться в воду, и остановилась она на высоком берегу Камы, на пустыре.

От красоты с детства милой сердцу природы отчаяние Дарки сменилось бурным рыданием, которое постепенно тоже иссякло, перешло в облегчающий горе плач. Дарка вскочила на ноги, протянула руки к Каме.

— И я жить стану! Пусть такая... нет, сама-то я не такая. Милая Камушка, пусть водица твоя смоет все позорище и срамотище, освятит всю меня! Как неказиста жизнь моя, а все — жизнь.

Но слез уже не было, иссякли, слишком много их бежало в эти дни. А как вспомнила про свою кубышку и что она с теми деньгами не от всех зол беспомощная, еще больше пришла в себя.

Пименовна, увидав Дарку, сахала:

— С того света! Ведь ты совсем пропащая была! Оборотень!

Дарка грустно улыбнулась:

— Живехонька, хоть и представила ты меня, спасибо, гулящей.

Невольно с Даркиного языка сорвался упрек, а Пименовна глаза вытаращила.

— Да ты что это? Никто меня не допрашивал о тебе. Когда в тот злосчастный вечер я услышала вскрик и возню на углу, то вместе с девицами выбежала на улицу. Сразу мне бросилось в глаза — за минуту ты до смерти, и я скорее убежала во двор, чтобы не угодить в свидетели. Девицы разревелись, наняли извозчика на свой счет, сами увезли тебя в больницу. И тебе, девонька, ни днем, ни ночью здесь оставаться нельзя. Раз монахи задумали тебя решить — решат.

На монастырском подворье было пусто. Нищие у ворот не обращали на Дарку внимания. Она увидела, как Исидор вышел из дома, перекрестился и чинно направился ко храму. Мигом Дарка догнала его, закричала:

— Стой, змей! Вот я, вокресла! Не удалось тебе вовсе ухрупать меня, идолище поганое! Пуще пяль шары, христосик подподольной!

Исидор огляделся: никого не видно, и хотел осенить большим крестом, видимо, немощную страдальицу, не ведая чего творящую, и с тем отъехать. Но такое притворство совсем вывело из себя Дарку, она выхватила из-за пазухи бутылку, размахнулась.

— Не представляйся! Не в балагане петрушка! А нет мне жизни — пропадай и ты!

Но Исидор пропадать не хотел и был совсем не дурак. Он хорошо уже познал, что всего сильнее действует на эту девку, и заторопился:

— Забыл-забыл... обещал... вот на... кинь-кинь пузырек-то, кинь....

Дарка выхватила из его руки деньги. Мало! Замахнулась пуще того.

— Кажись, вот еще малость... вот, все... и давай добром: будет туго — приходи. Остороженько помани перстиком али глазком поведи, ну я и... не маленькая, понимаешь...

— Приду! Не укроешься, гнус болотной.

Кинула склянку и пошла с подворья.

На пароходе с зимних работ в городе возвращалось домой, к севу, немало земляков. Заревел третий гудок, и они привалили к борту прощаться с городом.

Долго оханцы станут глядеть на Пермь, пока не побегут навстречу сосновые боры курьинских дач.

Пароход дрожит от ударов плиц о воду, кажется живым и легким. Мерно-часто дребезжат жалюзи в рамах окошек. Брызги от колес летят веером по сторонам и тухнут в волнах. А волны, разбегаясь, становятся ниже и шире, чертят берега белыми барашками; они торопятся за пароходом вслед.

Как красива Кама днем! Впереди парохода вода тиха и блестит зеркалом. Только изредка зарябится она теплым ветерком да потемнеет под случайным облачком, а там снова солнце купается в ней.

С правой стороны угоры срываются в реку глинистыми крутыми откосами, поверх которых густыми сколками плывут назад зеленые дубравы.

А левый берег, как узорами, украшен лугами, мелкими кущами березника, осинника, черемушника, рябинника, липы. Дальше, за лугами, чернеют, желтеют пашни, изрезанные нитками межей. По краю берега непрерывные кустарники глухо облепились осокой и камышом, а распутившиеся вербы, как на раскинутой штуче ситца вдоль прилавка, пестрят в глазах белюсенькими пятнышками. И еще ниже узенькая, песчано-желтая полоска, отделяя воду от земли, бесконечной лентой убегает назад за поворот — косу, где, кажется, сам леший свивает эту ленту на огромный тюрник. И белеют вдалеке колокольни и мечети в селах, как верстовые столбики.

Как красива Кама на закате! Правая сторона ее уже в тени. Солнце укатилось за зеленый бор и розово-красными полосами изукрасило небо. И в той тени от берега рано засыпают баржи, уставив немигучие глаза фонариков, протянув руки-цепи в воду. С парохода разметнулись по воде длинные полосы — отсветы, и не видать, куда он бежит.

И вскипело сердце у Дарки: «Куда я еду? Где меня били, увечили, я опять — туда? Чего там родного-то осталось? Тятя?»

В Оханске встречающих был полон берег. Ударило запахом деревень, земли, послышалось родимое оканье и чоканье.

«Только меня никто не окликнет, не встретит», — горько подумала Дарка, как вдруг ее чемодан подхватил кто-то.

— Куда, госпожа-барынька, увезти прикажете?

От этого голоса Дарку жаром обдало.

— Василко! Варначище ты подлой да милой!

Она обхватила Рядка за шею, плача и смеясь от счастья, припала к его груди. Откачнувшись, Дарка залюбовалась им: писанный красавец! Он заломил шляпу на затылок, ворот у рубахи был расстегнут, рукава засканы, белый фартук закрыл грудь и перед, штаны на коленях вытянулись, прошоркались, мускулы на руках напряглись силой, желваки на щеках от смешинки ходили.

— Гли-ко, как расфрантилась! Золота навдевала тамотка и туточки, раздери те лешак, черемную выдру! — хохотал он. И Дарка развеселилась:

— Вот как наши-то пляшут! Сколь я тебя звала с собой, и ты бы в лаковых сапожках щеголял! А то — экая шантрапа...

— Плевать мне на тебя, — равнодушно ответил он, поскреб в затылке и добавил: — Оно, конечно, денежки не пахучие. А робенка — не поминай, не со зла я, а жалеючи тебя, помог обузу избыть. Не в законе дите — тяжелое, беда с ним, а теперь ты — вольная головушка, говори спасибо.

Дарка прильнула к милому, мечтала все свое:

— Пусть непременно паренек у меня появится! Одного сына в солдаты не заберут. Земли возьмем самолучшей. А там внуочки заведутся... До чего же жизнь может стать милой! Теперь уж я уберегу дитенка...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

— Здорово, тятя и все. Вот и я! — поздоровалась она, и вышло даже с неожиданной радостью для самой себя.

Отец пошел к дочери навстречу.

— Приблудка! Неужто ты заявила, али мне блазнит?

Дарка тряхнула ему руку, а поцеловать на этот раз сердце не повернулось.

— Ну и фря! — только теперь произнес Григорий.

— Не бай, чего на свете творится! Шелковые чулки, мужика нет, как она раздобыла? — ворчал Захар. А Палага зубоскалила:

— Отпустите, мужики, нас с Оксиньей в город? Мы там, со своей красотой, не хуже одежду наживем, а вам чаю с кренделями привезем. Уж как хотите, мужики, хоть она и золотом обвешалась, а я из одной чаши хлебать с ней не стану.

Григорий успокоил ее:

— А никто не грешит, к столу ее не зовет.

Оксинья еще посолила:

— Была бы с совестью, сама бы глаз к нам не казала.

Добрый разговор не завязывался, а от худого Дарка уклонялась. Не хотелось корить снох — какие они сами-то, хотя и замужние. Отец же, как всегда, издевательства не останавливал.

Дарка пахала, боронила. Удивила она родню — купила мешок отборной пшеницы и сказала:

— Сей ее, тятя, уродится хорошо — тебе хлеб, а мне счастье в жизни будет. — А сама думала: «Непременно от встречи с Рядком сын у меня родится. И отвяжется горе, повернет жизнь на счастье».

Да вдруг как громом-молнией всех поразило: приехал графский управитель и запретил пахать помещичью землю. Она-де нужна стала самим наследникам графа, которые здесь сроду не бывали, а живут где-то в каком-то Париже.

Это была беда безысходная, разоренье полное!

Не в своем уме старый Панушко прибежал к полосам. Он разодрал на себе рубаху, упал лицом на землю, стал подгребать ее под себя, охватывать руками как можно шире. До того он тянулся, что разбил его паралик.

Старший сын Захар растерялся, Григорий скорее его пришел в себя.

— Чего станем делать, братуха? Вели, с чего приступать?

— Ума не приложу! — признался Захар. Григорий терзался:

— Чуял? Десятую часть, за все десять годов, надо внести немедленно, а по осени — первую половину враз... Как еще мы зерно в нее не кинули!

И тут Захар очнулся, закричал:

— И кинем! Что будет, то и будь!

Григорий пытался охолодить брата:

— Что ты, бог с тобой! Осенью весь хлеб за штраф заберут! Да и тебя, как старшого, в замок упекут.

— Всех не упекут, засеем землю!

Памфило Антонович на скамье, под иконами, отходил. Палага угнала на лошади за попом — успеть отсоборовать свекра. Внуки и внучки обступили дедушку. Захар и Григорий, живые о живом, сидели и рядили поодаль. Только Дарка, стоя на коленях перед отцом, вся измокла слезами, причитала:

— Родимой тятенька, не уходи! Не кидай меня! Одна была ты тычинка, на которую я опиралась. Встань давай! Я куплю тебе землю немедленно! Денег дам сколь надо! Хоть сто, хоть двести бери, не жаль! Осенью больше достану. Подымись, тятенька-а!

Григорий толкнул брата.

— Слышь, Захарша, какими она деньгами похваляется?

А тот уж и сам наострился.

— Врет, поди? Хотя у такой может и завестись...

Еще через день Панушка схоронили. Дарка, вернувшись с погоста, стала укладывать чемодан и, взвалив его на плечо, пошла из избы, буркнула:

— Прощайте-ко, все.

И тут Захар загородил ей дорогу, небывало мягко сказал:

— Стой-ко, сестра. Неужто не видишь — беда стряслась: по-миру пришло плестись, а ты собралась куда-то. Неловко так-то...

Дарка всплеснула свободной рукой:

— Сестра-а? Вишь ты! А когда вы меня не на жизнь терзали, кто я вам была? Приблудка чужая! Осторопись-ко с дороги...

Дарка задохнулась от ненависти. Захар незло погрозил пальцем.

— Не носи камня за пазухой! Будь прокляты эти мои руки, когда они поднялись на тебя. От бесхлебья-то с ума тронешься и не то натворишь. Да рази по какой иной причине мы?

Дарка скрикнула зубами:

— Опростай дорогу, баю! Нету моей помочи вам!

— Хуже ты помещика нас гнешь. Не от него гинем, от тебя!

Григорию показалось: напрасно Захар это и говорит, надо прямее приступать к делу. Он подошел и стал гладить Дарку по плечу.

— Слышали мы все, как ты, Дарья, говорила отцу, что деньги у тебя завелись немалые — можешь землю купить. И ты не сторонись, не дай нам погинуть...

Дарка закричала:

— Ни рублика! Ни копеечки! А могла бы за десять годов графьям заплатить! Могла бы ладом да порядком! Да как вспомню, моченьки нету!

Дарка шагала по дороге в Оханск. Однако мысли ее были в родном доме. До того тошнехонько на сердце стало, что у Очера она села на чемодан и закатилась рыданиями. Ей жаль было братьев: она понимала их извечную нужду в земле, в хлебе. А сколько на их шеях едоков! А снохи? Ведь и они горюшко хлебают, и не ложками, а луполовничками. Чего говорить, какие они все горе-горькие! Как тут злиться-то? Ведь и она, Дарка, в жизни всяко досаждала им всем.

Но тут же Дарка рассудила здраво: если она отдаст им даже все деньги, то они оттянут разоренье не более как на год. Слишком велика у них нужда. А она без денег совсем пропадет. И они-то уж ей ни в коем разе не помогут. Нет! Этого допустить нельзя! Ей надо открыть свое дело, ведь у нее будет сын!

Дарка услышала: кто-то быстро едет на телеге, вскинула чемодан на плечо, перебрела реку и зашагала по обочине. Но ее догнал и окрикнул Григорий:

— Стой, сестренка! Две лошади у нас, и неужто мы допустим двенадцать верст, да с ношей, топать тебе пешком? Садись!

На окрик и приглашение Дарка даже не оглянулась. Куда и девалась ее жалость, снова взмыла обида за все. Григорий ехал рядом, страшал и добром уговаривал:

— Стерегись, Дарка: завтра же Захар собирается в волость к старшине. Ни отец, ни он вольной тебе не давали. Без паспорта вернут тебя домой под конвоем.

Дарка струхнула. Что делать? Она имела намеренье выпросить у отца, купить даже у него паспорт. Поп не дорого бы взял — добавить годок в документах. Но стряслась беда с отцом, и она не успела этого сделать.

Однако Дарка не выдала испуга, так в телегу и не села. Уже в Оханске Григорий повернул обратно. Он еще поплакался и подсадовал:

— Зажила богато, заходила хорошо и все забыла. А ведь как бы ни было — выросла с нами: сытно ли, нет ли, а наш хлеб ела. Эх-ма! Одумайся да поверни, пособи родному дому. Мне больше мешкать нельзя — солнышко село, а за Очером — лог страшной.

Хотя Григорий и был когда-то солдатом, но не отвык бояться нечистой силы.

И Дарка вслед ему от всего сердца крикнула:

— Задави тебя лешак!

Прошли пароходы вверх и вниз, а Дарка не села ни на тот, ни на другой. Она не могла решиться, куда ей ехать. В Пермь показаться опасно: могут дать худой паспорт, избить. Оса была слишком близко, полиция там найдет ее скоро, да и теперь уже не отвязаться от приставаний хозяина. Негде укрыться! Нет ей в жизни пути-дороги!

Свечерело. В поисках угла на ночь она поднялась в городок. В глаза ей бросилась чайная, а у нее с утра во рту маковой росинки не было. Чайная привлекла Даркино внимание еще и потому, что года четыре назад она недолгое время работала здесь.

По краю крыши тянулась вывеска «Дешевая чайная Фоки Фокича Фокина».

Он был откуда-то дальний, но прижился здесь смолоду, и жена у него была из Ашан. Она умерла лет десять назад, не оставив детей. Жила у Фоки, по его словам, старая экономка, которая содержала квартиру донельзя грязно, стряпать не умела, стирала плохо. Фока всем жаловался на нее и будто бы каждый день собирался прогнать ее.

В то время ему было шестьдесят лет, но все зубы у него были целыми, седины и лысины не завязалось, ни на какие недуги он не жаловался. Был он такого маленького роста, что чуть возвышался над прилавком, а Дарке приходился до плеча. Однако тощенький Фока был боек и необыкновенно говорлив.

И в будни и в праздники Фока открывал чайную в семь часов утра и закрывал в одиннадцать вечера, почему и прислугу подбирал такую же выносливую, как он сам. Получай в месяц пару рублей жалованья и будь на месте — пока сам тут. Но любой работник через месяц-другой изматывался, и Фока рассчитывал его безжалостно.

Стоя перед чайной, Дарка вспомнила, с каким трудом она попала на работу к Фоке. Войдя тогда в зал, долго ждала она, когда будет повод, чтобы обратиться к хозяину.

— Да чего ты, Фока Фокич, сам суетишься? Найми кого. Охочими хоть пруд пруди! — кричали ему посетители. А он на ходу отвечал:

— Лучше меня вам никто не уноровит. Не родился такой, хотя и место у меня есть.

Дарка обрадела: место есть!

Кто-то опять сказал:

— Скупердяй ты, Фока! Надрываешься — за наживой гонишься.

Но Фока отвел укор:

— Не-ет! Не надо мне рубль на рубль, лишь бы копейку на копеечку.

Кругом захохотали. В веселую минуту лучше обращаться к хозяевам с просьбой о работе, и Дарка уже ступила спросить о том, но Фока сам ее заметил.

— Зачем, девчонка, тут трешься? Либо прибор заказывай, либо фью отсель!

— Мне бы работу, хоть самую неказистую, Фока Фокич.

— Нету-нету! Катись отсюда шариком, фью!

Но Дарка уже более года ходила по людям и ко всяким приемам привыкла. Всегда спервоначалу хозяева немилосердно гонят.

— Мыть, чистить и все. Стирать... — частила она, чтобы он не перебил. Но у Фоки глотка как луженая, и он перекричал:

— Пристала как банный лист! С богом, не прогневайся!

Так отказывают нищим. У Дарки положение было не лучше, и она не смутилась. Да и как смущаться-то? Она только что ушла от пропившихся портных, расчета не получила и никогда не получит. У нее ни копейки денег и ни крошки хлеба. Домой до страды нечего и возвращаться,

там еще голоднее: здесь голод около хлеба, а там совсем без хлеба.

— Слышала я — официанта надо... — смело напомнила она. — Справлюсь лучше любого парня! Лучше даже тебя самого! Скорее я чай разолью, разнесу. Последи! Дозволь!

Смелость и дерзость находят сочувствие у людей, — сидевшие у ближних столов посетители заступились:

— Испробуй!

— Пусти, ну-кося, девку, Фока!

— Поглядим!

Дарка выхватила поднос с чаем и закусками из рук хозяйина.

— Ужась! — взвизгнул Фока. — Я стану витнем подгонять! Только на миг задержись, стерва! — развеселился он и выдернул из-под шкафа ременный витень с трехвосткой на конце. Дарка прибежала за стойку: где, что лежит?

А заказы усилились с хохотком:

— Парочку пивца с горошком!

— Шесть стопочек с килечкой!

— Приборчик на три глотки, эй!

У Дарки глаза разбежались.

— Ать!

Фока с продергом резнул ее витнем.

Дрогнула рука, плеснулся кипяток на пальцы, на всю кисть руки. Но колбаса не нарезана, хлебные ломтики вышли. Не стерпела, дунула на ожог.

— Ать! — От плеча до пояса еще ожег витень.

Моченьки нет — садко!

А где же еще пиво? Ящики, корзины пусты! Хочется все кинуть, бежать, зажать боль на плече, спине, руке!

— Довольно наезживать, Фока!

— Справная!

— Крепкая!

— Где обыкла невиданно? — с удивлением спросил Фока и закинул витень под стойку. По лицу у Дарки не то пот, не то чего катится, волосы прилипли к щекам. Она глотает-глотает чего-то — проглотить всего не может. Силится смеяться, надо смеяться, но глаза мигают от слез.

Она жалась к шкафу — тушила боль от витня, дула на красноту от ожога кипятком.

— Работают толково только те, которые здорово едят: выпей ты мне два десятка стаканов чаю, да с хлебом. Тогда — уверую! — крикнул Фока.

Дарка вместе с другими, загнув головушку, хохотала. В деревне они вдвоем с тятей за один присест без особого устатку выпивали чаю ведерный чугунок, и только пот со лба и шеи катится. А тут — мерные стакашки — глядеть не на что! Не видывал хозяин настоящих питухов-чаевников, вот что! Да сколь дней уже она досыта не ела!

И не успел Фока услужить двум столам, как Дарка выпила чайку с полным аппетитом, куда больше того, да с хлебушком и колбасой.

— Ого-го, ровно однорядку молотила! Куски брала всей пятерней, а не пальчиками! Ну и охминало! — Фока подпрыгнул от удовольствия и указал на дверь. — Хватит, насмешила, марш отсель! Фью!

— Не-ет, Фока Фокич, даром я не ем, не пью. Вот перемою тебе всю посуду.

Хозяин прыгал вокруг, бранился и гнал вон, а Дарка поворачивалась к нему спиной, молча возилась с посудой.

— Ужас! Начнется из-за тебя тут распутство, а нас посещают господа члены земской управы, военное начальство, полицейские чины. Сам купец Жаков нас не обходит.

И Дарка почувала: хозяин явно сдается. Очень кстати кто-то крикнул:

— Гляди, Фока, она пара тебе — рыкая!

Грянул хохот, и Фока сдался:

— Все одно тут не место тебе. Ладно уж, ступай наверх. Сидит там у меня дармоедка, прогнать не соберусь, скажи ей: я послал прибрать как надо.

Забыв от радости боль от ожога и витня, Дарка вбежала наверх. В кухне сидела старая Софья и сухо ответила:

— Послал — так делай, а мне наплевать.

Прошла неделя, и свою квартиру Фока узнать не мог: все было побелено и вымыто.

Но Дарка была недовольна. Правда, она сыта, никто ее в хозяйстве не притеснял. Но если бы хозяин допустил ее в чайную, она бы там заработала немало денег. Деньги ей нужны до зарезу, иначе она потом в страду не привезет домой ни чаю, ни сахару, ни крендельков. А Фока и не помнит о плате. Он дал ей сарафан покойной жены — спасибо, подарил и коты — ладно, но даст ли денег при расчете — плохая надежда.

Месяца через два Дарка заявила ему, что к страде собирается домой. Фока всполошился:

— Ужась! С места не тронешься! Рази плохо у меня? Голодная?

— Уйду, — упрямо повторила Дарка, не осмеливаясь добавить: если теперь сытая, то из-за тебя, хозяин, после буду голодной.

А Фока надумал: коли по молодости Дарки нельзя жениться, то можно иначе привязать и удержать ее. И однажды вечером он обхватил Дарку, но она вырвалась, подняла его, как мальчонку, на руках поднесла к открытому окну, крикнула:

— Кину вниз башкой — и тю-тю Фоки!

— Ужась! Пусти! — взмолился Фока.

— Деньги мне за работу не платишь! Крестись, кидая!

— Отдам!

Он выдернул из кармана и подал Дарке десятку. В дверях стояла Софья и смеялась до слез.

— Спасибо тебе, девка, пугнула гадину ползучую!

Софья спала на печи, а Дарка на полатах, и когда они стали укладываться, Дарка спросила:

— За какую вину ты, Софьюшка, Фоку Фокича так обозвала? Он не ругливой, не драчливой, веселой беда. Живешь ты — сыр в масле.

Старуха кряхтела, стонала, крестилась:

— Как его, страмину, назовешь иначе, раз он загубил мою жизнь, а сестру мою, Софьюшку, прежде времени в гроб вогнал.

Дарка удивилась:

— Рази одно имя у вас с сестрой было?

— Да, не одно хотя, а спутано. Спи давай.

— Не уснуть после этого: расскажи, ради бога. Если надо — побожусь, молчать стану.

— Не совсем я верю богу-то, да ладно, все равно скоро умирать.

Она уселась на постели — ноги калачиком.

— И с чего зачинать-то? Имя-то у меня Веровья, а сестра-то умерла — Софья была, да схоронена она под Веровью, по моей церковной выписи. По-разному в иное время велел нам Фока зваться. И я похороненная, а живу, а он ноне холост по закону, может и жениться. Перед богом я Веровья, ему — жена, а сестра-то, Софья, полюбвицей ему была.

Дарка так вскочила — зашибла голову о потолок.

— Не своди меня с ума, Расскажи толком! Немало страшных рассказов слыхивала, но такой ужаси не встречала.

Софья тяжело вздохнула:

— Ну, ладно уж. Росли мы у отца с матерью, а доброй хлеб с мяжиной едали только по снегу, а после того с мохом, либо с корой. Было нас девятеро девок, ни одного парня, а с Софьей мы — середние, постарше я рази на малой годок. И столь мы создались с ней одинаковые, что и родимки не различишь, а костью она дотянулась до меня.

Не подбежало мне полных и пятнадцати годков, как этот самый Фока, будь проклят, в Ашапах лавку открыл; а откуда его лешак занес к нам, не знаю.

В те годы людей ровно скотину меняли либо продавали, ноне народ-от избаловался. Отец с матерью измаялись, не дорожили нами. Росли мы, а с малых годочков тоска точила: о господи, царица ты наша небесная! Которую куды судьба закинет, из чьих рук кормиться доведется в жизни?

Помещик наш, сам-от, где был — не знаю, староста самочинно помыкал нами.

Взял Фока меня и вскоре заерундил — не житье в Ашапах, айда в Оханск, на большой-де он дороге. Никого умения дорогих дома не оставалось, окромя Софьи. Фока забрал и ее с нами.

Ну, перебрались. Купил он здесь дом и завел чайную, стали жить. Прошло с год, как Фока хвостом вильнул: заявил он мне, жене своей, что я не вполне будто баба, а чего-то ему недостает во мне. Велел он мне спать здесь, сестре же моей — с ним. Раз мы походили друг на дружку, то, мол, такая перемена никому в глаза не кинется. Не то, заявил Фока, увезет нас к отцу-матери, откажется от меня по закону. А кому-то мы нужны?!

Жалобиться мы боялись, поревели-поревели в голос, а чего поделаешь, смирились.

Гляжу: скоро сестра обыкла, прилепилась к нему. Ласковой он, что лиса, и она расположилась всем сердцем. Хоть до кого доведись, муторно мне было и не могла я не морщиться, ровно себя вести. И у сестры я как поперек в горле стала, подозренья всякие у нее зародились, коситься зачала, ну и завелась у нас втихомолку вражда.

А Фока, как кривохвостик, вьется, пуще того начал ломаться над нами. Через годок еще и сестра не понесла. Фока взъелся на нее, принудил нас снова именами смениться.

Тут уж я не за себя сохла, сестру жалела: вся она извелась — краснее в гроб кладут.

И пошло! И пошло! С тех пор и я такая стала.

Веровья замолчала. Дарку трясло, но она собралась с духом, спросила:

— Все-таки пошто же ты, Веровьюшка, не покаялась попу, старшине либо старосте не открылась, потакнула Фоке?

Веровья и всплакнула:

— Станешь жить — узнаешь: ни старшина, ни поп бабе тоже не ограда.

Совсем молода была в ту пору Дарка, не держала в уме, что придется ей снова когда-либо поклониться этому хозяину — просить хоть какую-нибудь работу, позволила себе за Веровью и Софью обозлиться на него. Утром же собрала она свой коробок с намереньем: не сегодня — завтра уйти.

Видит Фока — недостает у него толку удерживать Дарку. Пошел он за помощью к лютке Маркелихе.

Невиданной мастерицей на присуху сердец была Маркелиха! Помолившись господу-богу, пошептавшись в темном чулане с кем-то знающим дело, она — стоило денежек — подала Фоке совет:

— Испугай ее попуше, чтобы она в трясучку впала не на один день, в постелю бы свалилась. Тут мы ее станем пользоваться наговорами, поить почнем твоим потом, ну и она прильнет к тебе.

Так Фока Фокич и сделал.

Ничего страшнее он придумать не смог — облокся в вывороченную шубу и шапку, скараулил Дарку ночью в сених и перепугал до смерти.

И верно, Дарку затрясло, но она не свалилась с ног и лечить ее не пришлось. Будь же оно проклято, малосилье Фокино: извозила она его тут. До утра Фока был в сених, а когда оклемался, приполз в квартиру — Дарка уже ушла.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Прошли чуть не четыре года, и у Дарки вся жизнь измята. Стоя перед чайной Фокина, она думала: «Деваться мне на всем белом свете некуда. Может, Фока не злится

за мои побои? Нужда меня толкает поклониться и спросить у него работу».

И она вошла. Фока Фокич был все такой же, не постарел больше, не ссутулился. Закончив работу, за стойкой, не слыша шагов Дарки, он подсчитывал выручку.

Дарка помнила, как весело надо к нему подходить, а то сразу на отказ наткнешься. И она сухала над его головой:

— Ужась!

— А-а-а... кто-кто это? — Обалдел от перепуга Фока, прикрыл деньги ладошками.

— Я, Фока Фокич. Невестушка ваша. Неужто не признали? — смеялась Дарка.

— Ужась! Рыжая яга...

И он протянул Дарке свою руку, а она так сжала ему пальцы, что Фока заплесал.

— Пусти. Как кобыла копытом пристушила! — Он дунул на пальцы, тряс их и говорил: — Лопай чай. Я тоже мотался-мотался, жрать захотел.

Такой неожиданно добрый прием обрадовал Дарку, и она осмелела:

— А я надеялась, Фока Фокич, в квартирке мы станем из самоварчика. Помнишь, как пивали чаек раньше-то?

Но Фока замахал руками.

— Сохрани, богородица! Если я мало выпью — сплю тут, туда не хожу. Страшно...

Дарка почуяла что-то неладное, спросила:

— Чего же страшно-то? Как там Софьюшка?

Фока совсем тихо ответил:

— Нету ее... Повесилась, дура, с полатей...

Дарка состонала:

— Когда же это она, милая?

А Фока уже как ничего не бывало считал деньги.

— Года с два как, а все мерещится... Дармоедка! Два дня с похоронами потерял, чайную закрывал.

Дарка подумала: «Вон чего тебе жаль, прод!», а вслух заявила:

— Пойду туда ночевать, я не боюсь.

Она смертельно боялась всякой лешачины и мертвых, но еще сильнее был страх остаться без места, попасть в руки полиции, к братьям, в лапы обычаев и закона. И, дрожа всем телом, она поднялась наверх.

Прошло немного дней, и Фока опять не узнал своего жилья. А Дарка была благодарна Пименовне, которая

научила ее искусно накрывать столы, заваривать чай, мыть стаканы и блюда после каждого употребления, резать аккуратно хлеб, расставлять закуски.

— Дозвольте мне, Фока Фокич, робить в чайной. Вас же станут хвалить за порядок, — просила Дарка.

— Нет и нет! Появится распутство. Перестанут люди и чай заказывать!

А Дарка была в страхе: вот-вот заявится урядник и уведет ее в Острожку, а там — и к братьям. И не будет ей от обычая и закона спасенья. Только деньги могут спасти ее. А Фока никак не дает ей работать там, где бы она смогла заработать их. Нечего рассчитывать на те деньги, которые припрятаны: они будут нужны потом, когда родится сын.

И вот наступил день, когда она почувяла в себе ребенка. Опять она обрадовалась и одновременно испугалась. Ночами ее душили кошмары: полицейский надзиратель заносил кулак над ее головой.

— Ломовым отдам!

А за двенадцать верст, с угора, из Усолья, через Очер, через всю долину тянулись к ней рыжеволосые, рыбые ручищи брата Захара.

Дарка кричала, пыталась бежать...

— Что ты? Что ты? Ужась! — хлопочет над ней Фока Фокич. Дарка приходит в себя, и первое срывается с языка, что болит:

— Если нельзя мне в общем зале робить, то дозволь хоть в чистом, из милости прошу! Чем желаешь, благодарна буду! На коленях молю...

Фока не успел и ответить, она как удила закусил:

— И чего ты, окаянной, трясешься за меня, на глазах ведь я буду...

Она упала головой на стол и так завывала, что у Фоки все нутро перевернулось.

— Ужась! Говори, говори, чего, ну-кошь, у тебя стряслось?

Слово за слово, Дарка и рассказала Фоке все. Хотя и не совсем тоже все. Не открыла, например, о милом Рядке, о монахе Сидорке, не промолвилась, что она беременна, и ни гу-гу о том, что имеет в запасе деньжат сколько-то. А напирала она на злое преследованье братьев.

— Они самолично, а то и урядник с часу на час могут явиться за мной. Деньги позарез мне нужны, а ты не даешь мне возможности заработать их... — рыдала она.

— Рыжая дура, не дунула мне в уши раньше, а изводишься! Да мы их всех обкарначим! Не реви!

Фока хлопнул себя по карману.

— Урядник вот где у меня! Сам исправник чай мой лопает — не платит. А братовьям твоим кину на драку собаку — александровку, они и подавятся! По вся дни не бойся никого! Давай-ко женимся? А? Пра-ей-бо! Всякая беда с тебя схлынет. Раз, два — и в дамки! В своем уезде поп с тебя и паспорт не спросит, а метрику я сам достану. А? Давай?

По правде говоря, Дарка давно ожидала, что он предложит ей это, и попросила только устроить свадьбу без огласки, каковая по закону проводилась с церковного амвона за целую неделю до венчания.

Попу, дьякону и пономарю, с получением каждым пятнички, не трудно и не грешно стало гнусить после обедни как можно неразборчивее:

— Вступают в законный брак миряне: оханский обыватель купеческого звания — Фу-фу-фо-фо... и крестьянка Остроженской волости Да-ху-ху-ху-ху...

Православные христиане не разобрали имен и фамилий намеревающихся жениться, до братьев вести о свадьбе не докатились.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

На сходке волостной старшина объявил:

— Все, кто засеяли графскую землю самовольно, обязаны, сняв урожай, сдать весь умолот полностью на своих же подводах по указанию управителя...

Захар крикнул:

— На корню сожгу, а не отдам хлеб!

Ему тут же связали руки, увели в оханский тюремный замок. Но до того он успел подать заявление: разыскать и вернуть к домашности отшатнувшуюся без его согласия несовершеннолетнюю сестру Дарью. Так он надеялся выдать из нее деньги.

Оханский исправник капитан Кушнов напал на след Дарки уже тогда, когда она стала законной женой Фоки Фокича. Теперь уже нельзя было забрать Дарку Коскову и отправить ее в деревню к брату. Но, в чаянии получить чего-нибудь с Фокиных, под предлогом поздравления новобрачных исправник явился к ним. Капитан хорошо заметил испуг Дарки, и ему это было на руку. Дарка вызвала мужа на кухню, после чего исправник опустил в свой карман четвертную.

А Дарка после его ухода вдруг разрыдалась: она ощутила избавление от беды и какую-то маленькую свободу — ее не будут больше пинать, топтать, преследовать, как бездомную собаку. У нее может спокойно родиться дите! От такого счастья зареветься, задохнуться можно!

Захар сидел в тюрьме. Сам он, Григорий и вся семья виновницей своего разоренья считали Дарку. Что помещик? Так было с его стороны, так и впредь будет. А ведь Дарка-то, как ни говори, своей считается. Так почему же она, окаянная, не выручила их из беды? Чего ей стоило? Ведь все слышали, как она обещала умирающему отцу дать денег столько, сколько надо: значит, у нее есть средства!

По ходатайству Григория, под его и еще двух мужиков поручительство земский начальник освободил Захара с тем, чтобы он после полевых работ снова вернулся в замок отбыть до конца срок наказания.

Выйдя на волю, Захар голосом выл, бил себя кулаком в грудь:

— Будь она трижды проклята, довела до разора, до тюрьмы! Дай ей, боже, головой куда-нибудь, а обратно чтобы нет!

Григорий сообщил ему:

— Нашлась Дарка. Здесь она, в Оханске, замужем за купцом Фокиным. Высоко заскочила! Сидит, как принцесса в палатах, голой рукой не дотронешься! Надежды на нее нету.

Захар в лице переменялся.

— Неужто? Айда к ней! Не каменная же она. Есть же в ней души-то сколь-нибудь? Чего надо ей — все сделаем: ноги вымоем и выпьем ту воду. С погани не лопнем, а средства добудем. Вороти оглобли!

— Да чем лешак не балуется, когда бог спит? Айда, пожалуй, — согласился Григорий.

Фока счастливо подсмеивался:

— Да ты, Дарушенька, отъелась! Ужась!

На ум ему не падало, что она беременна, а Дарка успокаивала сама себя: «Может, и не больно-то Фока разозлится, а то и совсем не догадается, что не его ребенок, давно у него живу, и люди иначе не подумают».

С утра она стояла за стойкой, помогала мужу, постепенно прибирая власть к своим рукам.

И вдруг двери из кухни отворились, один за другим, шляпы под мышками, вошли в горницу Захар и Григорий. Глаза и весь вид у них выражали полное покорство. Теперь они были совсем не страшны, Дарка не дрогнула, а взмыла в ней такая злоба — заскрипела зубами, спросила, как витем полосула:

— А кто вас звал сюды? И чего притащились?

До того их принизила, что оба побледнели.

— Верно... верно это... сестра... — прохрипел Захар, не зная, куда деть руки от посрамления.

— Не сестра, Приблуда я! — перебила Дарка. Но Захар как ровно не слышал ее.

— Два десятка человек нас ты согнула донельзя. Ты бы зло-то кинула... — хрипел Захар.

— Мы уж, знаешь ли, прокляли себя за все, — стал убеждать Григорий. — Верно, Дарьюшка, не знали мы, кого ценить: маху дали в жизни, не приведи лешак, какого. Да ведь ты и то пойми: не без ссор и драк все живут. Либо мужик бабу полосует, либо она его чешет походя и поступя, а братовья всегда на сестрах отыгрываются. Да и как не то? Раз жизнь нам такая: земли нету, темнота задолила тоже. Ну а если беда стрясется — все дружно обороняются. И ты посуди по себе, сама-то вон до чего злая! Дай бы волю тебе — и ты бы, с такой досады, ухрупала нас почище того. Ого-го, чего бы ты сотворила с нами! Страх по подкоже дерет! Одна порода мы. Ну, ты и пойми да помоги нам, не ради нас, а робенки-то наши тебя не трогали, и они не повинные.

Григорий и руки сложил моляще, а Захар ступил полшажка вперед, прозаикался:

— Ну и... вымоем тебе их... ноги-то... и воду эту...

Дарка крикнула:

— Вышьешь! — и погрозила пальцем. — Вот ведь она, судьба-то человеческая! Их вы-ы!..

Она медленно взяла со стола чайную ложку, не торопясь зачерпнула ею варенья в вазе, намазала его на носок своего ботинка, указала:

— Лижите, псы... оба...

У Захара глаза вылупились, Григорий побледнел. Дарка глядела на них жестко. Но вдруг она вскочила, разом в ней все обиды сменились жалостью. Надернула она пуховый плат с плеч на глаза, упала на стол и зарыдала глухо.

Братья только переглянулись с понятием: после слез, особенно — бабы, отходят сердцем, и ждали. Не скоро она подавила рыдания, думая: «Вот я добилась в жизни всего: захочу — завтра же земли мне будет сколь угодно. А им, какие бы они ни были злые — все равно братовья, родные... им никогда на ноги не встать! Так к чему же принуждать их — лобызать носки обуви?»

И так же внезапно она распрямилась, сдернула с головы плат, с мокрым лицом, сияя глазами, подавляя остатки рыданий, проговорила:

— Ну вот и все! Садитесь-ко за стол — потолкуем рядом: еще никогда мы не баяли по-доброму. Чай пить станем.

Григорий отмахнулся:

— Не ко времени нам, благодарим покорно. Отпусти ты нас, терпенья нету.

— Как хотите. Не корите, что не накормила. Ступайте тогда за мной.

Она легко сбежала по лестнице во двор. Скорым шагом подошла к углу сарая и огорода, стала торопливо разрывать землю. Вот пальцы натолкнулись на жесь, и показалась банка.

— Беги, запрягай, Гришка! — Захар ткнул брата, и тот без слов сорвался с места, выбежал со двора, хлопнул калиткой.

Дарка начала подниматься с колен.

— Да будь же ты проклята, из-за чего изводила-то нас! — горько, но не со злом молвил Захар и не с силой, не кулаком даже, а для порядку хлестнул Дарку по поясице. Обычай такой! Как это старший брат не ожжет с досады сестру?

Дарка и вниманья не придавала, к сердцу не приняла экую пустяковину: смотрела, как он с деньгами скрылся за воротами, искренне пожелала:

— Дай вам бог впрок!

Загребла ногой ямку, дошла до крыльца. И тут хлынула кровь, Дарка только и состонала:

— Опять робеночка мне изжили...

Больница от чайной — рукой подать, да пока хватились Дарку, привезли туда, она изошла кровью.

— Пособи ты, Фока, моим братовьям: пропащие они совсем, а робятни — что шишек на елке... — чуть уже шевелила губами Дарка. А Фока ревмя ревел:

— Не покидай меня! Ни себя, ни робеночка моего не сберегла, рыжая моя! Заревись, какой я сирота остаюсь!

Услыхав о смерти сестры, Захар поразился:

— Чего стряслось? Здоровущая была Приблуда! Вот оказия-то!

Только на год он оттянул разоренье. А Фоке не нашлось поры вспомнить о братьях жены: чайную не прикроешь, и так она из-за похорон три дня не работала. Он балагурил и досадовал:

— Не приведи бог еще раз с бабой связаться. Будто и не деньги потерял, не корова, не лошадь пропала — баба опрокинулась, а сколь изъяну, ужась!



БЕЗЗЕМЕЛЬНЫЕ

1

На краю деревни Усолъе, на нижней стороне единственной ее улицы, стояла маленькая избушка, крытая много лет назад ржаной соломой. На улицу глядело оконце да в огород такое же, тоже одно. Пристроено никаких вокруг не было, а сразу от крыльца вниз, к речушке Тулубаихе тя-

нулись гряды узенького огорода. Вместо ворот стояла ограда из жердей в две нитки.

Жили в этой избушке Ежи — старые муж и жена. Может, они не так годами были стары, как изъедены нуждой и лихой судьбиной.

Годы свои Еж давно спутал.

— Когда освобождение народу объявляли в церквях, мне, поди, уж лет шесть-семь набежало.

У отца его Митрия Коскова был огромный домина с пристройками, с доброй усадьбой, была не одна лошадь, и заседал он немало земли. Семья была большая: четыре сына, четыре дочери. Все сыты и одеты. Да вот однажды графский управитель приехал в волость и объявил хозяйскую волю: не разрешает, дескать, больше мужикам сеять хлеб на его земле.

Много тогда народу по миру пошло. У Коскова Митрия остались две полосы наделной земли — своей-то нисколько не было. И стала семья голодать, а на другое лето дом и все хозяйство сгорели.

Кулак Сатана давно зарился на Коскову усадьбу. Тут-то, как случай вышел, он помог Митрию поставить эту избенку, а сам завладел доброй усадьбой.

И не смог больше стать на ноги Митрий Косков.

Самый младший из парней у него был Мишка, которого после и прозвали Ежом. Старший брат Мишки стигнул в солдатах. Второй был забран на Очер-завод и там умер от леготки. Старшую сестру отдали в Оханск к купцу Жакову в услужение за хлеб на три года. Она захворала недоброй болезнью, не нужна стала Жакову, а отец ее такую обратно взять отказался. Убрела она на Тупицынский завод и там отравилась серой. Вторая сестра за хлеб же была отдана в няньки в поповскую семью в Осе. Но поп просмеял ее, попадая нещадно была; и сестра, почуяв тягость, бросилась в Каму. Третьего брата — Федора — и самого Мишку по наряду из волости отправили работать в Нытвенский завод. Сначала на год. Потом еще на год отсрочили. Федька был буйный парень. Он сбил ватагу непокорных.

— Хуже не может быть нигде! — кричал Федор. — Хоть к черту на рога, только не здесь пропадать! Айда, робя, на низа, откуда к нам Пугачев приходил!

Ватага распевала:

— Экой Ваня, разудала голова,
Разудалая головушка твоя...

А ночью запылала контора завода. Управитель князь Ратьев сбежал, но из стражников кое-кого побили. Говорили потом, будто всю ватагу окружили у Сайгатки, взять живыми не смогли, перебили насмерть.

Мишку схватила горячка, и его прогнали с завода. Пришел домой — отца в живых уже не застал, только мать да двух сестер. Самую младшую взял к себе лесничий Саломатов и хорошо держал ее в услужении до пятнадцати лет, потом прибавил ей годов по метрике и выдал замуж за своего работника. Она с мужем уехала куда-то как в воду канула. Последняя сестра той же зимой от оспы и голода умерла.

Про отца сказывали: взялся он с артелью тянуть баржу от Устья до Чусовой. У Сарпула баржа наткнулась на камень и затонула. Бурлакам лямкой помяло груди, а кое-кого задавило насмерть. Мишкин отец лежал в какой-то деревне у татар. Те отпоили его кумысом, поставили на ноги. По пути домой отец обирал зерна с кучек, тем и питался. На этом его захватили мужики и забили батогами.

2

Мать не плакала, только тихо стонала:

— Отстрадался Митрий. Может, на том свете нам легче будет. А здесь нету нам ни земли, ни хлебушка. Чего, Мишка, сегодня есть-то станем? Мешать отруби с мохом? На раз не хватит.

В тот год вся губерния голодала. После сева прошли дожди, а потом наступила жарынь. Земля истрескалась. Все, кто могли, разбежались по дальним местам хлеб добывать. Той осенью бабы бросали своих ребят в реку Очер, а иные и сами бросались вслед.

Власти, видя, что податей им не собрать, торопились, забирали, что могли, угоняли скотину. Наехали приказчики Вагановых да Митрофановых — лесопромышленников чердынских, ну и за хлеб, задарма совсем, стали вербовать людей на лесные работы.

Мишка оставил матери полтора пуда зерна и ушел вверх по Каме. Мать до весны как-то дотянула, но засеять всю полосу не смогла, засеяла одну леху, а две сдала за пахоту и зерно Сатане.

Мишка и другие, кто с ним вместе ушли, ни весной, ни летом не вернулись. Лесопромышленники сжульничали, ис-

правили сроки договора на бумаге. Только еще через год Мишку отпустили с плотом вниз по Каме.

В Сокольниках его перехватили демидовские люди и против воли сделали кабальную — тянуть баржу до Перми. В Таборах Мишка от них сбежал.

У лесничего Саломатова вся семья хорошо помнила сестру Мишкину. Ее все любили. Барышни обучали ее даже писать и читать. Вот Мишка и явился к Саломатову, упал в ноги. Хороший был Саломатов человек! Пожалел Мишку и, чтобы схоронить его от розысков, услад в глухой лес, на Чуран лесообъездчиком.

Остроженский старшина Потанин знал, где скрывается беглец, да не хотел ссориться с Саломатовым, который был в силе. Потому он на запрос о розыске отписал, что Михаил Косков в его местах не появлялся.

Зато кулак Сатана не упустил случая. Раз сам Мишка числится в нетях, Сатана на законном основании оттягал у его матери полосу земли. В те времена на женскую душу земли не полагалось.

Но Мишка теперь не горевал: жалованье ему было, правда, четыре рубля в месяц, зато место доходное. То дрова неклеимые пропустит, то лесину кому отдаст. Шире-дале: самого Потанина да и других ублаготворил и за это снова получил полосу. Лошадь, корову завел. Тужился, скапливал деньги — земли бы купить, дом бы добрый поставить.

Кормилец Мишка у матери был единственный, так ему военная служба не угрожала, и мать настаивала на том, чтобы он женился. Давно ему приглянулась девка Марья на Казанке, красивая, работящая, только худородная. Но Мишка не гордился тем, что хорошо стал теперь жить, — женился на Марье.

3

Саломатов умер внезапно. Скоро приехал новый лесничий — Пясецкий и стал вводить свои порядки. Взыли мужики: до сих пор все строились и отоплялись, а теперь даже валежника не тронь.

Прибыл Пясецкий и на Мишкин участок.

— Ни один объездчик не живет в такой конуре. Ни двора нет, ни ворот... Он что, дурак? — спрашивает у своего помощника Пясецкий, а сам глазами Марью пожирает.

— Да нет, потравы у него не меньше других. Нарубил лесу себе, черти-те что. Видно, ждет санной дороги, пес!

— Ноги затекли, — сказал лесничий и пошел в избу.

Здесь чисто, дух хлебный, но пусто. Не видать рушника вышитого, божница не обряжена, нету ни постелей, ни половиков.

— Ставь самоварчик, ягодка, — прищуриваясь на Марью, сказал Пясецкий.

— Не обзавелись еще. Не успели. Я в чугуночке заварю.

Марья засуетилась. Мишка стоял непочтительно, вразвалку. Пясецкий взъелся:

— В солдатах не был? Сразу видно. Где твоя лошадь?

— У соседа в стае.

— Седлай, скачи за помощником. А я останусь. Разломило на ваших долгушах.

Версты три Мишка скакал да оглядывался. У опушки не вытерпел, повернул назад.

Мать на крыльце держалась за скобу дверей. Мишка мимо нее в избу.

Пясецкий левой рукой прижимал Марью к себе, правой вливал ей в рот вино. Мишка схватил бутылку со стола, да когда размахнулся, она разбилась о низкий потолок. Только осколками изрезало морду лесничему.

Он не просто прогнал Мишку с работы. Неотесанных дураков надо учить! Он приказал подобрать материал на счет потравы леса, и волостной суд посадил Мишку в замок на два года.

Увели лошадь и корову, отобрали землю и зерно.

Мать надела боковик и хребтовик, закинула за плечи переметши — пошла собирать куски. Зимой от простуды у нее отнялись ноги, и она села на печь на всю остальную жизнь.

Молодка осталась на сносях. Гоняли ее наравне с другими и глину месить, и в лес. Преждевременно родился хилый парнишка и умер.

Когда Мишка вернулся из замка, у Марьи была полная, здоровая девочка, но глухонемая. Впервой у Мишки вздыбились волосы и глаза стали колючие, злые, как у ежа. Заревел он:

— Ты что? Думала, живым не вернусь?

Марья упала на колени.

— Свекровка куски собирать не может. Я по обрядам спину гну, заработать ничего не могу. Ходила к омуту, голод толкал, а самой кинуться страшно стало, Миша. Сам меня зашиби чем хошь хоть сейчас, хоть маленько погодя. Повинная я и тебя не прокляну. Одно молю: не тронь дитенка. Если выживет она, — видать, и без того несчастная будет.

— Не тронь Марьку! — Мать нагнулась с печи. — И девку призри, сколь жива будет. Не в час роженной сам-от ты, голод не тетка, суди-ко по себе. А ведь Марька не кинула меня, хоть и как билась!

— Кто он?

— Про то не скажу. Тебе же легче. Был, хлеб дал, и нету его и не будет.

Мишка не дрался, стал пить. Полосу земли на него дали. Когда он ушел на заработки, каким-то чудом Марья засеяла ее всю. Но работы нигде не нашлось, и осенью голод схватил их за горло.

А тут подкатил Сатана, давно следил за ними. Прикинулся добрым ангелом, пришел ласковый, с вином.

— Не обездожь меня, Миша. Заставь за себя бога молить. В твоих руках все. А семья без хлеба не будет. Как своих стану содержать.

Не верил Мишка. Знал ведь он, как за старшего сына Сатаны ушел в солдаты парень Лука, а мать его и сейчас голодает.

— Сумлеваешься? — наседал Сатана. — Напрасно, Миша. Вернешься домой, я и корову дам, и ягушку, и рюшку. Все дам! Не веришь? Смотри — икону беру. Да отсохнет язык мой, да лопнут глаза мои, да завернет мне голову леший назад, да провалиться мне...

Мать и Марья захватили головы — ревели. Сыновья Сатаны внесли мешок зерна и муки.

Какой голодный устоит перед хлебом насущным!

И ушел Мишка на четыре года на службу за сына Сатаны.

Марья билась, ровно муха о стекло, а в праздники взваливала свекровку на загорбок, выносила на перекресток, садила на обочину дороги, ставила перед ней черепок.

Целый день старуха тянула:

— Дай мне, боже, плакать,
А суседу смеяться.
Мне голодной быть,
А суседу сыто жить.
Дай мне, боже, страданье принять,
А добру соседу не баливать.
Мне бы, боже, по миру бродить,
Суседу бы чужого куска не просить...

Сатана забыл все обеты, на двор к нему не суйся. Из солдатской полосы земли две лехи Сатана за вспашку, за зерно хапал себе и только одну засеваѣ Мишкиной семье.

От Мишки вестей не было. Узнавали о нем что-нибудь случайно, от вернувшихся солдат, да и то всегда худое. Пьянствовал он там, буянил, был бит и штрафован. И прослужил он через то шесть годов вместо четырех.

Когда Мишка возвращался со службы, так еще далеко от своей деревни узнал, как живет семья. В голове закружились недобрые думы, на сердце залегла злоба на все, и смотрел он нелюдимом.

В деревне при встрече соседи смеялись над ним:

— Лычки-то выслужил ли?

— Здорово, царско войско!

Мишка не отвечал. Тряс острой бороденкой, колол злыми глазами их и шагал к своей избе.

Вслед ему неслоь:

— Да будь он проклят! Сколь годов он не был, а и не поздоровкался!

— Злой! А кто виноват? Нам рази легче?

— Солдат собаке брат.

— Колючий, ровно еж.

— Еж! Ей-бо-пра! Ежище он!

— Еж! С места не сойти!

Готов был взвыть Мишка от этого низкого прозвища. Вошел он в избу, скинул с плеч котомку, снял шапку, оглядел всех. В глазах на миг мелькнула радость, но тут же взгляд стал злой, колючий. Марья шагнула к мужу, да накололась на этот взгляд, зарыдала в платок.

Глухонемая Варька спиной прижалась к стене, со страхом смотрела на них.

Мать свесилась с печи, прорыдала:

— Дитенок! Не чаяла уж. Дай-то, господи... Варька, беги! — она ткнула пальцем в ведро.

Варька схватила их, убежала затоплять соседскую баню. Марья нагнулась, чтобы стянуть с мужа сапоги.

Мишка спросил заботливо:

— А что вы тут едите? А как Сатана тот слово свое выдерживал, когда я там за его окомелыша, за обрубыша его пот и кровь свою на царской службе тратил?

Мать махнула рукой.

— Не злись на него, сын мой несчастливой. И всяк на его месте не меньше бы хапал. Не в том беда, а в том, что своей земли нету. Надельная полоса, она только дразнит. Наша будто, а не совсем.

Мишка хватил кулаком по лавке.

— Да я ему, окаянному!

И выбежал из избы.

5

Вбежал Мишка в горницу к Сатане и так хлопнул дверями, что они распахнулись за ним настежь. Оба сатанинские сына вскочили с лавки, а снохи выбежали с середи.

Сатана схохотнул:

— Ах-ха, солдат заявился!

Мишка брякнул себя в грудь и на Сатану:

— Ты что, проклятой! А?

— Ужаси какие! — в один голос взвизгнули снохи.

— Но-но! — Сатана стукнул в пол батоном. — Поздоровкайся сперва! Перекрести образину!

— Я те перекрещу!

— Гаркну десятского...

Старший сын кинулся к дверям.

— Обожди, — остановил его Сатана. — Уймется так. Каки таки неудовольствия могут быть?

А Мишка задыхался:

— Что обещал, когда улещивал меня идти вот за этого сопляка в солдаты? А? Заморил моих ты с голоду!

— Ты бы еще десять годов там заместо четырех пропадал, — Сатана спокойно облокотился о стол. — Кто виноват тут? И все бы десять годов я твою вшивую команду корми? Четыре года и то кормил. И после того кажинный праздник бабы мои носили им по целому блюду милостыни.

Не клеpli на меня. Не веришь? Икону в руки возьму! А интересно мне бы допытаться: чего ты добиваешься от меня?

— Чего? Добиваюсь чего? — В глотке у Мишки пересохло от этого бесстыжого вопроса Сатаны. — Не трожь мою полосу! Вот чего!

— Не трону! Отсохни мои рученьки! Мимо за три версты объеду. Вон она на угоре тоскует: кто меня весной вспашет да засеет? Неужто ты сам? Кого запрягешь в соху? Мать али бабу? Ха! А зерно где? Поклонишься! Айда отчаливай да не бросайся в другой раз!

Прибрел Мишка домой. А избенка совсем покосилась, стекла в окнах на лучинках держатся и с сизым отливом они, как у всех безземельных.

С рожденья Варьки Мишка жену свою по имени не звал. При надобности кричал:

— Эй, куды топор засунула?

И жил Мишка молча. Марья страдала от этого, потом обтерпелась, сама стала ежихой, и глаза колючие.

А Варьку он, того хуже, не замечал, как будто и не было ее совсем.

По утрам молча принимались все каждый за свое дело, усталые, молча ложились спать.

И молча же Марья смотрела, как муж обувал новые лапти, — видно, собирался в дорогу. Молча уходил. А куда? Понятно, работу искать. Надолго ли? А бывало, всю осень, даже и зиму не возвращался, вестей не слал. Когда же приходил, покупал зерна. Молол его или оставлял немолотым — и Марья догадывалась: на посев. И опять уходил неведомо куда.

И мать схоронили без него.

Между тем года три сподряд люди жили сносно. Не было добрых урожаев, не было и недородов. Середка на половине. Только такие, как Мишка, уходили работать на сторону. Им хоть когда плохо, им на ноги не встать. Не по ним меряли жизнь старики, когда говорили:

— Ох, неладно так!

— Не к добру это!

— Мыслимо ли!

— Который год сыты. Избалуются люди.

И верно: избаловались! В ту весну особенно много посеяли хлеба. Но дождей не выпало — всходы засохли. И на

стороне работы не стало. Лесопромышленники не брали людей в отъезд. Баржи на Каме тянули пароходами.

Кинулись было мужики на низа, к Волге, да и там недород.

Шатаясь, еле-еле убред Мишка в город.

6

Варька прижилась у добрых соседей Пирожковых, научилась шить, ткать и стряпать, через что потом счастье свое нашла.

Весной Мишка вернулся. В добром армяке и в сапогах шел он по деревне.

— Эй, пошто печь не топлена? Стряпай шаньги! — оговорил он Марью. — Варюха где? Совсем отшатилась?

Марья опрометью выбежала из избы, скоро вернулась с Варькой.

— Недомовые! Приблудные! А это что у вас такое? — Мишка мазнул пальцем по потолку, по стене, ткнул им в носы. — Рази так у людей?

— Какие мы люди? — всплакнула Марья.

Мишка сразу потемнел, сказал:

— Айда тежку глядеть. Сторговал я.

У Марьи во рту пересохло.

— Куда мы ее денем? Чем кормить станем? Угодья, покосу нам нету.

Мишка опять потемнел. Марья в страхе закричала:

— Айда! Айда! Стану на веревке ее водить, по обочи нам кормить. Стоять в сених будет.

Через месяц Мишка молча ушел опять куда-то и вернулся только осенью. Купил он лошадь, долгушу, выписал лесу, советовался добром: где стаю, крытый двор ставить, как перенести избу. Искал: у кого две-три полосы земли арендовать можно.

Целые дни они втроем работали в лесу, на дворе, в овине, не чуя усталости. В избе пахло варевом, хлеб ели добрый. Под полом хрюкал поросенок, около дома пурхались куры, каждое воскресенье была стряпня. Заходили соседи, пили Мишкино вино, хвалили Варькину стряпню и Марию капусту, завистливо доискивались: где Мишка заработал столь много денег?

С Варькой теперь он говорил ласково, даже гладил по голове. И Варька бежала к нему, что-то немовала, показывала. Он купил ей и жене сарпинки и ситцу, новые коты и ботинки с резинкой.

Так прошло года полтора. Пожалуй, не было более долгого счастья в жизни Ежей. В половине зимы Мишка ушел опять. На этот раз он добром наказал, что и как делать.

И до смерти потом Марья не забыла, с какой печалью он говорил:

— Земли-то у нас своей нету. Без земли мы опять в полгода... — И зашелкал зубами по-волчьи. Марье стало холодно. А Мишка продолжал: — Там дорогу ведут. Мост через Каму строят. Добуду денег еще, людьми станем.

Но к севу Мишка не вернулся. Не пришел и осенью. А скоро после его ухода открылось: Варька оказалась беременной. И хоть она не признавалась матери, всяко показывала, что, мол, не он виноват, но все подозрения пали на Мишку.

— Не простил... отомстил мне! — редела Марья.

Варька родила мальчика. И Марья, проеда, что осталось еще, хранила лучший кусок внучонку. Через два года Варьку взял замуж вдовец к четырем детям. Она стала матерью пятерых, родила потом еще, жила хорошо.

7

На углу Осинского переулкa и Торговой улицы в Перми стоял двухэтажный дом Прозорова. В одной половине верхнего этажа жил сам Прозоров с семьей, вторая половина дощатыми заборками делилась на конурки — комнатки для чистой публики.

Нижний этаж, кроме небольшой кухни, был сплошной горницей. Вдоль стен стояли скамьи, перед ними — столы. Это был постоянный двор. И за пятнадцать копеек приезжий мог здесь ютиться круглые сутки, а если ставил на дворе под навес лошадь с возом, то добавлял гривенник.

Сам хозяин Прозоров занимался еще торговлей и сюда заглядывал раз в неделю, а жена, обремененная детьми, в дела не вмешивалась.

Всем двором полновластно ведала баба Фекла. Могутная была женщина. Писать и читать не умела, но никому обмануть себя не давала. Она все делала сама: мыла полы,

чистила каждодневно двор от навоза, на кухне грела два куба воды круглые сутки, варила крестьянские щи, закупала на базаре сено и овес для лошадей постояльцев, тихо-молком торговала водкой.

Круглые сутки постояльцы тормозили ее:

— Эй, Фенька, чаю скорей! Уморился я, лешачиха!

— Чичас, не ори! Разинул глотку, ровно дома.

— Фень, шей пару живо!

— Не дери хайло!

— Феня, водочки Николкиной! На деньги. Да одна нога здесь, другая там.

— Чичас сбегая, не близко.

Достанет Фекла бутылку из сундука за печкой, постоит, выждет время. Сдачи не сдавала.

— Фенюшка, коурой моей охашку сена брось! Да за котомкой пригляди, под лавкой. С живой не слезу, ежели у ней ноги окажутся!

— Унеси тебя лешак! Грозится еще! Кому она нужна?

Хватала Фекла котомку, закидывала ее под свою лежанку за кубом. Приходил хозяин, спрашивал:

— Как дела-те хлещут? Давай деньги, беда надо.

Она доставала из сундука мешочек.

— А что мало? — ерепенился хозяин. — Куда их таишь?

— Как мало, Демьян Касьянович? Считай сам: двадцать по двадцать пять да тридцать по пятнадцать, да в белых комнатах пятнадцать по рублю. Что те надо, ненасытному? А за стирку, за вывозку назьма? Небось, сам-то мне полгода уж не платишь. Обеднел, поди. А живешь со мной. Мотри, все Елене обскажу. Да и плюну на все. Ищи другую дуру.

— Ладно-ладно, не хорохорься! — Прозоров сразу стихал. — Разошлась! Крышу на дворе перестели, изопрела. Тесу купи да подряди плотника. Да во двор галек с Камы надо навозить: грязизище, перестанут к нам приставать через то.

— Айда давай отваливай. Без тебя знаю, чего надо. Забрал выручку и ступай.

Была Фекла Прозорову племянницей, любовницей и незаменимой работницей. И так более пятнадцати лет.казалось, тут ничего и никогда не изменится: этот постоялый двор не может быть без Феклы, а Фекла — без него.

К Фекле на постоянный двор в поисках работы и зашел Мишка, оборванный, измученный, голодный. Он долго стоял и оглядывался, пока решился войти в двери нижнего этажа, откуда валило тепло и несло запахом щей. Мишка присел на пороге, стал оттирать иззябшие руки.

Заскрипела лестница, спустилась сверху Фекла, подозрительно оглядела Мишку, спросила:

— С какого облачка тебя выкинуло, столь антиреснаго?

— Дай, милая, двор почистить! — Мишка вскочил. — Есть хочу беда! Опосля все обскажу, если нужно, кто я...

Она налила щей, отрезала ломоть хлеба.

— Сперва поешь, мужик, да потом уж прибери двор.

Мишка схватил из рук Феклы хлеб и ложку, стал глотать. По щекам текли крупные слезы, а он глотал и глотал. Волосы смekli. Слизнул он с ложки прильнувшие кусочки капусты, сгреб хлебные крошки со стола на ладонь, закинул в рот.

— Все слопал? — Фекла смотрела на него удивленно и жалостливо. — Давай еще налью?

— Не-е...

Мишка отяжелел и устал. Хотел встать, идти чистить двор, но голова склонилась на грудь. Он состонал и забился.

Раздался окрик:

— Фень, воду-у-у!

Мишка выбежал во двор, схватил ведро. Потом он очистил двор, исколол поленницу дров.

Фекла недовольно смотрела на него: не привыкла, чтобы ей помогали. Она приготовила на столе щи и хлеб, но Мишка ушел, не показавшись, голодный бродил по базару, за весь день получил пятак — помог перетаскать с воза в лавочку ящики.

— Господи, прости... — решился он в отчаянии. — Терпенья нету мне...

И впервые тут же украл с прилавка каравай черного хлеба и съел его весь. На ночь забрался в какой-то темный, зато теплый коридор и уснул на полу. Проснулся он от своего же стопа и рева, рыдал, пока не схватила икота до боли.

Наскочила собачонка, рвала лопотину. Прибежали трое.
— Во-ор! Бей!

Мишка прикрыл голову руками и прижался к стене. Он сперва не отбивался, но в конце концов озлился, озверел, сбил одного с ног, метнул другого, убежал.

Утром на базаре он смело отвязал от воза жеребенка, продал его за целковый в татарскую мясную лавку. Пока мясники свеживали жеребенка, Мишка очистил у них каску. Не волновался, не торопился, равнодушно думал: «Убьют? Туда и дорога. От мытарства избавлюсь».

На толкучке он купил не новую, но чистую одежду, старую бросил тут же. Остригся. Подошел к сбитенщику, не торопясь, наелся, напился, скрылся, не заплативши. Еще три раза так он ел в тот день и уходил небитым.

— Обожди, Марька, обожди! Скоро уж, поди, сотня будет... Обожди! Добудем мы землю, станем людьми! — бормотал Мишка, ощупывая за подкладом деньги.

9

«Можно там поесть и выспаться в тепле... — думал Мишка, вспомнив Феклу. — А может, и деньги у нее есть... Обожди, Марька, обожди!»

Явился он на постоянный двор, выложил перед Феклой пару пятаков и заезгзил:

— Здравствуй, Фенюшка-душа. Прими, милая, за щи свои.

Фекла сердито смахнула пятаки на пол.

— Не нищая!

— Да и мы не какие-нибудь! — Мишка выпятил грудь. — Солдат я. Неловко так-то... — Он собрал пятаки и снова положил на стол. — Ну, не злися. Налей-ко шей-то. Беда добрые их варишь.

И зачастил Мишка к Фекле. Рассказывал о солдатской жизни, о горестях и голоде, назвался безродным, мирским вскормленным, одиноким. А в уме и на сердце жила одна мечта — о земле. Теперь, когда за подкладом шуршала чуть не сотня рублей, он осмелел, жадно ловил случай еще добыть денег.

Фекла говорила мало, больше слушала. Не все и понимала. Мишка был моложе ее лет на пять, неполный человек даже: солдат — значит, бродяга, прощелыга, проходимец.

И в разговоре у него не все складно. Лешак ведает, что у него на уме. Молоть-то языком все можно!

А ее жизнь разве не такая же? Сбила Фекла немалый капиталец, мечтала бросить муторное и гнусное дело, обзавестись своим углом и семьей. Но года шли и уходили, и ничего такого не оказалось.

А Мишка наговаривал, как бес! И она заметалась: не сплутнуть бы, не упустить бы счастья, да и не влопаться бы.

Иногда Мишка мимоходом пробовал уже и погладить ее. Она сердито отталкивала его руку, но теперь он часто ночевал на кухне у Феклы. Она не гнала и против своего сердца иногда говорила:

— А что ты, Миша, фатерку не возьмешь где?

— Фатерка-то есть... — Он снова пытался обнять ее. — Да скучно там. Особо без тебя. Беда как мое сердце к тебе прилепилось.

Мишка во всем помогал ей: кормил лошадей, закупал что нужно на базаре и незаметно для Феклы стал ей необходимым. Казалось уже, что она без него и не справится. Если Мишка долго не приходил, у нее из рук все валилось. А он придет и ну подзадоривать:

— Вот вскрыется Кама, с первым парходом махну на низ. Прощай, Феклушка! Может, там найду счастье и останусь навсегда. Тяжело расставаться, да ничего не поделаешь.

Ему казалось, что мало у него денег. Хоть бы сотенку еще к той, заветной! И он крал на базаре, крал осторожно, по мелочам, а иногда собирал плату с постояльцев двора, но оставлял себе так мало, что и набитый глаз Феклы не мог придраться.

10

Мишка увязывал котомку, показывал, что отъезд решен неотложно, и говорил заплаканной Фекле:

— Сходить рази узнать сперва, когда он отправится?

Вернулся Мишка с пристани весь не свой, причитаючи:

— Эх, горе-горький я! Не выбраться отсель. Обокрали меня.

— Да сколь же у тебя украли, Миша? — Фекла от радости задыхалась.

— Все! Рублей двести, а то и поболее. Куды я без них? Придется обождать с недельку-две, хоть чего-то подробить надо.

— Дала бы я тебе, Миша, да отпускать неохота. Так неохота! Не дам!

Теперь из денег, полученных с постояльцев, Мишка стал сдавать ей до того мало, что Фекла начала уговаривать:

— Мишенька, хозяин сразу спохватится, нельзя ведь так-то.

А Прозоров уже спрашивал Феклу раньше того:

— Зачем тут хлюст этот обретается?

— Мало ли народу бывает? — отмахнулась она. — Кто не спит у нас? А одной управляться мне тоже не вмоготу.

Но когда она сдала денег мало, хозяину сразу бросились в глаза новые Мишкины сапоги.

— Ты что? Хахаля подцепила?

Фекла сдернула фартук и кинула к ногам Прозорова.

— В таком разе — вот тебе! Уйдем седни же с двора с твоего!

Терять Феклу Прозоров никак не хотел, затаил обиду и сказал:

— Не злися, племянница. Тебе потрафлю — пусть и ему место будет.

Когда хозяин ушел, Мишка задумался: как бы ему все здесь не потерять, да ведь и хлеб сеять дома пора.

— Фенюшка, поеду на низ, посмотрю, где бы осесть нам.

И уехал, но, к радости Феклиной, через месяц вернулся, будто с горечью рассказывал:

— Зря деньги потратил. Поблизости ничего подходящего нам нет. Осенью подальше съезжу.

И стал он готовиться к поездке. Начал забирать из ручки сколько мог, чтобы только не раздражать хозяина, а с Феклой уже не церемонился. На базаре Мишка крал, играл в орлянку, кегельбан, на себя денег почти не держал, ел — не платил. Полиции он больше не боялся: если попадался, ловко всовывал взятки. Полицейские ему козыряли:

— Звиняйте, господин! Ошибочка!

И Мишка становился все смелее. Денег уже было мало. Купит он землю и лошадь! Будет есть ярушники и пшеничники мучнистые! Не будет Марья голодать и не изменит ему больше! Перестанут его обзывать проклятым прозвищем!

Осенью Фекла отпустила Мишку в дальние низа, деньги дала немалые. Хозяина до себя больше не допускала. А он уговаривал:

— Пошто ты меня отшила? Дура, опомнись.

— Деньги ты получаешь, а сама я больше тебе не подкладка.

Мишка вернулся через полтора года, с порога сказал:

— И там ничего подходящего нам нет. Говорят, в Сибири хорошие места.

— Да с тобой хоть на каторгу, Мишенька! Хоть сейчас.

Он пробурчал:

— На дворе морозы, а ты ехать. Перебьемся до тепла, там видно будет.

Но Прозоров не мог больше терпеть Мишку, и его какие-то бродяги на базаре пырнули ножом под лопатку. Еле выжил Мишка в больнице и долго еще потом отлеживался на кухне у Феклы. Она торопила уехать от греха, а он думал о деньгах на землю.

У Прозорова не отмякло зло на Мишку. Ночью, когда тот не ночевал у Феклы за печкой, в хозяйской квартире произошла кража со взломом. Напрасно Фекла уверяла полицию, что Мишка провел всю ночь безвыходно у нее, напрасно и взятки совала. Пропавшие вещи нашли у Мишки в котомке. И он сел в тюрьму на три года.

Фекла ушла с постоянного двора на квартиру.

Стены в тюрьме немые, тюремщики неразговорчивы. Шагает Мишка по камере взад и вперед, все сам с собой разговаривает. Сердце и мысли его в Усолье... Едет будто он в долгушке, понужает сивку. Торопится — ждут дома. Марька как раздобрела! Варюха выросла! Мать ворчит на печи: где только сын пропадает долго? А на столе щи дымятся, ложки разложены, хлеб ломтями. Мишка с долгуши мешки с мукой снимает. Ух, какие тяжелые! Большие! Крышу пора перекрыть, солома изопрела и редкая осталась, как вон... тюремная решетка.

В окне только небо, земли Мишке не видеть.

— Эй, ты там! — Он тянет руки вверх, к небу. — Эй! Как мне без земли-то? Пошто мне земли-то нету?

Лишившись вовсе сил, Мишка падает на пол. Нет, не добыть ему денег, а без денег не добыть земли. Не дается она ему в руки.

Мишку охватывает тоска и ненависть ко всему. Хоть бы еще вернуться туда, повидать ту землю! Хоть бы кто принес ее ему в горсти немного, раз уж много ему нету!

Тюремщик гремит дверью, ключами.

— Ты, эй, иди на свиданье.

А Мишка не слышит, свое думает. Сосед Матюга зовет его в Оханск. «Не поеду я! Вон сколь снопов в овине не прибрано: когда и управлюсь с ними?»

Но тюремщик в глазах мельтешит, про какую-то Феклу поминает. Фекла? Чего ей надо? Чего это она говорит? Чего это кажет сквозь решетку?

Мишка злобно кричит ей:

— Ты виновата! Не дала денег на землю! Из-за тебя мучусь! — И колет глазами Феклу.

Пропал бы он, заели бы его тюремные вши, если бы она оставила его в беде. А Фекла тяжела была, ждала дите от него.

В Слободке она сияла угол с печью, на обжорке — прилавок и стала торговать щами, пирогами, оладьями. Каждую неделю она носила в тюрьму передачи, плакала:

— Страдалец ты мой...

А он колол ее ежиным взглядом или смотрел в сторону, молчал, не спросил ни разу, где и как она живет, что делает.

— Засохло... — плакала Фекла. — Затвердело твое бедное сердце... Оттает ли?

Однажды она сквозь решетку радостно прошептала:

— Васькой назвала, не спросилась у тебя... Здоровехонек... дите наше...

Мишка не сказал ни слова, ушел. Так протянулись все три года.

Васька от колючих взглядов отца ревел. Фекла почками ощупывала Мишку — худой, измороженный. Она укутывала его, отогревала, прижимая к себе. Чуть свет, она уже

стряпала, варила, жарила, кормила мужа и сына, бежала в обжорный ряд.

Здесь Фекла продавала свою стряпню, закупала что нужно, бегом неслась домой, ласкалась:

— Обожди, Мишенька, потерпи. Станешь, станешь сам хозяином!

У нее был муж и ребенок, что еще надо? Она горько жалела о безрадостной молодости, о постели, не гретой любовью, но бодро смотрела вперед.

Мишка искал работу, да везде натыкался на отказ и опять оказался на Черном рынке. Тут хоть на каждом шагу кради, но тряслись руки и ноги. Он отворачивался от соблазна.

Теперь с Мишкой творилось совсем несуразное: смотрел одно, а видел другое. Вот это не Фекла, а кучка хлебная, не Васька вертится около, а сноп.

— Ух ты, сноп!

Мишка сморщился от радости, щелкнул ногтем сноп. Васька заревел. Фекла со счастливым смехом успокаивала:

— Отец ведь с тобой играет! Вишь — любит! Отец ведь, не кто-нибудь он нам.

Она знала, что ей теперь делать. Увезти его надо в свою деревню около Сарапула. Там в хлопотах по хозяйству отойдет душой Мишка, вроде ящерицы — замерзает она с холодами, а весной отходит. И Фекла радостно засобиравшись в дорогу.

Как-то Мишка вернулся домой раньше Феклы. Васька играл материнным кошельком. Мишка схватил его, раскрыл: рублей двадцать.

— Ведь это тридцать-сорок пудов ржи! Марька! Жива ли? Стой, обожди, может, и мы...

Он убежал на толкучку, кинул в кегельбан — проиграл, в орлянку — проиграл.

Не везет!

Остатки денег запрятал под подклад, в вату. Теперь он ощупывал у Феклы одежду, постель, узлы: не зашуршит ли где, не звякнет ли, не захрустит ли. Нет, нигде нет! Они, верно, вон в сундучке, пять на три четверти, окованном, с внутренним и висячим замком. Он тяжелый. Там, думать надо, тыщи! Обожди, Марька! Возьму, возьму их, дорогой где-нибудь сойду с парохода... Обожди, Марька, добуду я! Как раз скоро сеять! — твердил он сам себе и ждал отъезда.

Было шумно, тесно. Взад-вперед сновали люди. Сидя на сундуке, Мишка отвернул висячий замок и ножом сорвал внутренний, да заглянуть в него не удалось: Фекла сидела на узлах обок.

Пароход длинно заревел. Мишка хватился:

— Да ведь это Оханск! Оханск и есть!

И выбежал на пристань. Фекла обеспокоилась и пошла за ним. А ему пахнули в лицо родимые запахи, он всматривался вдаль и шел бы, шел... Да Фекла держала за рукав.

Сердцем он уже бежал по тракту мимо Притыки, мимо Половинной, мимо Кокуя, через студеной Очер — в свою деревню. Вот и Усолье! Такое же, как и в тот день, когда Мишка ушел отсюда в последний раз. Вон изба!

Но тут... пало ему в голову: нечем ему оживить избу. Мишка застонал, слезы закапали с бороды на землю, родимую и чужую, которая никак не давалась ему в руки, не кормила досыта.

— Да будь проклято все! — Он грозил кулаками кому-то.

Фекла ласково тянула:

— Айда, Мишенька. Уж второй раз ревет пароход-от.

Он оглянулся, с ненавистью уставился на нее.

— Ты! Не даешь подняться на ноги! Из-за тебя все потерял!

— Рехнулся! Опомнись, не мели-ко...

Мишка ударил ее раз, два...

Боли Фекла не почувяла, только стало ей горько невтерпез. Однако переломила себя:

— Айда, худоумной... третий ревет... Замысловатой ты, право... Не знаю, как и быть-то с тобой... Ну ударил... бабу, меня... Да откудава ненависть-то такая? Не даю встать на ноги? Все потерял? Из-за меня? — Она дотолкала Мишку до своих узлов на палубе и сразу легла, закуталась в шаль и затихла.

Пароход опять длинно заревел, приставая к Беляевке. Мишка решил: вскрыл сундук, стал искать, весь вспотел. Вот на дне какой-то сверток, тугой, обернут в старую файшенку, обвязан нитяным гайтаном, на перелом хрустит. Они! Они!

Фекла медленно поднялась, удивленно спросила:

— Чего задумал?... Васька, погляди на отца-то!

Мишка только бормотал:

— Обожди, Марька, обожди...

И сунул сверток за пазуху.

— Бери, бери... — спокойно сказала Фекла. — Немного ведь тут у меня. Лишь бы впрок тебе... Иди! Что ты нам? Не кормилец, не поилец, не защита.

Мишка сбежал на берег. Она шла за ним.

— Будем с Васькой горе мыкать, а выть не будем... Может, опомнишься? Я корить не стану. Сын ведь у нас... Образуемся, слышь, Мишенька...

15

Мишка вбежал в избу, сел на лавку, огляделся. Марья ойкнула, прижала руки к груди. Мишка скинул пальто, стянул сапоги. Сверток с деньгами упал на пол. Мишка схватил его, сунул под шапку, лег на нее и сразу заснул.

Марья тряслась от глухих рыданий. А когда слезы иссякли, подняла мужевы онучи, пошла на реку стирать их.

Мишка видел во сне соседей. Матюга и Данько вброд перешли Очер, схлопали руками.

— Чья это полоса? Сколь добра рожь!

— Чья? Да Михайла Коскова!

— Неужто? Разжился? С хлебом?

— И та полоса его, и та, и вон эта...

От удивленья у обоих глаза округлились, расширялись все больше, стали шире колеса. Мишка так хохотал над ними, что проснулся: сел, схватил сверток, стал считать деньги, спросил жену:

— Эй, не слыхала ли: кто ныне землю продает?

— Ухо не наводила, а про Матюгу слышала. Оба сына отшатались, надоело им недоедать, ходить не в чем.

Как был босой, Мишка перебежал дорогу к Матюге. А тот не обрадовался покупателю.

— Не стыдно тебе, суседу близкому, последнюю землю у меня покупать? Ведь у меня надельной земли нету и не дадут. Али силу почуял, Ежище проклятой?

Мишке и было стыдно, да не совсем: не помнил он, чтобы и Матюга его на деле пожалел когда. И прозвище-то Еж пристегнул ему он же, Матюга.

— Робята мои ушли, — проговорил Матюга. — Сам я из сил выбился. Лошадь обезножела. Издыхать и мне при-спела пора. Бери землю-то, а то Сатана наведывается.

— У меня не полижется! — Мишка хвастливо ткнул себя кулаком в грудь. Не помня себя от радости, он тут же убежал в поле, шагами мерял полосу, упал на нее, целовать стал, руками обхватывать, приговаривать:

— Земелька... земельюшка моя родимая...

А Матюга из слова в слово ревет от горя, распялил руки:

— Земельюшка, земелька моя милая, прощай, корми-лица!

Мишка вслух размышлял:

— Как бы мне еще надельную полосу от Сатаны вер-нуть?

16

Сатана окрысился:

— Каку таку полосу? По два года я твоей Ежехе вспахивал полосу, засеивал своим зерном по совести, пока ты там где-то в сапожках щеголял по городам.

— Так ты за то сеять-то одну леху только оставлял. И то не всю.

— А чье зерно сеялось на той лехе?

— А на кого Марька робыла?

— Боле того съела. Ступай жалуйся. А лучше — не шеперся. Прав свой не оказывай. Давай и эти обе засею исполу. И выгоды никакой мне нету, да земля не должна лежать втуне. Про ту полосу и не вспоминай. Три года стану пахать, сеять и хлеб снимать с нее. Вернуть ее тебе выгоды нет ни тебе, ни мне. У тебя ее волость заберет сразу, а у меня нет. Знаешь господнею притчу о талантах? Ты свои таланты в землю зарыл...

— В солдаты уходил за твоего пороса, что ты мне обеща-л?

— Чем докажешь, что я не рассчитался? На том свету мне упреку не окажется. В моем молитвенничке имячко твое записано за здравие. Что еще надо? Вечно вы недо-вольны, хоть масла вам лей на голову. Да Христос с вами, не сержусь, придешь — вспашу землю. Земля должна ро-дить...

Мишке представилось самое больное, закричал:

— Родить? Ты либо сыновья твои Марьку да и Варюху моих голодных за хлеб же... заставили родить...

Сжав кулаки, скрипя зубами, Мишка пошел на Сатану.
— Но-но, охолодись! На старика, меня, не распаляйся. Хрястну бадагом, и суда мне не будет. Эка беда, Марькой укорил... А еще снисхождения ищешь, землю удержать думаешь. Я те засею!

Метался Мишка, не спала ночей Марья. Никто в деревне не хотел вспахать и засеять Мишкину землю на сносных условиях, а только исполу.

Осталась последняя возможность и надежда:

— Эй, сходила бы к Варькиному мужу. У него три лошади. В два бы дня он поставил бы нас на ноги.

— Не пойду. Зятюшко мой ненавидит тебя. Не пойду!

— Напрасно, Марька, ты. Я знал, что ты думаешь на меня, и смешки кругом все слышал. После и зять так понимал. А я все молчал на досаду тебе. Верь не верь Варьке, я не виноват. Не мой у нее дитенок.

И единственный раз Марья грубо ответила мужу:

— Было, прошло, улеглось, так и пусть! Не пойду!

И эта земля ушла в руки Сатаны.

Жили молча, работали больше порознь. В страду пристанет Мишка к какой-нибудь семье, молча идет с ней в поле.

— А, Еж! Ты, видно, у нас хошь робить? Айда, милости просим.

Мишка сердито глядел. Работал он старательно, но о плате и разговоров не было: просто звали пить-есть.

В праздники Мишка и Марья шли тоже порознь в те дома, где работали.

— А, Еж в гости пришел. С праздничком! Спасибо за поздравку. Корми, Оксинья, гостенька.

Мишку не сядят за общий стол. Хозяйка отдельно от гостей подает ему кусок пирога и шаньги. Мишка почти не жует, шаньга — на два куска, пирог — на три. Он обсасывает пальцы, обтирает их о волосы на голове, хорошо знает — ему не добавят, сусла, браги или пива не поднесут, дадут ковш квасу. Мишка боком к иконе бултыхнет рукой — перекрестится, злым взглядом уколует всех, схватит шапку и молча уйдет...



СТАРИНА ОХАНСКАЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Кирку исполнилось семь лет, когда однажды отец запряг лошадь в телегу и повез дедушку Кирилла на Камский перевоз, на работу. Кирко увязался за ними, бежал за телегой. Дедушка погонял лошадь, оборачивался, грозил внуку витнем, но парнишка не отставал, месил глину ножонками.

За воротами деревни дедушка придержал лошадь. Кирко радостно взвизгнул, облаял деда собачонкой, вмиг вскарабкался на телегу и уселся на сене.

Спустились с затажного угора, миновали лог, переехали бродом Очер-реку, стали выезжать на тракт. И тут преградила им дорогу длинная партия серых арестантов, которых вел откуда-то конвой в оханский этап.

Моросил дождь, в воздухе стояла хмарь, и все кругом было серое, под стать одеянию каторжников.

Тронулись шагом вслед за этой партией. Отец свесил ноги с телеги, молчал, ко всему безучастный. Он трезвый такой, пьяный не лучше, как будто неживой. Весь сам в себе. Не обругает, не обласкает, не горюет, не веселится.

Дедушка всматривался вперед: надо как-то обогнать арестантов, проплетешься за ними.

По обе стороны тракта — глубокие, ровные канавы. За канавами крона к кроне стоят корнистые липы. За липами узкая тропа, а за ней тын к тыну соткнулись в ленту, до самого Оханска, усадьбы пяти деревенек.

Вдруг справа из канавы по дорожной слякоти серый человек перекатился на боках прямо под телегу и негромко сказал:

— Завалите меня на телеге сеном да обгоняйте бойчее...

Дедушка и отец, ни слова не говоря, так и сделали.

Лошадь была добрая, дорога ровная, и скоро подвода обогнала партию арестантов. Не сбавляя прыти, пронеслись по Оханску и подкатали к перевозу на Каме.

В то время парома еще не было. Людей перевозили на лодках, обозы — на шитиках. Сейчас на этом берегу не оказалось ни лодки, ни шитика. Вся посудина находилась на той стороне либо в ходу.

Но беглый в них и не нуждался. Он крикнул:

— Спасибо, мужики! Не ухобаке какому-либо подсобили, а засужденному не по правде ходателю о земле.

Дедушка перебил его:

— Да не мешкайся ты, уноси ноги! Спустись водой ниже косы. Там по обе стороны лес, буераки с хлябями, схоронишься...

Беглый вбежал в реку, хмарь с дождем скрыли его.

И только успел он скрыться из глаз, как к перевозу подскакали верхом на лошадях урядник с десятскими. Они заглянули в пустые балаганы перевозчиков, обшарили во-

круг кусты, ямины и, дождавшись шитика, отправились на ту сторону Камы. Но один десятский остался на перевозе дозорщиком.

Отец собрался ехать домой и велел Кирку садиться. А парнишке хотелось остаться с дедушкой на Каме, и он удрал в кусты. Выбежал Кирко оттуда, когда отец уже уехал. Дедушка ожег внука вицей. Внучонок оскалился:

— Гав-гав-гав!

И полез в лодку к деду прокатиться за Каму.

Дозорные десятские сменяли друг друга, проверяли: кто переправляется туда и обратно. Перевозчики не обращали бы на них внимания, да вот беда: десятские без стеснения забирали и поедали мужицкие харчи.

И так протянулось с неделю.

Однажды перевозчики, закончив дневную работу, втащили лодки и шитики на берег, привязали их к ветлам, отужинали и полезли в балаганы на покой. И вдруг все услышали с того берега зычный голос:

— Э-эй, ло-одку-у! Кири-и-лла-а сюды-ы-ы...

Кто так запозднил? Почему именно Кирилла зывает? Нет, это не водяной лешак заманивает, раз крещеное имя называет.

Дедушку Кирилла, старого перевозчика, все знали. А от туда опять:

— Кири-и-лла-а сюды-ы... Э-эй...

Не без досады дедушка Кирил вылез из балагана.

— Человек зовет, видать, знающий нас, надо грести.

Он спихнул лодку в воду. И первым в нее заскочил дозорщик.

— Кто, ну-кося, там такой? Погляжу.

От дождей Кама стала шире. Сиверко бурлил ее, и на берег охали крутые волны. Не долго слышался скрип уключин дедушки. Перевозчики долго не ложились, ждали старика обратно. Не спал и Кирко.

И вот вдолге за полночь со средь реки, пониже перевоза, донесся зов:

— Э-эй, на берегу-у! Ши-и-и... авай-ай...

Все выскочили из балаганов, переговаривались:

— Кто сорал?

— Не старик. Чужая глотка, дозорщикова...

И неохотно стали сдвигать шитик в воду. Неторопко усаживались, думали уж грести, да забулькала вода, показался человек и остановил:

— Не темяшись, робя, ни к чему. Дозорщик там в лодке. Пускай справляется один...

— Дедушко! — обрадовался Кирко, а мужики живо вытянули шитик обратно, ворчали:

— Ложись, робя, на боковую, будто не слышали.

Кирко проснулся уже днем. Один перевозчик сказал ему:

— Дедушка наказал тебе: забрать котомку, наберуху и топтать домой. Его заарестовал тот дозорщик, увел к исправнику.

Трижды отец ходил в Оханск, да все без толку. Только через неделю дедушку попутно бурлаковский мужик привез домой. Его на руках внесли в избу, уложили на скамью, и с нее он больше не встал.

Кирко не отходил от дедушки и слышал, как тот рассказывал отцу, соседу Матюге и другим про спасение им беглого:

— Ну, меня и завили: помог-де государственному преступнику скрыться. Терзали-терзали, а я и сказать ничего не знаю. Бились-бились со мною всякими мерами, только веку и смогли унести, а больше ничего.

У Кирка слезы капали, и он рассердился.

— Пошто, дедушко, не берег себя? Не маленькой ведь! Плюнул бы на того беглого. Никто он нам.

Последний раз в жизни дедушка Кирилл прижал к себе Кирка, а говорил уже все тише и тише:

— Не-ет, внучонок! И ты расти — разбирайся, что к чему. За други своя положи живот свой. А тот беглой, видно, доброй человек, жизнь людям иную хочет. Таких-то вот она, медвежья власть, и жмет, в цепях морит...

Хотел Кирко спросить: какая это такая — медвежья власть, да не успел. Дедушка захрипел, впал в беспмятство.

С этого случая стал Кирко помнить себя, а скоро и узнал, какая такая на свете медвежья власть.

Дедушка лежал в гробу, широкоплечий, густая борода его плотно прилегла к щекам, к подбородку. Лицо, обостренное, посиневшее, все равно было насмешливое и ласковое. В голове у гроба коптила свечка. Пахло сосной. Кирко разговаривал с дедушкой:

— Я увижу беглого, скажу ему: захлестали тебя из-за него. Он их подожжет. Беглой ведь поджигает, слышал я...

Отец схватил его за рукав.

— Не мели! Нельзя и говорить о том. Из головы выкинь. Покорно надо у гроба боушку молиться.

— Пошто ему молиться, раз он дедушку уморил?

Всплеснула руками мать, а отец пристращал:

— Не мели, Кирко! Язык отсохнет — кто мелет так. Гром-моланья разразит того.

Но Кирко твердил свое:

— А дедушко сколь разов мне баял: не бойся, Кирко, ни бога, ни лешака, ни воды, ни огня, ни жива человека. Не верь бабьим сказам, поповым наказам, старостиньим приказам. У баб разговоры куриные, у попов языки длинные, а староста завсегда навалит на нас лишку.

— Беда-то с парнем! В кого он такой уродился? — ахнула мать. А Кирко не задумался:

— Да в дедушку Кирилу! Ты сама говорила не один раз. Видишь, я тоже в горлышко бутылки не гляжу. Кто глядит туда — там и утонет.

Отец вскочил — хотел сыну ума дать, да приехал поп, вошли соседи, началось отпевание.

Перед концом отпевки поп покосился:

— Пошто парнишко стоит оболтусом, не крестится?

И подумать никто не успел — Кирко выпалил:

— Не я деньги беру, а ты. Ну и крестись.

Отец шлепнул Кирка ладонью по лбу и хотел за плечи задвинуть в угол. Но парнишка бросился к гробу, не давал закрыть его крышкой, кричал:

— Не троньте! Пусть так и будет с нами!

Но увезли дедушку и похоронили.

2

Все соседи в Усолье эту семью называли счастливой. И на самом деле: в семье была только одна женская душа, а три — мужские. Надельных полос имелось три — это ли не счастье!

Такие завистливые пересуды дедушка Кирилл называл куриными разговорами. Как он ни бился, а взять в аренду графской земли так и не смог, а с надельных полос хлеба семье хватало, хоть что делай, только до великого поста. Все свободное от полевых работ время он занимался на перевоз, на чугуи в Юге, плел лапти, делал гребни, гнул по-

лозя для саней. Невестка его, Прасковья, Киркина мать, ткала, вязала. Работал и Матвей, отец Кирка, но почти все пропивал.

В первое же воскресенье после похорон дедушки мать уже ничего не стряпала. В избе было уныло.

Скоро матушка с отцом променяли всех овец и корову на зерно. Лошадь надо было сохранить во что бы то ни стало, а то весной не будет тягла вспахать две полосы. Ох, как бы не пришлось кланяться в ноги Сатане либо Чайникову!

Однажды мать вошла в избу расстроенная.

— Нечистые духи! Опять приехали кормленье себе собирать! Ну, что мы им дадим? Хлеба? Остатки доедаем. Капусту? У самих мало осталось. Холста? Не ткала none совсем. Ну, что?

Отец, с хмельной головой, решительно заявил:

— Ни крупинки не давать! Я их отважу, окаянных!

И сел у порога с угрожающим видом. Но, как только Сиволоб ступил через порог, перекрестил его, отец покорно поцеловал руку попа, сказал жене:

— Приложи, Прасковья, молитвенничкам нашим, что есподь послал...

Тогда Кирко крикнул матери, которая тяжелой поступью направилась в клеть:

— Нету там ничего, матушка! Провались они...

— Цыть ты! — Отец замахнулся на сынишку, но тот выскочил из избы. Когда же поп с дьяконом подошли к своему возу, то увидали: яйца в лукошке разбиты глызами.

Кирка изловили в бане. Староста распорядился:

— Чего с угланом в волость брести, порите тут.

Десятские начали стегать парнишку прутьями. Один все же руку сдерживал, страшал больше. Но вот Лучка Вонькой бил, как большого, с продергом. Сатана травил:

— Бей — не жалей! Видать — доброе зелье растет!

Лавочник Захарша каркал:

— Не родятся у свиньи бобрята, все те же поросята. Какой был дед, такой и внучонок. Жги!

Отец, пока искали Кирка, лакнул, стоял безвольный, бормотал:

— А ты учи, бог с тобой, но, ежели в дитенке видишь поросенка, сам свинья.

Поп забыл свой сан, пуше всех ругался:

— Яга его мать! Какую лишнюю мне сотворил!
Не вытерпел и кинулся к палачам сосед Матюга.
— Стой! Излишку изгаляетесь над недоросточком!

Зашумели, наступили и другие мужики и бабы. Матюга нес на руках Кирка в избу, голос дрожал — говорил:

— Ты бы кричал, ревел бы...

— Матушку мне жаль... а яички-то у них — тю-тю...

Кирко обнял за шею Матюгу, говорил бодро:

— Вот дедушко Кирилл был ого-го! Никого не страшился! Это они же его до смерти забили... они... они...

И тогда заплакал.

Несытая зима долго тянется. В избу, в которой печь студеная, не пахнет свежим хлебом и щами, — соседи на посиденки не собираются; а раз не запасено кудели и лыка — руки просты бывают. Кирко с матушкой по вечерам шли к Демахиным. Там бабушка Давыдовна рассказывала:

— Не сразу он, медведушко, такую власть в свои лапы захватил.

Кирко весь насторожился: вспомнил, как дедушка Кирилл перед смертью про медвежью власть помянул.

— Повалился он в деревню ходить. Поначалу было смешно, а после оказалось зло. Совесть у медведя проявилась беда сколь корыстная. Стучит он раз лапой в косяки, ревет:

— Эй, бабы-молодухи да старые старухи! Несите мне с каждого чела по ломтю хлеба с солью!

Уж и посмеялись бабы и старухи:

— Медведушко-батюшко есть захотел! Добро! Пусть ест!

Легко вынесли — на! Прошло немного места, снова медведко явился. Бьет лапами по косякам — избы дрожат.

— Эй, бабы-молодухи да старые старухи! Выносите мне по караваю хлеба да соли по горсти. А не то — косяки выломлю, заморожу вас!

Ахнули все, нечего делать, дали. Понадеялись:

— До весны ему хватит, не сожрет!

Куда там! Медведь скорее того появился, избы трясет.

— Подайте мне по мешку муки, по лукошку соли! Не то — избы раскачу, заморожу!

Голосом заревела деревня, да не отвяжется, вынесли и такую прорву еды.

— Ну, теперь медведище либо объестся, сдохнет, либо уж до лета нос к нам не сунет.

Ан нет! Медведь, шарам не стыдно, на другой же день

снова тут как тут. Да и волка с лисицей привел за собой. Опять за углы избы вздымает, бедой грозит:

— Отдайте мне по два куля муки, по пуду соли, по барану, по бычку да по десятку кур с каждой, велика ли, мала ли, семьи. Не то — всю деревню под гору столкну!

Завыла деревня. На рев прибежали мужики из куреней. Схватили они вилы, косы и топоры. Худо пришлось бы медведю, волку и лисе. Избавились бы люди от зла-беды. Да, на удивление всем, староста с десятскими явились, а за ними — поп с крестом. Староста орет, урядник с десятскими плетями грозят, поп ладаном в нос жадит, водой в глаза крошит.

— У того медведя, бают, помазанье божье есть. И вперед он, что душеньке его потребуется, брать с вас станет. Да вы ему терем срубите, молодцов и молодых в услуженье шлите. Весь двор его наперед чтите, а нас, его верных слуг, отныне тоже кормите.

С той поры сам медведь в деревню не кажется. Прибежит волк — коней, коров угонит, зерно увезет. Лиса появится — масло, кур заберет. С каждым разом все больше и больше им надо. Конца-краю не видно.

У Кирка глаза открылись: так вот она откуда и какая медвежья власть! Медвежья власть — это урядник Антон Петрович Заколоткин, староста Михаил Федорович Косков, поп Сиволоб и десятский Лучка Вонькой. Воньким его люди прозвали за то, что он долгое место терся подметалом и подтиралом в полицейском управлении и нашептывал исправнику на своих однопорядковцев. Теперь Вонькой который год десятским в Усолье и дует в уши уряднику. От него власть знает все, о чем толкуют мужики. Это он и другие такие же ловили того беглого. Поймать — толку не дошло, а дедушку Кирилла забили. Это Вонькой и его, Кирка, порол злее других. И Сатана, и торгаш Захарша, и Харитонша Чайников с ними, с медвежьей властью.

Кипело маленькое сердце Кирка ненавистью. Своим сверстникам в деревне он, как умел, рассказывал про медвежью власть, про убийцев дедушки Кирилла, про своих обидчиков.

С тех пор стал Сатана бояться по деревне ходить. Из-за тынов и сугробов летели в него камни и глыбы. Стонал он и приседал на месте. А из лавки на улицу выбегал торгаш Захарша и выл на всю деревню:

— Раз-зор! Конец свету! Какой кривохвостик в мед дегтю капнул? Кому шары завистью заволокло? Только вскрыл бочонок и фунта не сбыл, побурело, скисло все!

И сахар и пряники ему кто-то чем-то подмочил.

Перед началом пахоты поп Сиволоб с дьяконом служили молебны на пашнях, святили поля, чтобы всевышний ниспослал на них урожай. Всякий понимает — это надежнее и нужнее даже, чем назьмом удобрить земельку. А потому миряне не жалели — угощали попов братой да и вином, заготовленным к весеннему Егорью. Ну, молитвеннички божьи и насобирались — чуть влезли в коробок. Выехав из деревни, оба начали горланить, как вдруг отцу Сиволобу прилетела глыза в лоб. Обернулся он к дьякону.

— Ты, яга твоя мать, пошто дерешься?

Тут и дьякону влепилась глыза в ухо. За все года в нем взмыла злоба на попа.

— Трех кур в сене утаил! Церковное вино один лакаешь, неумная сыть! Я те гриву вытереблю!

Схватились отцы, удрались, увозились и тут же захрапели. Тогда Кирко угнал подводу с попами к лесу, подтянул узду вожжой к одной оглобле и пустил молодую лошадь кружить. Очнулись божьи угоднички ночью, когда опрокинулась долгуша с коробом под обрыв в Тулубаиху.

Лет пять назад мать и отец Кирка жили душа в душу. Но выпал тяжелый год, хлеб не уродился, и Матвей упал духом. Он отчаялся до того, что против воли отца и желания матери нанялся в Перми в дом терпимости вышибалой. Там Матвей стал пьяницей.

После смерти отца он как будто одумался, с немалым усилием воздерживался от вина. Он заготавливал лыко и рога для лаптей и гребней, а в середине зимы ушел в город на заработки. К удивлению матери и Кирка, отец возвратился к севу, и с деньгами.

И вот он переменялся. Кирко, сидя верхом на лошади, боронил, отец шел рядом и говорил:

— Расти, Кирко, скорее. За глотку нужда хватает. Ненавижу я ее, эту землю ненасытную, будь она проклята!

Кирко спросил:

— Пошто, батюшко, ты ее бранишь? Без земли-то размы люди?

— Все равно скоро она уйдет от нас. Да и чего ее жа-

леть-то? Все соки она из нас выжала, — со злобой отвечал отец.

После сева он пошел работать на перевоз и взял Кирка с собой.

— Нечего тебе дома погоду пинать. Обычай к делу.

Но Кирко с другом своим, годовалой собачонкой Куклой, беззаботно носились по берегу Камы.

— Гляди, Куколка, вон батюшко от того берега отвалил, сюда гребет! Айда ему навстречу! — крикнул Кирко и понёсся по бревнам широкого плота. Кукла тявкнула и кинулась за ним. Но вот она тревожно залаяла, будто почуяла беду.

Но было поздно! Дальше бревна оказались тонкими, стали крутиться, тонуть под Кирком. Невозможно было повернуть назад, и поневоле он скакал дальше и кинулся с разбегу в воду.

Вынырнув, увидал: снесло его далеко ниже плота. Тогда он отчаянно закричал:

— Батюшко-о-о!

Кукла взвизгнула и кинулась на помощь другу. Кирко плавать умел и один выбрался бы к плоту или к берегу. Но Кукла, подплыв, ухватила зубами за рубаху, хлебнула, неумелая, воды, пошла ко дну.

Кирко схватил собачонку за шерсть, закинул на плечо, но сам начал грузнуть. Едва он справился, как собачонка соскользнула с плеча и стала опять тонуть. Так они барахтались, теряли силы, держали друг друга и погибли бы наверняка, да подоспела лодка.

Их обоих втянули в нее.

— Дедушко умирал, наказывал: за други своя положи живот свой! — стучал зубами иззябший Кирко, а Кукла лизала его лицо.

Отец здорово рассердился, прогнал их домой.

Весело, вперегонки Кирко и Кукла неслись напрямиком в Усолье. Подбежав к деревне, они выскочили из леса на опушку. И тут Кирко увидел: по дороге шел Лучка Вонькой, опираясь на палку. Кирко присел, слезы у него зарыбились в глазах, гладил прилепшую Куклу и говорил:

— Вон, Куколка, он стегал меня беда больно, а дедушку до смерти забил. Медвежья власть, мирское посмешище, последний человек он. Пошто я не дорос? Я бы ему...

Собачонка выскользнула из-под руки друга, без лая кинулась за Лучкой. Кирко обомлел, не двигался, а она с разбегу подпрыгнула и сцапала Лучку за икру.

Благим голосом извыл Лучка, размахнулся палкой, а Кукла еще подпрыгнула — схватила недруга за пальцы.

Он хлестал собачонку, пока она не растянулась. Кирко опомнился, бросился к ней. На руках с Куклой, у которой из пасти текла кровь, Кирко догнал Лучку.

— Медвежья власть!

Лучка — за ним.

В деревне на крик люди выбегали из дворов на улицу. У своего палисадника сидел Сатана, а у дверей лавки — Захарша. Все слышали, как озорной мальчишка поносил десятилетнего. Едва Лучка скрылся за калиткой своего двора, как Кирко выщелкал стекла в оконницах его избы. Его схватили люди. Кто-то дернул его за волосы, огрел по спине, но остановились.

— Стой, робя! Надо разобраться, с чего он, ребенок, озверел?

— Чего разбираться? Колом по башке разбойника! Сюда не будет! — кричал Сатана.

— А какую это он медвежью власть поминал? Где перенял? Камень ему на шею и в Очер! — орал лавочник.

Лучка ускакал верхом к уряднику. Кирко, как большой, провел эту ночь в каталажке.

Волостной старшина наутро решил:

— Постегали, уши надрали, отец за него стекла вставит и хватит. Сведите его к отцу Сиволобу, пусть еще он поучит да попытается выпросить: от кого парнишка про медвежью власть услышал. Это главное всего.

Поп Сиволоб поставил Кирка перед иконой на колени.

— Крестись, озорной...

Кирко не крестился.

— Повторяй за мной: отче наш, иже еси...

Кирко в тон попу загнул:

— Отче наш — хлеба не дашь, иже еси и наперед не проси.

Поп с трудом сдержал свой гнев — надо было узнать про медвежью власть. Но он не мог говорить добром, шипел как гусь:

— У кого ты слыхал про какую такую медвежью власть? Кто сказывал тебе про нее?

Кирко молчал, а поп уговаривал:

— Говори, не бойся, господь простит тебя. Мужик али баба баяли, ну-ну...

Кирко схохотнул:

— Баба!

Поп так и встрепенулся.

— Которая? Где! Ну-ну-ну?

— Улита Вестница. Дивуйся на себя! Медвежья власть это ты, поп, и есть!

Отец Сиволоб озверел. Схватил парнишку за волосы, а у самого космы свесились, и Кирко ухватился за них. Поп взвыл, разжал на миг персты, а озорника и след простыл.

3

С завистью Кирко смотрел осенью, как богатые сверстники с грифельными досками и с азбукой побежали в школу. Школа была одна на всю волость в Острожке, и все туда попасть не могли. Но в Горюхалихе учил читать, писать и счету до сотни Яшка Черный. Брал он за обучение полтину в месяц.

— Матушка, посади меня к Яшке. Учиться я стану, — просил Кирко.

— Я, сынушко, денег не зарабатываю. Просись у отца, — отвечала мать.

— А мне где их добыть? На дороге деньги не валяются, — отказывал отец, который опять чуть не каждый день был пьяным.

— Кажинная бутылка вина стоит сорок шесть копеек. Вот они где, денежки-то! — утирала слезы мать. Но отец был против ученья и выдумывал к отказу всякие причины.

— Яшка со староверами якшается. Книги у него — черные, грешно по ним учиться.

— Как же дедушко покойный сколь разов мне говорил: ученье — свет, в руках ученого все родится, — не отставал Кирко.

Отец доводов, кроме кулачных, более не находил. На помощь ему отзывалась бабка Васиха, приводила убедительный пример вреда от ученья:

— Умерли двое. Один был неграмотный, другой научился читать-писать. На том свету ангел небесной у них спрашивает: зачем-де один свихнулся — грамоте обучился, а

другой с пресветлым ликом, бесхитростной стоит. Грамотный отвечает: я думал на свете лучше жить. А неграмотный ба-ет: я не учился — на господа-бога уповал. Ты учился, решил ангел небесной, гордыню являл, самомнение возвышал, хотел умнее бога стать — ступай налево, к нечистому. Ну, а ты раз в бога верил, грамоте не прилегал — ступай направо, к престолу светлему. Вот оно как! — Васиха с торжеством подняла палец, а Кирко, как большой, всплеснул руками.

— Так они, баушка, на небе-то сами неграмотные, видно? Такие же, как и ты, — дикие. Значит, на том свете грамотного попа Сиволоба с его дьяконом, старосту, всю медвежью власть — фью! К лешакам? Таковские были!

Васиха в ярости колотила кулаком о кулак.

— Ну и чадышко! Я бы тебя семь разов в день била да одинова кормила!

Кирко покачал головой.

— Мы не чаще едим.

Отец строго прекратил спор:

— Думай лучше доброе: где бы работу раздобыть да нас с матерью кормить. Большой стаешь. Я в твои годы хлеб добывал. А ты?

Кирко задорно крикнул:

— А что я? Рази какой утлой? Держись, как стану робить! Кажинной праздничек матушке доведется шанежки пекчи!

Но тут же у него больно сжалось сердце, вдруг холодно ему стало в родной избе: впервые он взглянул на все как бы со стороны. Матушка, оперевшись подбородком на ладонь, печально глядела в окно на пустую осеннюю улицу. Отец, тоже скорбно согнувшись, сидел на голбце. А когда был жив дедушка — все велось не так: все заботились, суетились, не хватало времени повернуть всей работы... Кирко вздохнул так глубоко, как в его годы, при доброй жизни, не вздыхается. Достал он с полатей, с печи одежду, стал одеваться. Навернул на ноги толстые опучи, одел хорошие лапти, синий стеганный кафтан, опоясался белым запонем, заткнул за пазуху рукавицы и нахлобучил валяную шляпу, которую носил еще дедушка. Взглянув на мать, Кирко взялся за скобу и, как совсем большой, толкнул дверь в свои колени.

— Куда, сынушко? — мать обернулась.

— На работу. Чего сидеть-то? Сидень — не кормит.

— На какую? Где?

— Видно будет — где. Живой — найдет.

— Да обидят тебя и обманут, сынушко, маленького...

— Меня-то? Кто обидит меня да обманет — трех дней на свете не проживет! — заносчиво, большим голосом ответил Кирко и затворил за собой дверь.

Он прошел по улице два дома и зашел к соседу Матюге, к тому добродушному мужику, который не дал его когда-то застегать вицами до смерти.

До сей поры Кирко не имел привычки креститься на иконы. Но ведь теперь он большой, ищет работу, надо быть степенным. И впервые он перекрестился.

Матюгина семья паужинала. Все закатились хохотом, когда Кирко усердно склонился головенкой в поклоне.

— Ай да угодничек богов, мать честная!

А Кирко, не мигнув, как положено, приветил:

— Здорово, соседюшки приятные. — Сел на порог, растирая руки, будто они заоченели от стужи, начал разговор, по-большому, издали: — Раненько поне холода зачались: не помню за всю жизнь экого чудышка. Ладно у кого сено завезено — скотина с кормом. А то без снегу-то дороги долго не умнутя. Да и озимь кабы не вымерзла. Наказанье-то народу опять! Добро Чайникову и Сатане — жрут! Запасено им все чужим горбом.

Больше никто не мог есть, животы насадили от смеха.

— Перестань, ради бога! Уморил! — взмолилась хозяйка.

— А я к тебе, Матвей Власович, в ножки поклониться пришел.

Смех у всех как ладонью смахнуло: уж слишком Кирко это серьезно произнес.

— Возьми ты, Матвей Власович, меня с собой в город, на работу.

Не кланчил он, а серьезно предложил себя. И, видя, что Матюга замешкался ответом, продолжал:

— Сам видишь, каково мое положеньеице: матушка отродясь на стороне не рабливала, а батюшко... — Кирко замаялся — нельзя же осуждать родителя, — из годов выходит тоже. Ну и надо мне самому обо всем заботиться.

— Начинать так начинать, — сказал Матюга. — Айда со мной в Юговской завод. Там осенью всегда спешка: разгружают чугуи, боятся баржи заморозить и народ берут. Говори, что тебе двенадцать годов, может быть, коногоном и примут.

Десятник только ухмыльнулся, когда Кирко заявил ему:
— Двенадцать мне. Скоро будет больше.

Рабочие злились на таких коноголов. Они кричали Кирку:

— Сам грузи чугун в телегу!

— Сам сгружай его с телеги!

Но Матюга заранее предупредил:

— Не робей! Не вздумай реветь. Огрызайся либо подхихатывай.

А Кирко и не робел, хватался за чугунную болванку, пробовал поднять, шлепался рядом.

— Брось, углан, надсадишься! Тебе это и не велено, — отгоняли его те же рабочие. На складе Кирко влезал на телегу, пыжился сбрасывать чугун.

— Брось, угланишко! С земли нам тяжелее брать.

Что же делать? Невзлюбят его! Скажут — лодырь, и выживут! И Кирко стал смешить рабочих, горланил бесшабашные наговорки. Кругом хохотали, подзадоривали его.

Так протянулась неделя. Стали выдавать заработок. Никто не рассказывал Кирку, что кассир удерживает из заработков для себя и для десятника «смазку» на водку. Все давно привыкли, смирились с этим и в разговорах не упоминали.

Кассир смеялся:

— Ай да молодец! Маленький мизгиренок, а два рубля заработил! Вот, на твои денежки...

И выложил Кирку — рубль восемь гривен. Кирко от радости весь вспотел, но монеты пересчитал.

— Стой, дяденька! Еще двадцать копеек давай...

— Какие, мизгиренок? — уже сердито переспросил кассир.

— А вот такие же. Давай-давай! Я те не маленькой, обманывать меня! Такой у нас торгош Захарко. Тоже любит копеечки утаивать. Мы ему за это крысу в постелю привязали, так он визжал, что поросенок под ножом. Можно будет и тебя так-то уважить.

Поднялся хохот, а кто-то крикнул:

— С робят-то, господин кассир, можно бы не драть!

Кассир выкинул двугривенный, но на другое же утро десятник прогнал Кирка с работы. Привел причину:

— Мал больно, совредишься. Убирайся отсель!

Матюга не похвалил Кирка.

— Дурак! Из-за пустяка работы лишился!

Кирко с досады скреб в затылке.

— Век живи — век учись! Знал бы я, от себя бы добавил пятак. Задави его лешак!

Матюга взял Кирка с собой в город. Кирко не бывал еще в Перми и из коробка на санях с любопытством оглядывался вокруг. Вдруг он закричал:

— Стой! Стой! Смотри — медведь!

Матюга остановил лошадь. Над дверями большого здания школы висел золоченый медведь. На спине медведя был щит, а на щите царская корона с развевающимися лентами.

— Пошто тут медведь-то, Матвей Власович?

— Не знаю, Кирко, чего и подумать, — развел руками Матюга, а Кирко, пораженный, воскликнул: — И в городе — медвежья власть! Видно, медведь и здесь обирает всех.

— Айда поехали, Кирко, чего зря рассусоливать. Пускай живут как хотят, лишь бы нашу деревню не задевали, — сказал Матюга и стегнул лошадь.

На фабрике скопилось много снега. Матюгу сразу наняли на очистку двора, но Кирка не приняли. Матюга расстроился от неудачи, но и подумал так: «Все-таки с ним я больше вывезу снега и не стану прогонять парнишку домой, уделю ему малость из своего заработка. Услышит матушка божья мать мою молитву — хлопыснет снежку потолще».

И успокоился было, но вдруг увидал, что со двора завода Алафузова вывозит снег кто-то другой.

К нему подошел знакомый привратник фабрики Хрисанф и засмеялся:

— Что? Урвали работку из-под носу? Обидно это. А хочешь — я уберу этого мужика? По-приятельски — разок плюнуть.

— Да как же это ты? — удивился Матюга. А Хрисанф подставил ладонь.

— Гони на бутылку. Половина будет ему, другая, по правде святой, мне. Не жалей.

Дело было стоящее, и Матюга отсчитал деньги.

На другой день Хрисанф встретил Матюгу весело.

— Ну, вот и нету того мужичонка! Занимай свое место. Матюга полюбопытствовал:

— Да неужто он за полбутылку отступился от места?

— Держи карман! Кто-то в наше время легко работу уступит! — Хрисанф хитро подмигнул. — Я его только парой шкаликов раззадорил, он и поше-ел сам! Тут же, у винной лавки, налкался досыта. На Каме он еще справился, опрокинул короб со снегом, но и сам за ним сунулся, уснул в сугробе. Обе руки отморозил, отрежут их.

— Матерь заступница! — простонал Матюга. — Басурман я! Чего вытворил?!

— Пусть не отбирает чужой кусок хлеба, — равнодушно произнес Хрисанф. А Матюга мучился:

— От моей зависти человек-от сгиб! Рученьки ему...

Горюй не горюй, проклинай себя или кого другого, но работать надо. И на другой день с утра Матюга и Кирко приехали на двор кожевенного завода.

Дворовый взял на подсобу и Кирка. Оба сразу схватились за лопаты, принялись за самый большой сугроб снега, но подошел к ним какой-то человек и сказал:

— В первую очередь уберите вон ту кучу от двери. Мешает она. — И сунул Матюге полтинник, а сам ушел.

— Вот так здорово! Дай, боже, почаще! — игриво усмехнулся Матюга, а Кирко веселехонько подвернул сани с коромком к указанной куче снега. Но едва они ковырнули, как лопата Матюги наткнулась на что-то: разрыли снег попуше и увидели тук толстой кожи.

— Ворованная! Вот-те и полтина, будь она проклята! — Вспотел весь Матюга и сразу решил: — Завали его снегом, пусть лежит, а мы ничего не знаем.

Снова они подвернули сани к первому сугробу и закидали уж половину короба, как дворовой позвал Матюгу к себе в будку. Он не сразу завел разговор, писал что-то, часто поглядывая в оконце на двор. Потом стал задавать очень важные вопросы:

— Долго ли ты намерен у нас работать?

— Да сколь снегу будет, — ответил Матюга. Дворовой думал, думал, выглядывая в окно, и еще спросил:

— Справишься ли? Али еще кого нанять?

Матюга обеспокоился и в этот момент забыл рассказать про тук кожи, на который они натолкнулись в сугробе. Он так боялся потерять работу, что горячо стал просить:

— Справимся! Пожалуйста, никого не наймуй. Благодарны будем, не заботься!

— Гляди, не забудь про благодарность! — ухмыляясь,

погрозил пальцем дворовый и, еще раз выглянув в оконце, отпустил Матюгу.

Только Матюга и Кирко опрокинули на свалке с саней короб со снегом, как к ним подъехал на извозчике человек, который раньше дал полтину. Он протянул Матюге кредитку — пять рублей.

— Вот и вся недолга! В благодарность получи.

Матюга выхватил полтину из кармана.

— Подь ты к чемору с деньгами! Мы, деревенские, не привыкли так-то! Тюк мы оставили там.

— Не говори-ко напрасно, вот он, — усмехнулся тот человек, а извозчик уже нес тюк к саням.

Кинул тот человек и пятерку и полтину к ногам Матюги, вскочил в санки и уехал.

Матюга за голову схватился.

— Вот так мне отливается горе того мужичка, которого я сгубил полбутылкой водки! Немедля погоним в полицию и все обскажем!

И тут Кирко решительно заявил:

— Пусть лучше сам лешак нас в прорубь утянет, а к медвежьей власти я тебя не пушу!

— И то! И то! Подальше от них, — согласился Матюга и обрадовался. — Я эти паршивые деньги отдам попу на храм господний! Ну их к лешакам, а душа облегчится.

— Ой нет! Пусть лучше яга кожу с нас сдерет! — опять запротестовал Кирко.

— Тогда станем робить и помалкивать. Бог покроет наши невольные проступки, если дадим ему клятву и сдержим ее. Купим весной на эти деньги зерна, посеем, а после столь же его раздадим бедноте.

— Умной тебя попушко крестил, Матвей Власович! И комарик носу не подточит, и сам боушко подавится! — похвалил Кирко.

А Матюга учил:

— Тебе, Кирко, жить на свете, гляди, какая наука: не хочешь — станешь вором, отстоял свою работу — другого сгубил. И нет тебе никакой отдушины в жизни! Идти с жалобой не к кому, власть противу тебя же оборачивается. А бога как раз в том месте, где бы он нужен, не оказывается. Один леший около, соблазняет. Что делать? Как жить?

На это Кирко ответил:

— Не знаю, Матвей Власович, чем тебя утешить. А только помню, что дедушко Кирилл перед смертью говорил:

легкие, печенка, селезенка не отбиты, все равно на свете жить можно. И мы станем жить-поживать да добра наживать!

Снова они грузили снег в короб и опять дворовый кликнул Матюгу к себе в будку, подал ему десятку и сказал:

— Вот, оставил тебе один человек.

— Провались они... Бери и эти... — Матюга выхватил пятерку и полтину, положил на стол перед дворовым.

— Так вот такая твоя благодарность! Скоро забыл! — усмехнулся дворовый. А Матюга разгорячился:

— Не привык я. Не согласен я так!

— И заявлять-то тебе нельзя, старый ты ворина! — воскликнул дворовый. — Не первую зиму помогаешь. Не брезгуй деньгами, бери. Не крадем, а добавку к жалованью берем.

— Все равно неладно так-то!

Матюга выскочил из будки, оставив все деньги на столе.

— Новые хозяева тут объявились, хуже старых. Экая неудача! Либо воры нам отомстят, либо за того мужика, который рук лишился, доброго нам не будет. Айда домой, Кирко, — говорил Матюга, когда они уже опростали короб от снега.

— Мне домой никак нельзя. К весне надо семена купить. Матушка в надежде на меня, и я ее не обману, — решительно заявил Кирко.

— Куды же ты приткнешься, небывалой? Да и ночь скоро, — встревожился Матюга. А Кирко уже шагнул прочь и кричал на ходу:

— Не пропаду!

Кирко шел по широкой улице и загляделся на большие дома, на высокие колокольни; потом спохватился: нечего зря глаза пилить, надо работу искать.

Оглядев особняк в пять окон, парадную дверь, Кирко пролез во двор. Огромная собака кинулась на него, но не дотянулась — была на цепи. Кирко всегда невиданно скоро заводил дружбу со всякими собаками, не дрогнул и сейчас, подошел, стал гладить и говорить:

— Куколка милая, не злись-ко на меня. Не поп со сбором прикатил. Тебе хлебушко кинут, а мне ведь никто. Но-но, будь с понятием.

Дверь из сеней приоткрылась, выглянула женщина и неласково спросила:

— Чего надо? Зачем во двор забрался, угланишко?

Кирко в тон ей ответил:

— Экая баба сердитая! А ты бы добром узнала сперва, кто я такой. Вон Куколка и та обходительнее обляяла. Похожа ты на Софронию у нас в Усолье, которая тоже не попоит-не покормит, а всяко обзовет. Свой даже мужик не рад ей, кулаки бил о нее. Неймется ей: идет куда — ругается, стоит — ругается, за столом редьку хлебает — ругается, на икону крестится — и то ругается. И смерть не берет таких, а добрые мрут. А ты бы уважила сперва, поздорова-лась, не кажинный день видишь меня.

— Ну и кто же ты такой будешь? — уже смеясь, перебила женщина.

— Я-то? Я оханский, ровно не видишь. Работы ищу. Где лопата? Вон сколь снега у вас. Мигом очишу!

— Насчет работы спрошу барина. А ты зайди в квартиру, обогрейся. Земляк ты мне, я — осинская.

В передней и на кухне все было покрашено — ноги в лаптях скользили. Блестела медная посуда, стол был накрыт клеенкой, из печи несло густым запахом еды.

— Садись, — пригласила женщина, а Кирко от блеска и чистоты оробел, не мог двинуться из передней.

— А Осиновку вашу я знаю, — подавляя робость, заговорил он.

— Да не из деревни я, а из города Осы, — поправила его женщина. А Кирко уперся:

— Не ври! Какой это город — меньше нашего Усолья. Бабы там — невиданные грязнухи и девки растут такие же. Задави меня лешак, а я туда свататься не сунусь! Да и мужики неслыханно собашливые.

Женщина, заломив голову, смеялась, а Кирко осведомился:

— А сколь же хозяин-то за работу мне положит?

— Не бойся, миленький, барин добрый. По справедливости.

Но Кирко усомнился:

— Справедливость, она жиденькой бывает, а вот лукавство всегда густое: на спинах испытано. А ты что же, бабонька, одна-бедна головушка, без мужичка горюшко мыкаешь? Али на ходу с кем знаешься?

От такого деликатного вопроса женщина только руками развела.

— Как видишь — одна головушка моя.

И Кирко выразил полное сочувствие.

— Оно тоже жизнь кому-то ковшом, а кому-то и черепом издастся. У нас одна жимулилась-жимулилась да так в девках и засохла.

Проохотавшись, женщина спохватилась:

— Пойду к барину. Примет нет он тебя — не знаю, а ты тут жди, я тебя покормлю.

Кирко разомлел от тепла, усталости, зевнул, присел на пол в углу и уснул ребячьим крепким сном.

Поздновато проснулся он на другое утро. Женщина смеялась:

— Ну и тюрил ты, работничек! Не слышал, как я тебя на подстилку перевалила, подушку подсунула.

Кирко бурчал:

— Руки просты, вот и возишься. Спрашивали!

— Ну, не груби. Умывайся, ешь давай, да барин велел тебе снег со двора на улицу вывозить, тротуары чистить.

От радости Кирко закричал:

— Сердцем чуял, без меня вам пропасть! Куды вы годитесь? А как же, бабонька милая, звать-то мне тебя?

— Тетя Фрося. А тебя-то как зовут-величают, молодец?

Кирко доедал вторую тарелку, а что это было — не разобрал. Но так вкусно и сытно он не ел с тех пор, как умер дедушка Кирилл.

— Зовут-то? Меня-то? Видишь ли, тетя Фрося, какое оно дело-то: батюшка моего Матвеем зовут, а дедушко — Кирилл был. У него отец — Матвеем же звался, а у того опять же Кирилл был. И, когда я женюсь, первого сына придется Матвеем крестить. Выходит, я — Кирко.

Старый барин на дворе не показывался, а одинокая тетя Фрося привязалась к Кирку всем сердцем, берегла его.

Он старался изо всех сил, и ему казалось — делал он немало. Но снегу не убывало, а подваливало. Сколько мог подросток сколоть льда с тротуаров? Вывалит он санки со снегом и забудется, присядет тут же. Спыхватится и снова начнет колунаться.

Только весеннее солнышко помогло Кирку одолеть снег и лед. Подчистив в последний раз двор, он заявил:

— Ну, теперь я тут лишний рот. Да скоро и пахать.

Только потом Кирко понял, как ему повезло в первую зиму, в какие добрые руки он попал! Замерз бы в лаптишках, да тетя Фрося дала ему старые валенки. Она сохранила его

деньги, кормила-поила. Посоветовала она, чего купить матери в подарок, увязала ему котомку, а провожая на пристань, поплакала.

5

— Здорово, семейственники! — гаркнул Кирко, когда ступил в избу. Так возвращался с работы дедушка Кирилл. Матушка с радостными слезами бросилась к сыну.

— И где ты, милой сынушко? Ровно в воду канул!

Даже отец взволновался:

— Каково-то тебе, где жилось?

— Не больно нас, в синеньких-то кафтанчиках, любят везде! Да я рази пропаду? Как сыр в масле катался! — хвастал Кирко, стягивая с плеч котомку и новые сапоги. С пристани он шатал босиком, чтобы не тереть их зря. Торопливо доставал подарки.

— На-кося, матушка, носи на здоровье, — Кирко подал матери ситцу на кофту.

— На-кося, батюшко, и ты носи, да и покуривай всласть. — Он подал отцу сарпинки на рубаху и пяток пачек папирос «Тары-Бары».

Отец с матерью растрогались.

— Вдувай-ко, матушка, самовар, давно чайку не пивал, в глотке пересохло.

И Кирко торжественно выложил на стол цибик чаю, фунт сахару, связку сушек, воблу. Усевшись на стол, положив ногу на ногу, подражая дедушке Кириллу, он неторопливо барабанил пальцами по столешнице, заботливо спрашивал:

— Как, батюшко, кобыла-то? Когда пахать-то собираешься?

— Ох, Кирко, не бай! На одном сене она подтощала, но две-то полосы осилила бы. Да ведь семян-то сеять-то не-ету-у. Думаю: кому пасть в ноги — Сатане или Чайникову, или еще кому, сдать уж землю исполу, — сокрушался отец.

Кирко стрелой выскочил из-за стола, выдернул из-под подкладки кафтанишка узелок и стукнул на стол.

— А это рази баран счихнул?

Отец с матерью в четыре руки распутали узелок.

— Девять целковых! Так ведь мы спаслись от зубов Сатаны! Правда, весной рожь дорогая, но посеять — достанет!

Кирко не забывал досаждать своим недругам. Ночью под окнами у Чайниковых он с дружками завел такой кошачий концерт с прысканьем и фырканьем, что хозяева выскочили на улицу с ухватами, кочергами перебить тех кошек.

— Да ведь это Кирко заявился! Ах ты, городской варначище!

А он убегал к другой избе, мычал там телянком. Поднималась тревога:

— Фиска-тетеря, ты телянка в стаю не затворила? Базланит без матери!

Спешат за ворота, а в темноте мельтешит белая головенка.

— Пропади ты, кривохвостик очерский! Чтобы тебе нырнуть да не вынырнуть!

У лавочника Захарши пропали с прилавка мелкие гирьки. По обычаю перед пахотой поп Сиволоб стал с молебствием обходить поля, а везде на деревянных крестиках вместо иконок оказались повешенные крысы и мыши.

Только перед избой Лучки Вонького Кирко не знал, что придумать. Надо бы такое, чтобы шары его от ужаса на лоб полезли, взвыл бы он — за дедушку Кирилла, за Куколку, за Киркины ссадины на спине — недобрым бы голосом.

— Обожди, Лучка!

6

После сева Кирко заторопился в город. Но когда он сошел с парохода, то не знал, куда идти, город был ему совсем незнаком. Нельзя же явиться к тете Фросе, снегу-то нет, а так стыдно. Зачем, спросит она, ты притопал?

И Кирко пошел прямо, вверх по улице. Дошел он до большого красивого сада, в котором шла весенняя очистка. Спросив, Кирко нашел старшего.

— Мети давай. Сгребай мусор в кучи.

Но работы этой хватило только на три дня. Ночи были холодные, а спать он забирался в сарай, где складывались тачки и лопаты. Кирко измучился и побежал к тете Фросе.

Там были чужие люди: барин умер, а тетя Фрося уехала неизвестно куда.

Вот когда Кирко почувствовал, какого он друга потерял, — глаза зарезало, сиротливо стало.

Но надо шагать куда-то. Перешел он мостик через грязную речушку, очутился в предместье, которое называлось Аул, и заглянул в первую же калитку у полустгнившей избенки.

На него кинулась кудлатая дворняжка.

— Куколка, милая, не лай, ради бога, без того измаялся, хуже собаки!

И она стала лизать ему руки. Посреди двора сидел старик в рваной жилетке, в соломенной шляпе, истрепанной в клочья, перебирал какие-то тряпки.

— Здорово живешь, дедушко!

— Здорово, шалыган, если не врешь. Садись, где стоишь. Чего на свете творится? Давно я со двора не выходил, ноги не ступают, — ответил старик невесело.

— Не знаешь ли работы какой, дедушко? Могу я хоть что.

— Вот я это добро собираю по городу, на горбу приношу, разбираю, ну и хлеб мне.

— Во-он что! А мне и в ум не пало.

— То-то! Завтра возьми мешок да сам опробуй, обойди дворы. Все помойные ямы обшарь. Принесешь — переберу, вот тебе и хлеб. Долго я сижу, а там, поди, накопилось всякого добра.

Из избушки выбежали мальчик и девочка, разревелись:

— Хлебушка-а...

— Вот она, кара-то мне божья! Где она, смерть-то, мне либо им? — воскликнул старик и стал рассказывать Кирку: — Внуочки кровные. Сына-то, пьяного, тут запластнули ножом. Невестка-то ушатила куда-то. На меня кинуты робенки с руками-ногами. В речке их, не щенята, не утопишь, а прожорливые растут. Моя они кровь. Ревут, а я не роблю, и нечем им глотки заткнуть. Порвалась жизнь, как робить не стал... — Плечи его жалко задержались, да вдруг он вскипел на ребятишек: — Марш в избу, башки вам оторву!

— Стой, робя! — крикнул Кирко. — Да рази мы не люди? Рази мы пропадем? Айда живо, орава, ко мне!

Он скинул с плеч котомку. Там была еще черствая краюха хлеба, взятая из дому. Берег Кирко ее себе на завтра и на послезавтра.

Разломил он краюху на четыре части, заговорил:

— Ешь, робя! Хлеба я ноне посеял опять — лешак возьми, слава богу! А на руках у меня всего-то — матушка, отца нечего считать, сам прирабатывает покамест. В ус не дую, пра-ей-бо!

Старик ел, подставляя ладонь, чтобы не пропала и крошка, журил:

— Не хвастай давай! Вижу — врешь! Хлеб насеял, а работу ищешь. Шантрапа такая же, а задаешься много. Видать, последнее отдал, а сам-то как же ты? Жизнь — худая, надо поскупнее быть...

Кирко перебил:

— И не бай! Хитрая она, жизнь, посмотрелся я за свои годы на нее. У нас, в Шольге, мужику Науму прозвище дали — Простодырой, все готов людям отдать. Бабу же его, Мавру, Скупердяйкой обзывают. Она, наоборот, от людей бы все утинула. А получается у них — серединка на половине: Простодырому нечего раздавать, а Скупердяйке не над чем скопидомничать. Зря оба своим поведением заслужили себе худые прозвища. Ни к чему оно все такое. Ровненько надо: не жадничать и не простодырничать.

Кирко кинул свой кусок хлеба собачонке, которая вилась перед ним.

— Дурак! — вскрикнул старик, забыл про боль в ногах, догнал собачонку, отнял у нее кусок, отер его полой жилетки и засунул в карман.

Кирко от стыда хлопал глазами, а старик горько ухмыльнулся:

— Выходит, ты — Простодырой, а я, как та самая Скупердяйка. Сколь уж времени его, хлеба-то, батюшка, сам я не видал, а робят-то... изморил... совсем... — У него опять плечи затряслись, махнул: — Ступай в дом, в тепло.

Но Кирко зарылся под крышей в тряпье, обнял за шею собачонку и сразу уснул.

Кирко старательно осматривал помойки и свалки, но с непривычки не знал цены многим брошенным сюда вещам. Попался ботинок — и лешак его знает, подбирать или пнуть. Рукомойник нашелся — не то его браковать, не то облюбовать, а он ржавый насквозь да вонючий, как святая

афонская водица в ушате бабки Васиши для лечения болящих.

— Эй, ребята, сюда, сюда! Смотрите, какой смешной мужичок с ноготок в синеньком кафтанчике!

Его окружили городские ребяташки, смеялись, передразнивали, дергали за мешок и сбили шляпу. Он съездил двум-трем по чему попало, съездили и ему по носу, по уху. Но вот сбежалась их целая толпа, и Кирко кинулся в бег. Мешок был тяжел — бросить жалко, и он шмыгнул в какую-то калитку.

К вечеру Кирко умаялся — еле ступал, а проголодался до того, что при виде хлеба в лавочках — слюни текли. Но он упорно не хотел тратить на еду хоть одну копейку, надеялся, что старик сколько-нибудь подкинет ему за труды.

А старик половину казалось бы ладных штук забраковал и заставил Кирка же вынести их со двора, кинуть в речку.

— Чтобы тебе лопнуть, старая оборина! Чтобы тебя ржа изъела, как этот рукомойничек! — бранился Кирко.

— Калоши и иные обутки надо брать всякие, изъяну не будет. Стекло — только без масляных пятен. Любую штуквину надо скребчи ногтем и оглаживать десять раз. Не бойся запахов и грязи. С погани не треснешь, не умрешь, а толще станешь, — учил старик, рассортировывал подходящие вещи, а платить Кирку, видимо, не собирался.

Кирко ждал и томился, мальчик с девочкой жались к нему, собачонка скулила и лизала его руки. Парнишка знал, чего они ждут.

— Эх, захребетнички, навязало вас на мою шею! — сказал он с великой досадой и пошел со двора. Купил полкаравая ржаного хлеба и прикинул: — Одному бы на три дня — сытехонек! — Отломил он кромку и бросил собачонке. — Ешь, бессовестная! Дома старик не даст тебе ни крошки. Утянул бы тебя кривохвостик под мост — не маялась бы.

Дети ели хлеб и смотрели на Кирка так, как дети смотрят на того, кто им хлеб дает. Он почувствовал себя кормильцем. Но тут старик стал громко молиться:

— Господи, благодарю тя, невидимо насытил еси днесь мя! Так и птицы небесные не сеют, не жнут и зерно не собирают в житницы, а питает их благодать твоя!

— Правду говаривал дедушко Кирилл: кто низкопоклонно молится — самый окаянный вражина на свете! Когда он

тебя, ну-кось, господь-то, накормил хоть редькой либо квасом напоил? — кричал Кирко. — Я целый пятак извел на хлеб!

— Поел, вот и чую себя как у Христа за пазухой, — потирая живот, сказал старик. А Кирко зло сдохотнул:

— Знающие люди баяли: у Христа твоего в пазухе беда как мало места, а барахольщиков туда уже набралось черт-что. Поместят тебя куда-либо, в штаны к нему.

— Ах ты, богохульник! Еретик! — Старик одной рукой ухватил Кирка за волосы, пригнул, другой стал хлестать. Но сам же сразу задохнулся и, чтобы не свалиться с ног, держался за Кирка же.

— Не петушись-ко, раз измызгался весь! Не бери пример с нашего попа Сиволоба. У него все мужики — еретики и грешники, он только один на всю волость святой. Проклинает он тех наследников ада, а как жрать захочет — идет к ним же за хлебом, за капустой, за редькой, ничем не брезгует. — Кирко усадил старика на место.

На другой день у Кирка браку не оказалось, даже самоварная камфорка попалась. Он радовался — хвалит хозяин и сейчас рассчитается. Но старик опять занялся своими делами.

«Да будь же ты проклят! Хлобыстни ты паралик! Хуже ты Сатаны!» — ругался мысленно Кирко. Мальчик, девочка и Кукла встретили его еще за речкой, заглядывали ему в глаза, и свое брюхо урчало. Вздыхнул Кирко и проел с компанией еще пятак.

На третий день в помойках ничего уже не попадалось, но Кирко, увлекшись, шел все дальше и дальше в город. И вот оно! На одном дворе — набил полный мешок тряпьем.

Но только он повернул домой, как его схватили за руки татарин и еврей, и оба орал:

— Стой! Вор! Жулик! Собака!

— Зачем в чужой район забрел?

— Чего молчишь? Башка ломать будем!

Оглушили они Кирка вопросами и угрозами. Он не знал, что и отвечать. Татарин вытащил перочинный ножик, засучил рукава, зубами скрежетнул.

— Которой ухо начинать? Где живешь?

Кирко здорово струсил, заговорил:

— У старика. Там, под горой, за речушкой... в первой избе...

Они выхватили у Кирка мешок и, вырывая товары друг у друга, перекидали все добро в свои кули.

— Вечером придем, знаем старика, проверим!

— Если врешь — везде найдем! Из земли достанем!

— Залог давай!

Еврей сдернул шляпу с Киркиной головы, засунул в свой мешок, быстро пошел. Кирко кинулся за ним, но татарин поймал, повалил его, стал бить по шее, приговаривая:

— Не ходи! Не воруй! Свой хлеб ешь!

Мимо шло немало людей, но напрасно Кирко кричал, никто за него не заступился, а смеялись:

— Шурум-бурумщики барахло не поделили!

До смерти было жаль дедушкину память — шляпу. Вернулся Кирко к старику и рассказал все.

— Правильно поступили они. И по закону, и по совести. Я забыл тебе объяснить — мой район, тряпичника Заякина, а вот я Заякин самый и есть, от проулка Ермаковского до вокзала. Тут я — хозяин и все добро мое лежит. Направо — район татарина Габидуллина, это он тебе мялку и дал. Дальше владеет полностью еврей Файвисович, который твою шляпу и прихватил. Видишь, весь город разбит по закону: у каждой церкви свой приход, другие попы, хоть умри, туда и носу не сунут. У пристава тоже своя часть. У золотаря — своя же. И в мой район никто не кажись — зашибу, суда не будет, по справедливости. А шляпу — принесут. Честнее нашего брата людей на свете нет: воров на дворы пускать не станут.

Так и есть! Открылась калитка, и вошли в двор те самые еврей и татарин.

— А-а, смотри — хороший углан, не врал! Не сердись, моя не вся сила тебя хлестал! — крикнул татарин.

— На твою шляпу, а кости твои в целости. — Еврей добродушно накинул шляпу на Киркину голову.

— Ошибочка, господа хорошие! Я забыл, а он — новичок в сурьезном деле. Больше он не забредет, — извинился Заякин. А Кирко твердо заявил:

— Нет уж! Спасибочки на приятном угощении — наподавали досыта! Милости просим в Усолье шанежки есть. Угощу чем ворота запирают! Сгори они, ваши тряпочки, косточки, да и вы вместе с ними! Давай расчет! — запальчиво кричал Кирко, натянул глубже шляпу, закинул пустую котомку за плечо.

— Расче-ет? Я тебя не нанимал, — развел руками Заякин. — Да ладно. Ты ведь старался. — Старик сунул пальцы в карман жилетки и подал два пятака.

— За три-то дня?

— Берег их с год на самой черной дежь. И нету больше ни...

Кирко хлопнул калиткой, но дети выбежали за ним, Кукла прыгнула лапами на грудь.

— Не нашей вы деревни, робя... — хотел крикнуть он, да язык как завяз. И купил он компании хлеба на оба стариковских пятака.

Шел, шел Кирко и вышел на берег Камы. В сумерках он рассмотрел плоты, причаленные к берегу, и на одном из них костер. От костра неслись веселые крики и смех. Киркино сердчишко так и взыграло от огня — есть где будет почевать, а главное — от веселья.

— Наши оханские капустники, пра-ей-бо! — крикнул он, сбежал с угора и, осторожно ступая по бревнам, подошел к компании.

О край плота стучалась от качки большая лодка с зажженным фонарем. На лодке был уложен круг толстого каната, и Кирко догадался: это — дежурные плотовщики ждут сверху реки плот, чтобы перехватить его, подвести и причалить к берегу.

— Здорово, молодчики! — гаркнул Кирко.

— И ты, угланишко, здорово! — ответил один плотовщик, и все засмеялись.

— Откуда тебя выбросило? Чего тебе надо тут? — деланно строго спросил другой плотовщик.

— Я — тот самый, которого все страшатся и боятся!

Все опять засмеялись, а первый пригрозил:

— Позубать! Я тя кину в воду ершам на уху!

Но Кирко не уступил:

— Кидал твой дед, а ты о сю пору нет. Как подкинула тебя повитуха, так ты с тех пор животом не окреп.

Осмеянный мужик не успел ответить, а Кирко посчитал возможным перейти к делу.

— А что, дяденьки, примите меня в артель. Я не подгажу, любую работу одолею. Все края испроизошел, и никто нигде меня не охаивал, а хвалить — хвалили. Я — оханский, из Усолья. Земли-то у меня своей, робя, нету. Ну, оно и тугонько из-за хлеба-то.

От этих слов у мужиков смех избылся. Один ласково ответил:

— Ты еще вовсе слабенькой, а тут бревна — большому не под стать. Ступай поутру к доверенному. Пониже вон мелкой бревнок на дрова крошат: может оказаться — погодишься.

Кирко закричал:

— Ого-го! Дров мы с дедушкой куб ставили — есть не присаживались!

Снова все развеселились:

— Да ты, видать, силехонек!

— Ого-го! Любого в Усолье ка-ак верну-у! Летит вверх тормашками! Вот только Тимку Чайникова не могу одолеть. Так ведь он, окайная душа, кажинной день убоинку да шанежки жрет. А мы с матушкой с тех пор, как дедушка Кирилла медвежья власть захлестала, доброго хлебushка не видали, а все пополам с подмешницей осокоря, — Кирко и не заметил, как голос его стал невесел.

Утром доверенный отказал Кирку:

— Расчет я веду с артельщиками, а кого они берут — знать не знаю. Куда ты пригоден, шпингалет? Ступай с берега подальше!

Кирко поскреб в затылке и решился: пошел к дроворубам. Артель была шесть человек, молодые, здоровые, но угрюмые какие-то. Он смотрел на них, и шутка ему не падала на язык. Но нечего киснуть! И он начал так:

— Здорово, работнички почтенные! Доверенной велел вам принять меня в артель немедленно. Рассудили мы с ним и так и сяк. Они, говорит он про вас, не нашинские, не оханские, а лешак их знает, чьи и откуда. И, в случае чего, я им, говорит, под зад коленом поддать могу — за мое почтение. Обожди, сказал я ему, может быть, они и не дураки, добром согласятся взять меня. Ну, вот и как?

Мужики до того удивились — топоры и пилы опустили.

— Отколь тебя чивера выкинула? — спросил артельный.

— Я-то тутошний. А вас откуда выплеснуло водой, надо узнать?

— Мы чердынские и дедюхинские, кажинную весну и лето на своем деле и месте. Да чего ты знаешь, вчера, поди, мать-то разродилась тобой. Востер на язык-то. Сходить к доверенному, что ли? — спросил артельный, да махнул рукой: — Врет и не мешается, а работать, видно, ему охота.

Спытаем. Становись, клади поленицу. Вон такую же, — указал артельный и усмехнулся: — Поди, страшновато?

Кирко мигом скинул котомку, кафтан, шляпу.

— Не боюсь! Эй, лешачки, подкинь на меня полешечки, да грузнее!

Вдолге мужики сели перекурить, артельный подошел к его поленице.

— Клетка слабка, скособенилась.

И он столкнул поленицу, распинал ее. Кирко взревел, замахнулся поленом:

— Зашибу окаяннаго!

— Не озоруй! Бери в ум, — совсем несердито ответил артельщик и стал объяснять: — Клетку складывай из трех полешков. Оглаживая, не жалея ладоней, причесывай их, как волос к волосу, чтобы нигде пальца не просунуть. Доверенный все углядит. Мотри у меня!

К концу дня Кирко ног, рук и спины не чуял; перемогаясь: положит полено на место, а руки сами лягут рядом, глаза зажмурятся. Когда подсекутся и дрогнут колени, он опомнится, но положит другое полено и опять отдыхает.

— Эй ты, чивера! — окликнул его артельный. — Ступай к очагу, разводи огонь. Станем хлебово варить.

Еле Кирко собрал с земли свою одежду. Хватило силенки набрать еще щепья, разжечь бересту, а потом сник и заснул на месте.

Все-таки Кирко проработал три дня, когда артельщик сказал ему:

— Слышь-ко, чивера, лоб, глаза и вся икона у тебя стали белые. Никуды не годишься — измаялся. Получи-ко добром свой пай да отчаливай куды.

Мужики как мужики, никто из них не бранился, не кричал на Кирка, но он с ними даже говорить не хотел. Он взял полтинник, который ему подал артельный. И сразу небо и вода, берег и плоты поплыли куда-то. Откуда и явилась матушка.

— Сынушко махонькой, весь ты изнурился...

Гладит его, плачет, а отец подбрасывает на ладони полтину.

— Зерно в цене, да теперь мы не подохнем...

Мужики перенесли Кирка в балаган и вход в него заставили лубом: доглядит его доверенный, беда страстись может, сволокет в больницу.

Кирко оклемался на третий день, вскочил на ноги легко и радостно. Под шляпой он нашел свой полтинник, рядом стоял тус с жидкой капустой и лежала краюха хлеба. Кирко упел хлеб, выпил рассол, с досадой подумал: «Сколь протягался! Сколь заработку упустил! — Но тут же по-мужишки рассудил: — Хотя и на еду тоже не тратился. Оно одно другим само перекрылось».

Вылез он из балагана, погрозил мужикам кулаком и крикнул:

— Утяни вас ваша чивера за лапти в воду!

Те ответили:

— Проща-ай! Не хвора-ай!

— Дай бог не видаться! Щекотище с позевотищем вам в дышла! — ответил Кирко и стал подниматься на гору по деревянному руслу, по которому стекала в Каму горячая вода. Он уже узнал, что эта вода бежит из винного завода, а сам завод стоит вон прямо на горе. Узнал он также, что в этой горячей воде бабы, девки и мальчишки моют стеклянную посуду под водку. Туда он и направился.

8

— Доброго здоровьица, господин мастер. Нет ли у вас работы какой-нибудь? Все к рукам мне. В Югу на чугуна робил, а здесь дровишки ставил...

Мастер рявкнул:

— Нет ничего! Катись! Не то шейной мази пропишу!

Кирко спокойно ответил:

— Вот и хорошо.

— Чего, дурак, хорошо-то? — оторопел от удивленья мастер.

— А шейная мазь, баю, хорошо. Покойной дедушко Кирилл говаривал: которая собака лает — та не кусает, отходячивая. Ну, а если и съездит по шее, ты промигайся да опять то же толми. Переешь ему плешь, он и уступит. Главное — дела добиться, а горбу можно и перемогчись, стерпеть. Шея не купленная, для того и созданная.

— Да ты русский язык понимаешь? Своим, которые в этой части города живут, и тем работы нету! Вон идут два парнишка — просят-молят — ждут работу которую неделю. Вот я им скажу, что ты пришел хлеб отбирать у них, они свернут тебе морду набок.

Мастер покраснел от злости. В конторку вошли двое, может быть, чуть постарше Кирка. Сдернув кепку, поклонившись, искательным голосом один спросил:

— Можно ли, дяденька, надеяться завтра в посудную?

— Это как дела пойдут. Вот пришел еще синенький кафтанчик, прет нахально — дай работу. А — чужой совсем. А ну, поддайте ему парку, чтобы он вспотел и дорогу вам не перебивал! — усмехнулся мастер, закуривая.

— Я дам! А после этого примете на работу? — оживился первый мальчик.

— Нет уж, моя очередь на работу, и ты, Колька, не пролезай с мылом, а то я надаю тебе горячих! — насупился на первого второй мальчик.

— Деритесь все трое! Кто победит — завтра место мыть бутылки! Ну-у! Валяй! — крикнул мастер. Колька враз обернулся и ударил второго парнишку по лицу. Тот ойкнул, упал, из носа показалась кровь.

— И этому! Д-дай! Дерй с него шляпу и лапти! Кому работу — дер-рись! Б-бей! — топал ногами, махал руками мастер. Ошеломленный его поведением, Кирко прозевал оборониться, Колька ударил и его по носу, свалил. И цокатились по полу искатели работы, бились, кусались, к великому удовольствию господина мастера.

— Лежачего! Лежачего не бьют! — захныкал Колька, и Кирко поднялся с него, стал стряхивать свою кровь из носа на пол.

— Я победил! Я победил! — кричал Колька, юля перед мастером, хотя только что просил пощады.

— Дозвольте мне, господин мастер, на работку. Ради бога! Ни папка, ни мамка не работают больше месяца. Я стараюсь! Я уж который раз дерусь. Я им — между глаз, как вы учили. В переносицу — бух! — хвастал, вертелся Колька, а из глаз катились слезы. Но мастер остался крайне недовольным.

— Какая это драка? У петухов бывает больше крови, да и перья летят. А тут? Вы бы этой деревне оба, а то он на тебе верхом ездил. Да я бы ему!

И снова мастер подогревал ребят схватиться:

— Ну-у-у!

Но те мирно переглядывались.

— Не желаете уважить меня? Та-ак и запишем! Нет работы, марш отсюда!

Он схватил всех троих и, поддавая коленом в спины, вытолкал мальчишек из конторки.

— Ну и дураки вы — городские, пра-ей-бо! Я считал вас беда умными. У нас, в Усолье, из-за работы никто не дерется. Мастеру хахоньки, а нам волдыри на мордах, — говорил Кирко, все еще стараясь остановить кровь из носу.

— Завтра надо рано прийти сюда и торчать тут. Бывает, кто-нибудь не явится на работу. Только ты, Колька, не ври! Слезы пустил, подлая душа, а ведь отец-то у тебя — работает. Это у меня мать без работы, а отца нет, — упрекал Кольку второй мальчик. Колька заспорил:

— А кого я обманывал? Мастера!

Кирко возмутился:

— Нет, ты своего дружка обманул! Ах ты, варнак! И у меня чуть не закапали слезы, глядя на твои. Мастер, конечно, тоже медвежья власть, можно его обтяпать.

— А какая это медвежья власть? — спросил Колька.

— Это, робя, не баран счихнул! — Кирко сел на бровку канавы, а ребята обок к нему, и рассказал сказку бабушки Давыдовны про беглого, про дедушку Кирилла.

— И вот, робятушки мои, когда мне шибко плохо в жизни припирает, я тогда позову: дедушко, мой дедушко, и где ты? Так он ровно живой мне улыбнется и велит быть смелому. И сразу я от беды и горя, как веслом от берега, отпихнусь, — закончил Кирко.

— Меня Борька Бакланов звать. А тебя?

Кирко длинно и подробно объяснил:

— И как ты ни ворочай, а все одна нога короче, так и у меня выходит, что я должен быть Кирком.

— А что это значит — все одна нога короче? — в один голос спросили ребята. Кирко рассказал:

— Это судьба такая и страданье у церковных старост. И выбирают-то их на один годок, но они обязательно с первых же дней начинают хромать на которую-нибудь, а то и на обе сразу ноги. А хромота им привязывается, робятушки мои, от церковных денежек, которые никому, кроме самих же церковных старост, недоступны и никто не в силах помешать им класть, сколь надо, в собственные карманы. Попесет домой церковный староста те денежки в правом кармане — на правую ноженьку почнет приседать. На иной день — в левом, ан на левую вихляет. Собачья должность!

Ну, народ и скалит зубы: «Как ты ни ворочай, все одна поженька короче!»

Когда отсмеялись, Борька предложил:

— Скоро прибудет снизу пароход: пойдем прислуживать барскому отродью. Чего-нибудь отломится.

— И я пойду, — заявил Колька. Но Борька запротестовал:

— Подальше от нас, мазурик! Любишь ты карманы проверять.

Колька побежал вперед и стал грозиться:

— Я вам устрою! Встретят вас! Не так еще кровь из носов побежит.

На пристани установилась очередь носильщиков. Борька предложил:

— Давай встанем и мы.

Но Кирко не согласился:

— Так ничего не дождемся. Видал я, как делают другие, держись за мной.

И едва пароход приблизился к дебаркадеру, на котором еще трапы не тронули, Кирко лихо пронесся мимо очереди и прыгнул на палубу. Борька не отстал: оба ловко увернулись от рук матросов, поднялись наверх, в господские каюты.

Нагрузившись чемоданами и узлами, Кирко и Борька медленно поднимались на берег к извозчикам. И тут их окружили ребята, стали угрожать:

— Сволочи! С чужого места! Деньги будут наши!

— Это их науськал Колька. Берегись, Кирко! — шепнул Борька, задыхаясь под тяжестью ноши.

— Не бойся! Морда в крови, а наша возьмет! — отвечал ему, обливаясь потом, Кирко. Едва господин сунул ему пятиалтынный и Кирко забросил его в рот, а бесценную память, дедушкину шляпу, заткнул за пазуху, как недрути схватили его. Но их было так много, что они мешали друг другу, не сразу свалили Кирка с ног.

Когда Кирко продышался, поднялся с земли — стал ошупывать. И, слава богу, шляпа — тут, деньги за подкладом кафтана в целости, серебрушка во рту скребется о зубы! Лешак! Пятнадцать копеек! Здорово девки пляшут! Можно здесь на семена заработать! А синяки до свадьбы рассосутся!

Задолго до шести часов утра Кирко пришел к винному заводу. Борька воскликнул:

— Ты жив, Кирко? А я думал, тебя задавили или зарезали! За мной гнались семь кварталов. Силы не стало бегать, и я выкинул им серебрушку, тогда отстали. Нет расчёта туда ходить. Тужурку и рубашку изорвали, сволочи.

Но Кирко с ним не согласился:

— У меня лопотина ядреная, матушка сама ткала, а руки у нее — золотые. Не вашим робятам изодрать ее. А бьют тоже не по-нашински, ровно комары кусают. Так без толку измяли меня, дых перехватило. А три пятака тоже не баран вычихнет. Не должны же такие денежки понапраске доставаться.

Они попали на работу. Кирко вошел в сарай, огляделся и поздоровался:

— Бог на помощь, почтенные!

Никто ему не ответил, все были заняты. У всех были бледные лица и красные, вспухшие от горячего щелока руки. Посуда сверкала, мелькала в глазах и, кинутая в гнезда ящиков, звенела.

На другое утро он натаскал себе к желобу сорок ящиков. С непривычки в голове шумело, в глазах рябило, из пальцев сочилась кровь, но худо-не корыстно, Кирко осилил все.

А вечером бракер обнаружил в его ящиках десять бутылок со шербинами и трещинами.

— Эх, парнище, это тебе шабры подсунули. Берегись их! — предупредил браковщик. Заработал Кирко шестнадцать копеек, а штрафа удержали гривенник. Хоть голодом вой!

На третий день работа кончилась: Кирко получил за все время четыре пятака.

Пробродив дня три, он попал на свечной завод. На узком и длинном дворе его с одной стороны тянулись бараки-цеха, на другой стоял двухэтажный дом с широким крыльцом, с верандой. У крыльца веселились молодой человек и две барышни. Они так смеялись, что беда понравилась Кирку, и он, сдернув шляпу, с простой душой поклонился им.

— Доброго здоровьяца, господа хорошие! Дозвольте спросить — не найдется ли тут работы какой?

На поклон его они, конечно, не ответили, а молодой человек спросил:

— А чего ты можешь делать, мужичок?

— А чего я не могу-то? Колоть и пилить, мыть и чистить, таскать на горбу или на чем придется, не испугаюсь.

Молодой человек, под смех барышень, перебил Кирка:

— Мне бегуна надо. Да ты в лаптях запнешься.

— Спытайте, баринок! Пра-ей-бо, не боюсь...

— Ну, спытаем! — передразнил барчук и показал рукой. — Во-он в конце двора, у забора, стоят метла и лопата. Видишь? Я буду следить по часам — быстро ли ты сбегаешь за ними. Если быстро — позволю вымести двор.

Надвинув крепче шляпу, Кирко понесся за метлой и лопатой. Три дня не робил, лешак возьми! Жми!

Перед самым забором он вдруг потерял опору под ногами, провалился куда-то, угрузнул с головой.

То была яма с отбросами свечного производства. Густую вонючую жидкость затинуло сверху серой пылью, замело мусором, и ее было незаметно. Она залепила Кирку рот, нос, уши, глаза. Еле он выкарабкался из ямы,хватила чихота, стошнило. Скорей на Каму — мыться! Кирко кинулся туда; но, поравнявшись с хохочущей компанией, повернул на них, обхватил барчука, обтирал лицо, голову о его белый костюм и свалил с ног.

Молодой человек был много старше, сильнее, но, боясь грязи, беспомощно отталкивался, хлестал Кирка, а тот вертелся на нем, сел на лицо барчука, приговаривал:

— Отведай! Лизни! Каково? Не по вкусу?

Простился Кирко с оторопевшими барышнями:

— Хуже вы наших усольских девок, куда-а! В подметки им не годитесь! Стоило бы вас окрестить попуше, да ладно!

Чуть мазнул им щечки и побежал к реке.

9

В первый день петровской ярмарки Кирко очутился на бульваре, где были цирк, балаганы и карусели. Со всех сторон гонги, барабаны, гармоньи, крик, смех. Вдруг он увидел на подмостках балагана маленькую мартышку. С трудом Кирко сквозь толпу пробрался туда, вскарабкался наверх, к перилам. Но недолго ему довелось любоваться мартышкой, появился толстущий клоун и стал заманивать:

— Почтеннейшая публика! Пожалуйста в наш единственный в мире, с обширной программой цирк Эльдорадо! Только пять копеек! На эти деньги дом не купишь, соломой крышу не покроешь, а удовольствие получишь на всю жизнь. Второй звонок! Пять копеек!

И выскочили тут две цыганки с бубнами и цыган с гармошкой. Грянула гармошка, закружились в пляске цыганки, замелькали кораллы, зазвенели монисты, заворковали бубны.

Ничего прекраснее Кирко еще не видывал. Не заметил сам, как подлез он под перила, придвинулся вплотную к танцоркам. И только топнули они в последний раз, не потухли еще их вздутые юбки, Кирко с провизгом крикнул гармонисту:

— Дай, лешак, мне «Сени»! Дай, нечистый дух! Я отдеру на спине — мне легче станет! У-у-ух...

Цыган оскалил зубы и поддал «Ах вы, сени, мои сени!»

Кирко упал на спину, вскинул вверх растоптанные лапти и начал-пошел вытворять-выкомаривать ими так и сяк и этак! Что он делал, углан!

Публика сгрудилась — подмостки затрещали, орала, хотала, а цыган наяривал на гармонии, а Кирко мотал-вил крендели.

Клоун-хозяин смекнул, перекричал всех:

— Только у нас в Эльдorado! Пять копеек! Второй звонок! — Он подхватил Кирка с полу. — Молодчага! Как тебя зовут-то?

— Кирко Матвейкин. Из Усолья. Оханской.

Клоун крепко прижал его к себе, рекламировал:

— Внимание, почтеннейшие! Единственный, непревзойденный в мире номер воздушного танца! Только у нас, в Эльдorado! Прибыл на гастроли всемирно известный любитель публики Пырка Копейкин. Гвоздь сезона, нигде ранее не виданный! Победитель на Макарьевской ярмарке! Спешите видеть! Пять копеек! Третий звонок!

Он увлек Кирка в двери балагана, но парнишка видел, как публика ломится к кассе, и не хотел продешевить.

— Стой, хозяин! Наперед плати, а после я хоть на спине плясать, хоть на голове ходить стану.

Хозяин уговаривал:

— Потом-потом...

— Денежки — на кон, отец дьякон!

— Ах, шельмец! Вот, получай! — хозяин схватил Киркину шляпу, как будто знал, как она ему дорога, другой рукой подбрасывал вверх целковый, заманивал.

За сценой Кирко услышал, как хозяин объявлял:

— Следующим номером нашей программы — неповторимый, фантастический танец ног в эфире! Э-э... Двенадцатилетний чудо-самородок, э-э... вот уже в течение двадцати лет

Егорко Егорейкин из Балаганска берет первые призы во всех цирках мира!

Цыганки толкнули Кирка на сцену. Цыган грянул «Сени». Оглушенный криками и рукоплесканиями, Кирко не добежал и до середины сцены, упал на пол и заиграл лаптями в воздухе.

Но что было в первый раз по вдохновенью, сейчас, по расчету, не повторилось. Хотя публика и осталась довольной, хозяин спросил:

— И что ты, Катырко, без души плясешь?

А Кирко злился:

— Отдай, лешак, мне шляпу, плати деньги. За какие грехи — зря время протягаю? Зовут меня в другой балаган.

Хозяин кинул ему целковый.

— Получишь много, пляши! А шляпу — потом, когда будем закрывать сезон. Старайся, Бырка!

Кирко повеселел: целый целкаш! И плясал лихо.

Его не выпускали из стен балагана, спать укладывали между хозяином и цыганом. Один из них, попеременно, держал на нем руку. Цыганки ласкали его, заботливо и часто кормили.

Он очень устал. Одно дело — выковыривать ногами как угодно по земле, а над головой, да по десять раз в день, чем дальше, тем труднее. Ноги все хуже и хуже слушались. Публика уже не хлопала, молчала, а на четвертый день стала кричать:

— И чего робят-то мают!

Хозяин дал ему еще рубль, подбадривал:

— Дотянешь до вечера — шляпу отдам!

Кирко обрадовался: такого заработка еще нигде не бывало — озолотеть можно! Но ноги совсем перестали работать, хоть отсеки их!

«Чего же делать-то мне? Матушка так положила на меня — с семенами и напредь будем», — терзался Кирко и еще решил: махнул из-за ширмы цыгану.

— Зачинай, лешак!

Он неторопко добрал до середины сцены, с оханьем и кряхтеньем свалился на спину, вяло раз-другой мотнул лаптями в воздухе. И тут же давай наговаривать в такт гармонь:

Развеселые марухи,
Разлюбезные таскухи

Укатали молодца
До последнего конца!

Публика, в большинстве пьяная, как с ума сошла: бесовственная частушка в устах деревенского парнишки для нее была уморительной. Долго орала в восторге, не давала Кирку петь. В него дождем посыпались леденцы, карамель, сенишники, алтыны, пятаки.

Хозяин качал Кирка на руках и отдал ему все собранные деньги — два рубля семь гривен, цыганки угощали кислыми щами, а он думал: «Как бы найти шляпу и увернуться отсель без греха?»

А грех в такие моменты и приключается. Как раз в это время хозяин-клоун выступал перед зрителями с байкой:

— Плыл корабль по морю-океану с апельсинами, а на палубе спокойно сидела старуха в очках и вязала чулок. Откуда ни возьмись на корабль набросилась огромная акула. Она проглотила ту старуху с очками и еще прет на корабль, вот-вот его опрокинет. В страхе матросы скидали акуле все корзины с апельсинами, нажралась, проклятая, отстала. Через неделю рыбаки поймали ту акулу, распорол ей брюхо — и что же увидели?

Смолк клоун и, желая поразить публику, приглушенным голосом закончил:

— Сидит та старуха в очках, вяжет чулок и торгует апельсинами!

Реденький последовал смешок и не тустенько захлопали в ладоши. Даже за сценой пеловко стало от неудачи хозяина. И Кирка, как лешак турнул, — выскочил.

— Эка, сколько пусто сболтнул наш голова, пра-ей-бо! Кака така старуха ему далась? Да откуда ему чего и знать-то? А вот у нас мужик один не только матушку-земельку испрошел, моря изъездил, а и в загробном мире побывал, рай с адом повидал, да и назад притонал, вот это — да!

— Го-го-го-го!!!

Задрожал дощаной балаган от хохота и хлопков. Клоун-хозяин, ожидая, что этот находка-артист снова удерет какую-либо славную штучку-номерок, паясничал, как будто так и надо, упятился за ширму.

— Не знали, так слыхали вы, робятушки, про нашего Петруху Комаренка из починка Пустомели? Находило на того Петруху лихо-питье не раз, а одинова он вовсе сдурел. День он пил, два, три, да, видно, все-таки насытился, не слышно у него дыху стало. Баба его обрадела:

— Конец мученью! Представился! Слава тебе, матушка богородица, избавилась я!

Ну, соседи тоже скорбят, сколотили ему домовину, попушко отпел покойника, крышкой закрыть ладилась, да тут баба сдуру вид показать вздумала — приложиться на прощанье губами к губам пожелала. Склонилась да как забазланит:

— Не дошлой он! Не успели зарыть-то! Нету мне избавленья!

Оторопели все. И сунули в ноздри Комаренку нюхательного табаку. Приснул Петруха, поднялся, а как в глазах ум появился — заматерился. Опять, значит, слава богу, стал живым!

Ну, тут же дали ему опохмелиться, и он почал рассказывать: как в раю и в аду побывал, с кем там увиделся, знакомым зачал поклоны передавать. Все шло добром, как вдруг поп зажал ему рот, говорить не дал больше, людей всех из избы вытурил. Да в тот же день увез Комаренка в Пермь. И не так уж много места минуло, Петруха Комаренок вдруг домой прибежал, рассказывает — жизни не рад:

— Ой, робя, в Белогорском монастыре из меня праведника, воскресшего из мертвых, вылаживают. Говорить как и чего приучают. Кормят только легкой кашкой без соли. Тело мое, чтобы светлым как стеклышко стало, натирают мазями да елями.

Только тут Кирко спохватился — не смешно, унеси лежак!

И верно: лишь два голоса хихикнули, а остальная публика вперила в него глаза, требовали:

— Дальше, дальше?! Говори! И чего вышло-то!

Бочком уж Кирко закончил:

— Через недолго нашли в лесу его мертвым. Мужики бают — удушен, а поп твердит — праведная душенька на небо взята, телеса его станут нетленны...

Выбежал тут на сцену хозяин-клоун, задернул занавес и давай пробирать Кирка:

— Здесь, Тырка, балаган! Понимаешь? Балаган! Нельзя здесь про попов, про святых говорить. Понимаешь? Нельзя! Плохо мне будет от полиции. Ай как худо! И ты только — пляши! Пляши, а говорить не смей!

Да тут мартышка вытащила откуда-то шляпу, напялила на себя. Она здорово исцарапала, искусила Кирка, но он отвоевал у нее дедушкину память и удрал.

Из толпы гуляк он еще раз услышал клоуна:

— Спешите видеть последние дни Тугирко Пырейкина из Туруханска! Любимец коронованных особ всех столиц мира! Чудо века! Только у нас, в Эльдорадо! Пять копеек! Третий звонок!

У Кирка больно защемило сердце: стыдно стало, что сбежал. Милый хозяин, милые цыган и цыганки: кто его еще так баловал и ласкал! Но чего поделаешь? Ноги вовсе истраились.

Кирко работал в то лето еще во многих местах, но денег мало заработал.

Дома отец плакался:

— И лошадь кормить нечем, а без нее — могила.

Кирко полез на полати взглянуть на свои сапоги, рубаху и штаны: ведь завтра праздник. Но их в коробу не оказалось. Он не закричал, не заревел и мать не позвал, догадался — отец их пропил.

10

По обычаю в первый день храмового праздника жители Усолья с раннего утра идут и едут в село Острожку, где в этот день бывает не только богослужение, но и базар.

Кирко на базаре пробовал держаться степенно: он же теперь сам работник, но не выдержал, стал носиться сломя голову. Он сбил своих и начал с сельскими ребятами драться. Потом поглянулось ему охотиться: вырывал у зазевавшихся девок из рук узелки с семечками и делил добычу с приятелями.

Но вот поднялся благовест, в церкви закончилась обедня. По дорогам задребезжали телеги, а парни и девки, сняв сапоги и ботинки, по межам сжатых полей артелями, с песнями потянулись к своим деревням.

Кирко нашел отца в компании с другими питухами на задворках пивной. Отец еле держался на ногах, задавался, приглашал всех к себе:

— Айдайте, все кривохвостики, ко мне шаньги есть! А чего? Рази я не в состоянии принять и угостить? Да за мое почтение, всех в стельку напою...

Сын с трудом увел отца к телеге и увидел в сене четвертую бутылку с вином.

Тряска в телеге три версты немного протрезвила отца. Дома втроем уселись за стол. Отец поставил бутылъ с вином перед собой, пил и пил.

По всей деревне начинался ералаш. Боже мой, как пили в Усолье! Когда сам человек не мог уже держать стакан в руке, ему вливали вино силой. Очухавшись, мужик зарекался:

— Будь оно проклято! Ни в жизнь больше глотка не глотну!

Но, поднявшись на ноги, он тащил лавочнику Захарше последнее зерно, муку и все, что еще у него сохранилось. Если баба ему противилась, он бил ее нещадно.

Усаженных за стол гостей хозяева сперва просят пригубить стопку с вином степенно. Таков уж обычай: поначалу гостенек немало отнекивается, косится на вино:

— Да рази мы голодные какие на него!

Уже принятую из рук хозяина стопку, подержав, гость еще отставит от себя.

— Да рази я потребляю ее много-то? Против сердца она мне. Кто ее и выдумал, окаянную!

Но от желания глотнуть у гостенька уже ноздри раздуваются. Наконец хозяин теряет терпенье:

— Пей, лешак! За ворот вылью!

Ну, тут пора и сдаться, хотя почесать язык еще полагається:

— Уж только рази для праздничка. Одну только эту и есть...

Больше упрашивать гостей не надо. За столом начинаются бестолковые разговоры, похвальба, хвастовство, драки.

И так все три дня.

Молодежь между тем у пожарки завела хоровод.

Поблизости на бревешках и прямо на поляне расселись старики и те, у кого нет гостей, разговоры разговаривают.

По деревне, обнявшись, во всю ширь улицы валила компания и орала.

Лучка Вонькой выбежал на средину дороги, расставил руки.

— Сто-ой! Слушай мою команду-у!

Герасим Косяк, огромный мужичище, раззадорился:

— А ты кто таков будешь?

— Я-то? Я — десятской! Смирна-а-а!

— А что это за начальник нам? — опять спросил Герасим. И кто-то разъяснил:

— Да какой начальник! Так себе: у исправниковых штанов заплатка.

Грянул хохот, а осмеянный десятский с полицейской привычкой занес на Герасима кулаки, но ему связали руки назади.

И тут оказался Кирко.

— Дай Вонькому, дядя Гарась! Дай за дедушку, за всех!

Герасим схватил Лучку, как перышко, со связанными руками закинул на тын.

Хохотали все, но больше всех — ребятишки, а Кирко от радости пел петухом и прыгал. Но Лучка завыл дико.

Пока его снимали с тына, Сатана схватил Кирка за волосы, хлестал, кричал:

— Стегайте! Застегайте его! Я велю! Я в ответе!

Не все слышали, что Кирко подкольноул Герасима на такое дело, и никто не помог Сатане. А Кирко боднул Сатану, вырвался.

— Я сам тебя отстегаю! Жди, Сатанище, на праздничке же! — Крикнул и нырнул в толпу.

А на месте хоровода уже Епишка Гашник, под гармонью, плясал, лежа на спине, на животе, на боках.

И вдруг в веселье ворвался рев Пашки Бирючихи:

— Там Матвейко свою Параню загуби-ил! — Она схватила голову руками, грохнулась на землю.

— Матушка родимая! — крикнул Кирко и понесся домой. Народ хлынул за ним.

Мать лежала на полу, сквозь волосы сочилась кровь. Кругом валялись осколки от бутылки. Отец сидел, оперевшись о стол, опустив голову. А люди, взглянув на труп, закрывали глаза, выбегали обратно из избы.

Бабка Васиха вздохнула:

— Упокой, осподи, душеньку ее...

И стала закрывать покойнице глаза.

Староста и урядник прибыли вместе. Староста разволновался, заикаясь, спросил:

— Ну... и как же ты?... Ай?

Матвей поднялся со скамьи. В горле у него хрипело:

— И... вот... не знаю я... А думал о том давненько... Виду я не оказывал, а она сама чуяла... тоже вида не каза-

ла... не стереглась... — Он переступил с ноги на ногу, обвел глазами всех и заговорил громче: — Любил я Параню с самого молоду. Тут парень родился, я всматриваться стал: нет ли в нем чего чужого. Быть-то и нет, а ровно и есть. В голове мозжало, на сердце скребло. Ни на кого думы не имелось, а свербело и свербело, занозой все кололо. Спрашиваю ее: «Было ли сделано?» Она отмахнулась: «Да сделано-сделано, провались ты...» И кто тут сунулся? Я ведь сроду перста над ней не надносил... А тут... хватил...

В сенях громко заговорили:

— Чуешь, как бабу оговаривает!

— Не он это судит-то сам: христовая кровь довела его...

— Уж никакой-то праздничек без крови не прокатится!

Но Кирко не видел и не слышал, как забрали отца.

11

Оставшись после похорон матери один, парнишка недели с две плакал. Только Матюга и подкармливал его, а то бы он вовсе извелся.

До суда отец просидел в тюрьме семь месяцев. А ведь каждому хорошо известно, что царский суд — скорый, правый и милостивый. И суд такое мнение о себе и в этом деле оправдал: надо не надо, а проводилась формальная экспертиза умственного и душевного состояния этого пьяницы. И после волокиты, в соответствии со своей совестью, суд не завинил убийцу. На самом деле, кого он убил-то? Жenu ведь свою, а другим не опасен. На таких преступников есть духовная власть. Пусть она разбирает и решает всякие вопросы между супругами. И дело было передано в духовную консисторию. Владыко-архиерей наложил на убийцу семимесячную епитимью. В Белогорском монастыре Матвей Косков замаливал свой грех, работал, пьянствовал и скоро сгорел от вина.

Кирко ничего этого не знал, а убежал за речушку Тулубайху, в одинокую, без усадьбы и ограды избенку. В той избенке жила баба лет сорока пяти. У нее было христианское имя Александра, но большинство звали ее презрительно — Саха-Рассоха.

Она не отругивалась, не оборачивалась, давно привыкла ко всему худому, а ковыляя правой ногой, шла к себе за реку.

Выросла она в деревне Гляденовой без отца и матери. Взял ее замуж такой же свободный от земли и имущества

сын Российской империи, Савка. Они огоревали эту избенку, а больше ничего завести не смогли. Года два прожили кое-как, а больше впроголодь. Савка отчаялся встать на ноги, принялся пить и во всем винить жену. Действительно, Александра была кругом виновата, даже куру в приданое не принесла, а не будь ее, окаянной, несомненно Савка бы какую себе доброго дома невесту поддепил! Недаром он ее однажды так пнул, что правая нога у Александры стала сохнуть. Савка же схватил леготку и скоро умер.

Всяко билась-кормилась Саха-Рассоха: грибы, ягоды, травы собирала, с трудом жада и косила да и побиралась где подальше от Усолья. Что поделаешь? Житейское дело, молодость, а главное опять же нужда не раз принуждала ее ребят рожать. Да по той же проклятой причине ни один из них не выжил.

И вот к ней прибежал Кирко.

— Здорово, тетка Александра.

— Какая я тебе тетка? Александрой еще назвал! Рассоха я всем.

— Матушка моя покойная звала тебя так, и я стану звать добром, не бойся, — сказал, подходя ближе, Кирко.

— Чего случилось-то? — От удивленья сухая нога у Александры ерзнула по полу. — Никто ко мне не заходил. Какая немочь тебя приволокла?

А Кирко взял ее за рукав, горячо заговорил:

— Айда-кось, тетушка, собирайся ко мне жить совсем. Баба ты, хоть и косицы седые, не вовсе умыканная, можно на тебе хоть верхом гонять, хоть в упряжке. Одиныхонька, и у меня в избе живым духом не несет.

Александра обеими руками отмахнулась.

— В уме ли ты? Окрестись! Кого надумал? Станешь со мной сам нелюдем: засмеют-заграют! — И обиделась: — В насмешку люди подучили, а ты, дурашка, с бухты-баряхты и заявился.

— Да нет же, тетушка! Некому меня надоумить, да и чего меня учить-то? Сам я давно спознал — ты добрая.

Оба горько заревели. Уревелись всласть, до того, что тому и другому легче стало. И почуяли: верно ведь от реву пользы нет, а лучше вместе жить.

Вся деревня хохотала:

— Ха! Женился Кирко-то!

— С приданным взял: решето без дна, кринка без краев, ведро без душки и ни единой подушки!

Продав Кирко лошадь, а на те деньги привел корову. Всю жизнь Александра мечтала в доброй избе пожить, усадьбу иметь, за скотиной ходить и теперь ухватилась за домашность обеими руками.

Однажды на двор пришел Сатана. Он осмотрел избу, клеть, стаю, стукал, щупал, тыкал в пазы и прикидывал чего-то в уме.

— А чего потерял у нас, Лексей Семенович? — спросил Кирко.

Сатана не ответил — пошел со двора. Кирко не знал, какая над ним нависла беда, что между кулаками завелся спор, кому из них взять под опеку его хозяйство, а самого его запрячь в свою телегу. Но вдруг парень вспомнил, что при людях дал обещание отстегать этого мироеда.

У городских ребят Кирко видел ходули и даже научился ходить на них. В деревне про них не слыхали, и он смастерил ходули втихомолку. Сшил он еще из лопухов длиннейшую бороду, парик, сделал из пикана дуду.

В сумерках Сатана обычно сидел у своего палисадника и через дорогу задира лавочника.

И вдруг из-за палисадника вышел огромный зеленый водяной лешачина, задудел столь страшно, что даже Захарша за дорогой от ужаса улизнул в лавку, а Сатана совсем сомел, сунулся мордой в землю, завыл, как под ножом.

Водяной стегал Сатану витнем, тот ревел, полз к калитке и укрывался за нею.

Захарша потом клялся, что являлся сам лешак: уж он-то хорошо его не один раз видал! Сатана догадался, кто его полосовал, но от стыда подтверждал.

— Родителей ныне не поминал, вот и допустил господь нечистого поизгаляться над моими грешными телесами. А как помянул имя Христово, лешак и сгинул с глаз.

Но Кирко всем показывал ходули, бороду и дуду.

С четырнадцати лет Кирко работал на чугуне в Югу, как большой, а зимами — в Перми. Возвращался он домой только пособить тетужке Александре огород садить, сено заготовить. Доброй хозяйкой оказалась Александра, и стал он звать ее матушкой.

Горе и беда забылись давно, веселье кипело в нем. Даже когда шел один себе, то поддухивал, подсвистывал, напевал:

Мы плевали на нужду,
Не боялись холоду.
Подтянули опояски —
Не сдавались голоду.

Когда Кирку исполнилось восемнадцать лет, ему дали полосу земли. Но у него не было лошади, и эту полосу стал пахать и засеивать исполу Харитон Самойлович Чайников. Трудно подсчитать урожай на корню, а после снятия его с поля — совсем невозможно. И этот благодетель, который раньше изъявлял желание стать Кирку отцом-опекуном, теперь жестоко его обманывал. Два лета он отдавал Кирку зерна не более одного мешка, а на третье заявил:

— Сеять исполу — мне один изъян. С этого лета стану по закону твою полосу целиком обрабатывать себе.

До сих пор так и велось везде: с третьего лета с полос у безлошадников кулаки забирали себе урожай полностью. Нет толку, если бедняк заявит о том в волость. У него отчислят полосу — и все. Если же земля останется у кулака, то имелась надежда, что он когда-либо смилостивится — покормит или примет к себе на работу.

И вдруг Кирша сломал вековой обычай, уцепился за свою полосу, заявил Чайникову:

— Не-ет, хозяин, стой-постой! Где ты такой закон видал? Или уделай мне и впредь, кажинный год зерно, либо я иду в волость и откажусь от земли до тех пор, пока сам не смогу ее обрабатывать. Пусть ни мне, ни тебе ее не будет.

Чайникова как медуница ужалила! Немало было у него таких полос. Что будет, если, глядя на этого сорванца, и другие испольщики за ум хватятся? Убытки ничем не возместишь. Без этих полос любому кулаку — пропасть.

— Ладно уж, пей мою кровь! — впервые в жизни уступил Чайников, зеленея от злости.

Молва о том, что Кирша отстоял свою полосу земли и на третий год Чайников станет отдавать ему с урожая по мешку зерна, облетела всю волость. Немало мужиков спохватились и тоже потребовали у своих кровососов и впредь пользоваться их землю исполу.

Но когда Кирша принес свой мешок зерна на продажу в лавку, Захарша подсчитал за каждый пуд на пятак дешевле обычной цены.

— Это отколь появилась такая цена на хлебушко? — поразился Кирша. А лавочник подхохатывал:

— А он у тебя дармовской. Ты его выжал ни за копеечку. Не по праву? Неси куды знаешь.

Что тут было делать? Правды негде взять.

12

Маловато Кирша в этот раз заработал в городе, но, возвращаясь на пароходе домой, как всегда, был весел. Пробираясь среди пассажиров и поклажи на корму, сдвинув шляпу набекрень, он чиркал двугривенной монетой по пиле и напевал.

Вдруг услышал он бабье причитанье:

— И ничего-то за сынка получить не могу! Ищу правду, а добиться не могу-у-у...

Разве Кирша мог пройти молча? Не разобравшись, в чем дело, не оглядевшись даже, он задорно сказал:

— А с чем ее едят, правду-то? И где она? Рази у козы в бороде она, а не у нас в империи? — только всего он и вымолвил. И сразу встретился глазами с урядником; выскользнул на корму. Но урядник уже уцепился за ним.

— Кутишь-мутишь мир честной? Нету, говоришь, чего? А повтори, где ее нету?

Кирша молчал. Урядник взорвался:

— Я с тобой говорю — шляпу долой! — И хватил кулаком Киршу в ухо. Тот присел у самой кромки палубы, зажмурился, зашатался. Урядник побоялся, как бы Кирша не свалился за борт.

— Такой здоровяк — пустяка не стерпел! Ну, чего с тобой делать? Где снять тебя? — говорил он.

Кирша враз поднялся, двинул головой под зубы, плечом в грудь уряднику, и тот, ахнув, полетел с борта в Каму.

Забегали люди.

— Не глубоко место!

— Скорее дома окажется! Он таборской.

Пароход застопорил, спустили лодку. Но матросы и другие худенько старались найти того, кто столкнул урядника в воду. Да еще ошибка вышла: вывезли Киршу в пустом ящике на берег.

Дома матушка Александра горько пожаловалась на жену оханского исправника капитана Кушнова:

— В пятницу на базаре только я туесок раскрыла, она тут как тут оказалась: «Что у тебя? Молочко? Смотри, за кислое исправник тебя в холодную запрет!» Спила она устоечек, сморщилась: «Чего просишь? Пятак! Вот тебе три копейки вместе с туесом». Не успела я и в себя прийти, как шельма выкинула мне алтынник, уметнулась из глаз. Да до-колича это будет твориться?

Кирша успокаивал ее:

— Не плачься, матушка. Напрок я сам понесу молоко на базар и угощу исправницу досыта. Забудет не забудет она свою привычку, а молочко дешевое прополоснет ее наскрозь.

Скитаясь по работам, Кирша узнал, что в некоторых местах крестьяне, чтобы молоко не скисалось от жары, опускают в него лягуш, которых так и зовут — холодянами.

На базаре он встал с краю, поближе к дому исправника, и не открывал крышку у туеса.

Когда же показалась исправница, он залебезил:

— Пожалуй, матушка, испробуй нашего: устоечек — слаще нету!

— А чего заломишь, мужик? — осведомилась она и прильнула губами к устойку.

— Пей, да поболее...

Кирша побрякал ногтями по днищу туеса, и холодяны ринулись наверх.

Ойкнула исправница, на ногах не удержалась, давай ее рвать.

Кирша было затерялся в толпе и ушел бы, да заметил его Лучка и указал урядникам и десятским:

— Вот он подсудобил отраву матушке-исправнице!

Как назло, один из урядников оказался таборским, которого Кирша на днях выкупал в Каме. У Кирши мурашки шекотнули спину, но он схохотнул:

— Здорово-здорово, маканной!

Да, много встретилось приятелей враз — добра не жди!

На дворе уездного полицейского управления ожидал их сам капитан Кушнов.

— Задержали? — спросил, хотя и так видел: кого надо привели.

— Так точно, ваше высокородие!

— Признался?

— Так точно. Молчит, значит — виноват.

— Скормите ему этих жаб. Съест — отпустите с богом. Не по вкусу будут — сами знаете. Но — чтобы они у него квакали в брюхе, — распорядился исправник и ушел. Таборский урядник показал Кирше на дверь кирпичного подвала.

— Пожалуй-ко, братушка, бриться в горенку.

— Тесновато будет там: вас пятеро, хотя я и один, — ответил Кирша и уже весь напрягся для защиты. Тут подскочил, на людях храбрый, Лучка, стал засучивать рукава.

— Молча-ать! Я те... За веру, даря и отечество! У-ух! — и кулаком в ухо. Но Кирша подставил локоть.

— За жизнь свою! — гаркнул он и двинул в переносье Лучке; оборонялся яростно: таборскому так дал под душу, что тот сник и ловил ртом воздух. Но остальные ухайдакали Киршу до того, что внутри у него все квакало. Долго не мог он с земли встать. Право, иной бы кто тут и жить наплевал, а Кирша поднялся на ноги с мыслью, что это ему лишь задаточек наперед.

Так и есть: урядник опять указал на подвал.

Это было до того холодное помещение, что прислуга исправника хранила в нем всякие продукты как на леднике. Еле Кирша дошагал до него, понимая, что тут услужливые стражники отобьют ему, как милому дедушке когда-то, печенку-селезенку-легкие. С тоской он оглянулся вокруг, взглянул на небушко.

Но, переступив порог, едва оглядевшись в темени, Кирша спел петухом от радости. На стене висел наколотый на крюк телячий язык, который только сегодня исправница купила по дешевке. Вмиг он подскочил к языку, захватил нижний конец его в рот, вцепился зубами, повис, выпучил глаза.

Урядники и десятские входить в подвал не торопились: оттягивали удовольствие захлестать человека. А когда вошли да увидали страшную картину — как их жертва сама покончила с собой, уметнулись вон.

Исправник увидел в окно, как его храбрая стража удирает, натываясь на заборы, на ворота, и спустился в подвал сам.

Сказывали после: сутки капитан Кушнов лежал в постели, уткнув голову в подушки. Пришел он в себя, когда

супруга строго спросила его, куда девался телячий язык, который приспело жарить.

Кирша, уходя из подвала, кинул тот язык дворовой собаке.

13

Весной втроем: Кирша, Данько и Мигун — прибежали в Оханск и остановились перед домом купца Жакова. Поглядели они на окна в обоих этажах, толкнули ворота.

— Спит, видать, наш хозяин, — сказал Мигун и часто-часто заморгал глазами, за что его так и прозвали.

— Спит... уф-уф... окаянной сыч... — прозаикался Данько. Он с трудом произносил добрые слова, а только ругательные выговаривал четко.

— Ну и лешак с ним. Сядем, робя, у канавки.

Кирша скинул с плеч котомку с хлебом и сел против окон дома.

Солнышко было уже высоко и припекало. Оголившаяся от снега земля подсыхала и прела. На дороге пурхались хлопотливые воробьи. Кама уносила последние, грязные чусовские льдины.

Ныне, как и всегда, уездная управа сдала перевоз через Каму в аренду купцу Жакову. Он заменил лодки и шитики паромом, который двигали лошади.

И вот усольские парни пришли к нему наниматься работать на паром до богородицина дня.

В доме проснулись, и слышно стало с улицы, как сам хозяин во дворе кашляет, зевает, отдувается. У калитки отодвинул кто-то засов, и парни вошли в нее.

— Здорово, хозяин, — развязно поздоровался Кирша.

— Здо... уф-уф... — степенно поклонился Данько.

— Здравствуй-ко, Модесто Харитонович-ты, — униженно улыбнулся и согнулся Мигун.

Жаков даже не обернулся. Он протирает глаза, с хрупом царапал брюхо и спину; уже направился к крыльцу, тогда произнес:

— Чего надо? На перевоз наймовать, видать? Неподходяще будет.

И ушел в дом.

— О-о-о! Уф-уф... — поразился Данько и чисто, крепко обругал хозяина вслед.

— Ох ты, тварь худая! Перминовский ты ночной урыльник! И баять не захотел! Неподходя-яще-е! — передразнил Кирша. — Пошли, робя, он сам за нами выйдет. Знаю я его повадку — цену сбавить метит, ей-бо-пра!

И верно. Едва парни вышли за калитку, как распахнулись створки в окне, высунулась красная, редковолосая голова Жакова, и заскрипел натужно высокий голос его:

— Куды вас понесло?

По кивку Кирши парни остановились.

— Ступайте на перевоз. Там доверенный заканчивает конопатку посудыны. Скажите ему — нанялись, мол, да робьте с завтрашнего же дня. Не стал бы я связываться с вами, да лошадей вы не шибко морите. А вот денег утаиваете помногу. Ну, да я найду на вас управу, зачешетесь!

И Жаков захлопнул створки. Судили-рядили всяко: какую хозяин положит цену без уговору? Но головы приклонить некуда, пошли на перевоз.

Мигун отчаливает паром и начинает продавать билеты. Деньги он берет, а кому всунет билет, кому-то и нет. Никто не придирается, понимают — жить человеку надо. При подъезде к мосткам Мигун приглядывается — нет ли там контроля: тогда торопливо всунет билеты тем, кому раньше забыл их дать.

Вот на мостках стоит доверенный, глядит на Мигуна.

— Али проверочку зачнешь? Я засовчик придержу! — дрогнувшим голосом спрашивает Мигун. А тот сердито орет:

— А провались ты с проверкой! Мети быстрее палубу, сам Жаков сейчас на ту сторону переправляться станет.

Въехав на паром, Жаков перекрестился и вылез из корбца. Мигун вьется перед ним, а Данько как будто и не видит хозяина.

А Кирша как раз подвернул к мосткам — круче некуда. Ка-ак хрястнет бортом! Кони с четырех ног чуть не свалились, а хозяин, доверенный и Мигун заскакали-закрутились, растянулись на палубе. Фуражка у Жакова, блестя козырьком, покатила по краю, да Мигун успел схватить ее, обдул, охлопал о себя, подал хозяину.

Ух и взъелся Жаков!

— Ты чего озорничаетшь? Я те!

— Что случилось? Дивоньки! Завсегда баско пристаает! — ахал Мигун. А Кирша лукаво виноватился:

— Пра слово, лошадь твоя, хозяин, виновата: глаз не мог оторвать от нее. Ну и лошадушка! Другой такой в нашем краю ни у кого нет. Поди, в шапку не сложишь, сколь денег за нее отвалено?

Жаков сразу остыл, засиял от похвалы, но не забыл этого случая при расчете.

Только с наступлением темноты прерывалась работа на пароме. Кирша разжигал огонь на берегу, готовил ужин. Мигун наскоро обметал палубу парома и торопился в Оханск за вином. Данько купал лошадей.

Кама днем широка, а ночью кажется и того шире. Она плещется — ласково гладит берег. Чудно пахнет водой, смолой, дымком.

На том берегу, ниже перевоза, горят костры: там стругают чугуны с барж и ревут проголосные песни.

Скрипят коростели, хором квакают лягушки. Но постепенно все смолкает. Только лошади хрустят овсом, да — ослаб канат — паром тихо бьет о борт причала, скрипит в уключине руль. Угомонились, не кусают и комары.

Вдруг ниже судна раздался всплеск. Что-то большое, грузное свалилось в воду, почудились стон и ох. Кирша сразу бросился туда, а Данько — к своим лошадям. Но лошади спокойно дремали, и он кинулся за Киршей.

— Куды вас лешак несет? — стуча зубами, пытался образумить их Мигун. — Сгинули парни ни за копейку! — сокрушался он и жался к костру.

Оказалось, что с берега в воду сорвалась лошадь со спутанными ногами.

Набирая в легкие воздух, Кирша не один раз погружался — распутывал от волосяной веревки ее ноги: спасибо, Данько удерживал лошадь за хвост.

Но вот она освободилась от пут, храпнула, заржала весело и стала выбираться на кручу. За костром лошадь повернула голову назад и остановила свой взгляд на Кирше. И долго так глядела, будто думала. Потом быстро подошла к Кирше вплоть и припала своим гривастым лбом к его груди.

Но вот начало светать, похолодело. Огни за Камой потускнели, за клубился и скоро все окутал туман. Заперекликались петухи, закричали где-то гуси, низко над водой пролетели криквы, прогромыхала по дороге телега. Туман не долгов в эту пору, красным шаром выкатилось солнце. В бору

поднялись тучи галок, защебетали всякие птахи. На умытом росой пароме машут хвостиками синички и прыгают воробьи. Стрижи острыми крылышками чиркают над водой и рябью, поверху сыпнула мелкая рыбешка. Потянул ветерок.

Данько поит лошадей и говорит с ними. Кирша смазывает вал и руль на пароме. Мигун опохмеляется. Неохота в такую рань рукой шевелить.

К парому скопился народ, подъехали обозы.

Так прокатила половина лета, а за работу парням Жакков еще ни одной копейки не заплатил. Его доверенный Назар Салтырь — а так его звали потому, что он до этого читал по покойникам псалтырь — не разговаривал с работниками, пока ему не давали на бутылку водки.

Неожиданный случай позволил Кирше переговорить с доверенным в выгодных обстоятельствах.

Пришел Салтырь на паром, стал осматривать его и не заметил — очутился между бортом парома и рукоятью руля.

Кирша оглянулся — посторонних никого, а своих можно не стесняться. И он прижал Салтыря рулем к борту так, что над тем матушка смертонька косу занесла.

— Как они, дела-те, катятся у тебя, любезной наш доверенной? — неторопливо вопрошал Кирша Салтыря, а тот ни охнуть, ни вздохнуть не мог. Кирша ослабил малость нажим, дал воздуху ему, продолжал: — А ведь мы с самой весны от вас платы за работу ни копейки не видали. Как ты об этом думаешь, господин доверенной? Поговори без бутылочки с нами.

Салтырь хрипел:

— Убе... ри... пу... сти...

— А, сам знаешь, нам тужее твоего достается.

— Нет... де... хозя...

— Жаль-жаль! — Кирша еще давнул. — Когда же можно ожидать и сколько?

— Пя... те... роч...

— Маловато-маловато, Салтырек!

— Де... де... сят... ку...

— А когда же?

— Се... се... дни же... пус... рад... бо... га...

— Ну и спасибочки тебе Бог не оставит твою доброту к нам. Да ни мур-мур! А то узенькое местечко везде найдется.

Дня за три до престольного праздника парни заявили доверенному о расчете. Была такая привычка и у богатых, и у бедных усоян: что бы ни было, но к празднику прибежать домой.

Явились парни к Жакову расчет получать. Стряпка Фетишка пошла в горницу доложить о них. Вернулась, сказала:

— Спит. Обождать придется.

Сентябрьский день не больно долог, поздно хозяин вышел во двор.

— Расчет бы нам, хозяин. Идти не близко, а уже темнеет, — обратился Кирша.

Жаков зевнул:

— Ладно.

На другой день скараулили хозяина на дворе. Опять сказал:

— Ладно.

Ждали полдня. Наконец доверенный вынес денежки.

— Григорью Коскову — два рубля. На и ступай отсель. Утаил много. Намедни тебе трешка давалась.

Мигун ойкнул:

— За всю пору — пятитку?!

— Данилу Коскову, как лошадей порядком наблюдал, пятнадцать рубликов. Ладно дело, ступай с богом.

Салтырь боязливо взглянул на Киршу: после того случая на пароме он испугался этого парня на всю жизнь.

— Кириллу Коскову ранее давалось пять рубликов. За починку кромки борта посудыны и мостков, от неумения легонько причаливать, удержать семь рублей, на руки — пять. На-кось, не прогневишь, а решил не я, сам Жаков.

Кирша вскипел:

— Не было починки! Давай сюда хозяина! — И начал бить кулаком по косяку двери. — Эй, хозяин, вылазь из гнезда!

— Али кто березовой каши захотел? — сбежал на крыльцо сам хозяин. — Да я тебя в полицию!

— А одна у тебя защита — исправник! А своей смекалки — вот сколь! — Кирша сунул к носу хозяина мизинец.

Жаков совсем обалдел, стал явную ерунду городить:

— И чем ты меня можешь обмануть? Капиталу лишить? Али чем хуже похваляешься?

— Умом своим! А на капиталы твои наплевать мне. Обману — не успеешь оглянуться!

Несмотря на всю грузность, Жаков бегом понесся наверх да сразу и возвратился.

— Вот, давай ломаться, кто кого обманет. Разнимите наши руки...

Доверенный развел руки спорщиков, и Жаков протянул Кирше вилку куриной грудки, держась за один ее конец.

— Если ты мне проиграешь, что с тебя, с такого, взять?

— Все лето напрок я стану робить на тебя, пусть — неплатно, — клятвою поднял руку Кирша.

— И я тебя, буяна, хлебом кормить не стану!

— Не бойсь, ног не протяну!

— А чего тебе надо? Денег у меня, парень, не много. Нету их, — заюлил купчина.

— Есть штучки почище грязных денег: совесть, честь и доброе имя. А этого у тебя не бывало. Не много можно с тебя взять. Проиграешь ты, понесешь меня на хребте своем через базар, трактом в деревню Усолье, к моей избе.

Все рты разинули. Жаков осоловело смотрел на Киршу.

— Унизить, значит, задумал? — закричал Жаков. — На-на, ломай!

Косточка хрустнула. Жаков помотал своей частью вилки у лба и опустил ее в карман жилетки, чтобы не забыться, не взять чего-либо из Киршиных рук.

А Кирша направился в дверь дома.

— Стой! Тебя туда не звали, — остановил его Жаков.

— К стряпке я, испить захотел.

— Я сам. Э-э, гулять так гулять — ничего не жаль! Эй, Фетишка, вынеси нам с парнем квасу! — разошелся Жаков, сам взял из рук прислуги жбан, подал его Кирше.

— Беру и помню, — зачурался Кирша.

— Ах ты! — досадовал хозяин. А Кирша глотнул чуть, крикнул да размахнулся жбаном — разбить его о землю вдребезги!

— Э-э, не смей! Свой наживи! — Жаков выхватил из рук Кирши жбан.

— Бери и помни! — крикнул Кирша и захохотал. Все захохотали. Жаков выронил из рук посудку, упал на колени, в ужасе взвыл:

— Го-осподи-батюшко, да минует мя чаша сия, возжгу неугасимую пред образом...

А Кирша уже залез к нему на плечи, переплел лапти на груди.

— Ну-у! Фью-ю!

— А может, мы и поладимся? Я бы синенькую... красненькую...

Да напрасно! Разве Кирша продаст за деньги удовольствие — на купце проехаться! Данько размахнул настежь ворота, бежал впереди, кричал, не заикался:

— Бит небитого несет! Волк лисицу волокет!

Только у Очер-реки дал Кирша напиться Жакову и въехал в деревню, лихо распевая:

Веселится беднота!
Кама матушка-река!
Обуздали кулака!
Заливает берега!

У своей избы он спрыгнул с купчины, который пытался еще отшучиваться:

— Полюбовно мы... Знаем друг дружку... Слово держу всегда...

Недосказал, свалился.

Никто не помнил такого торжества у людей.

К масляной неделе потеплело, посветлело, улица ожила — усояные устроили катушку с угора. С утра катались ребяташки, кто на чем, больше на своих боках, к вечеру сходилась молодежь, а там приваливали и мужики с бабами. Право, они были куда шумнее и шаловливее ребяташек — кучу малу устраивали.

— Ку-уча ма-ала-а!... — орали все и друг на друге, сплошным комом, неслись вниз с катушки.

Кирша стоял у ската и озорничал: ухватывал на ходу санки и лубы — сворачивал их в бок, в сугробы снега.

Полетели туда и Тимша Чайников с Марьяной Зарешной. Тимша драться почему-то не полез, зато Марьяшка накинулась на Киршу:

— Заплатник! На чем катаешься сам-то? На заплатах своих! А туда же — подыгрываешься! Попробуй еще, я те чем попадaю ожгу!

Но скоро смягчилась. Да и чем гордиться-то? У самой одежда не лучше Киршиной. И подошла.

— А у меня тоже санок-то нету. Ровня мы, Кирша.

На лице ее было чего-то такое, и Кирша пригласил:

— Давай на лубке скатимся!

Она пошла, но оговорилаь:

— Выкуп, смотри, не требуй! Не люблю я.

Она говорила неправду, Кирша сам видел: Тимша, как только скатит ее — обязательно целует. Ну, да ладно, чего раньше времени оговариваться: можно будет потом и без спросу-разрешения влепить хоть десяток поцелуев.

Скатились. Понравилось. Еще разок скатились, и Кирша нежно стал целовать Марьяшеньку в щеки. В губки не попадало потому, что она верещала и ругалась.

И тут налетел петухом Артем, отец Марьяши.

— Не смей сомущать мою девку! Не тебе вскормлена! Ребра переберу!

Угроза не страшна, брань не прильнет, а Марьяша беда по душе, и Кирша намеревался отойти, не цапаться с крикуном, да увидала это дело матушка и вступилась:

— Это ты, Артюха, кому смеешь кулаками грозить? Я тебе, нечистый дух, за Киршу глаза выколупаю! — Александра кинулась к Артему, но он успел пятками назад в толпу задвинуться.

Кирша полюбил Марьяшу. Она держала себя с ним ни то, ни се, встречалась, но только на глазах у людей.

— Ты, Кирша, славной парень. Все было бы ладно, да видишь сам, — намекала на бедность, грустно качала головой и на свиданье за демахинский тын не шла: там бы можно было попытаться привязать ее к себе потуже.

А вот с Тимшей она гуляла везде без стеснения, и отец ее как будто этого не замечал.

Никогда еще Кирша у кулаков своей деревни не батрачил, все работал на стороне — меньше униженья. Но этой весной он пошел к Сатане, потому что и Марьяша нанялась к нему.

Люди подсмеивались, а сам Кирша не замечал, как здорово его Марьяша обузда. Работал он за себя и за нее.

Сатана кормил батраков — хуже некуда. Изю дня в день варился суп трататуй — по краям картошка, в середину хоть плюй. Выйдет из-за стола зазнобушка и заноеет:

— Ой, я голоднешенька! Ноженьки не носят, рученьки не поднимаются!

Да так взглянет на Киршу, что тот готов из кожи вылезти, а достать еду. Он уделял ей свой пай, у снох Сатаны таскал мясо, шаньги, яйца, пироги, подкармливал любимую.

Один раз Кирше было повезло. Он уловил момент, усадил в огороде под тыном Марьяшечку с собой рядышком, прижал сладко. Да Артем и тут их углядел. В страшном гневе

заскочил он на тын, но, слава богу, тын подломился, повалился. Артем перелетел через Киршу и дочку свою, и те убежали.

Ну, отец — ладно! А чего надо проклятому Сатане? Но и он не давал им работать рядом, а за столом — садиться вместе. Тут уж Кирша никак не мог стерпеть.

— А что, Алексей Семенович, не ладно про тебя бают люди? Жаль мне тебя, и решил я упредить от неприятности, — ласковым голосом начал Кирша.

— Ты? Меня? Упредить? Кака така грозит мне неприятность? Врешь ты, худой человек! Батога отведать захотел? — уставился на него Сатана.

— Вот я им и баю — не может, мол, того быть, чтобы такой проходимец маху дал. Да нет, своими ушами слышал! Говори спасибо.

— За что спасибо-то? Говори немедленно!

— Да ведь паршиво оборачивается дело-то. За ту самую полосу земли у Очера, кою ты оттягал у Игнашки Топанка да и засеял себе, старшина волостной Лука Иванович самолично подал жалобу на тебя в Оханск и в Пермь. Ты ему поперек дороги встал. Ну и бумагу прислали: вернуть полосу Игнашке, урожай тоже отобрать у тебя в казну, а самого нещадно плетями лупцевать! — Кирша зажмурился от ужаса. А Сатана как свихнулся:

— Да я ему горло переем! Да я сейчас же сам в Острожку! И баять с ним не стану, а звездану батогом в плешь! Эй, Иванко, нуздай Карьку!

Смеялись после: дважды Сатана вздымал батог на старшину, а бранью облил его, что помоями. Только поп Сиволоб как-то умягчил гнев Луки Ивановича — не доводить дело до суда, и Сатана за оскорбление власти отделался штрафом в сотню рублей.

Наконец сердце у Марьяши, видно, отмякло и повернулось к Кирше круто. Целый вечер они бродили по угорам и логам, жали руки друг другу, обнимались неединова даже. Никто Марьяшу на обещанья за язык не тянул, но договорились клятвенно: Кирша за лето и первоосенок натужится заработать больше денег, а к промежговенью поторопится домой, и они сыграют свадьбу.

Ног не чуя, Кирша убежал в Нытву, когда еще хлеба в трубку не вышли и домой ни на сенокос, ни на праздник

не показался. Недоедал, недопивал, кряхтел-пыжился и ко времени девять рубликов скопил. Купил, кроме того, ситчику Марьяшеньке да и своей матушке на кофты. Не забыл он и малосолы на пирог, чаю-сахару к столу.

Бежал назад — таково торопился — у новехоньких лаптей носки спинал. Но только обопнул о порог своей избы, матушка как обухом по лбу хлобыстнула:

— Зажми свое сердечушко! Марьяшка-то, беспутная, хвостом вильнула и Тимше слово дала. А Тимша тоже и рад отделаться от нее, поиграл — и ладно. Беременна Марьяшка-то...

Голова у Кирши кругом пошла, пол ходуном заходил. Нездоровому не снести бы экую оказию. Тем же оборотом понесся он к любимой.

— Ну как, Марьяшенька, ты? А я вот весь тут! Давай, милая, когда под венец-то?

— Нету мне дороженьки, горе-горькой... — запричитала она.

— Знаю я все, как обманули тебя, — успокаивал Кирша. — И дите твоё будет не котенок, любить стану его, как и тебя, крепко-накрепко! Житейское дело, и я не сержусь.

А отец ее и теперь не кается, форс не сбавляет:

— Гляди, Марьяшка, не смени сокола на воробья!

И еще раз Марьяшка посулилась, шепнула:

— В эту же пору, завтра жди меня у Подскопинской горы. Сбегу! Ты только и надежа!

И еще раз парень загорелся думой: как они жизнь устраивать станут?

Но опять не дождался он Марьяши. Правда ли, нет ли, как теперь и верить-то! Будто бы и тут доглядел ее отец, застрашал, и не смогла она выпорхнуть из дому.

На пасхе у пожарки плясали, хоровод водили, а молодежь затеяла борьбу. И всех перебороли Тимша и Кирша, осталось только им самим схватиться. Народ подзадоривал:

— К одной девке ходили, а которой могутнее — не знаем!

— Дай-ко ему, Тимоха! Тряхни за нас за всех!

— Не трусь, наша! Отплати, Кирша, за Марьяшку и за себя!

Кирша чуял недобрый азарт у Тимши, не хотел схватки, задвигался в толпу. Но тот уже облапил его, тянул на средину. Кирша подвернул его под себя. Закричал, застонал Тимша — сломал правое предплечье.

Поднялся скандал. Мужики разделились, готовились к бою. Лавочник Захарша подзуживал:

— Эй, Полома! Подбей шары деревне!

Сатана поджигал:

— Смеху ради, деревня, добудь зубы Поломе!

Пьяных было много, и дело оборачивалось не на шутку худо.

И вдруг выступил сам Чайников Харитон Самойлович:

— Стой, народ! Борьбежка — дело любовное. И мы молодыми тягались, ребра трещали, но не враждовали. И у сына моего кость молодая — срастется!

Все поразились поведению отца Тимохи, недоброго человека, ярого любителя драк и ненавидящего Киршу.

Через неделю Кирша собрался на работу куда-нибудь. Против своего дома его перехватил Харитон Самойлович.

— Далеко ли пошagal, молодец?

— Да куда ноги выведут. Дома делать нечего.

— Напрасно бедняешься! Рази у тебя суседей добрых нет? К примеру молвить, мы? Али поклониться — шея не гнется? Брось-ко! Передумал я: полоса твоя — пусть твоей и останется. Бери, запрягай мою лошадь, вози назем, а там и паши, да и семена дам, на доброе здоровье.

Не объяснить, как взволновал Киршу такой оборот дела! Если бы кто знал, до чего тяжело брести куда-то, искать работу! Как мило душе возить назем на свою полосу, пахать, сеять. Но откуда появилось к нему столь много доброты у этого скареда?

И тут же заскребли сердце все обиды от Чайниковых и ему, и Марьяше.

— Благодарю покорно! — Кирша приподнял шляпу и зашагал дальше.

Возвратился он домой после бабьего лета. Наговорившись, сел с матушкой за стол. Вошел в избу Харитон Самойлович, чего сроду не бывало, да и с вином.

— Хоть и мазали мы дохтуров, чтобы они руку Тиме сложили покривее, да она, как назло, добром срослась, и надо ему идти в солдаты. Не один он сын у нас, а все равно от такой домашности нам его отпускать неохота.

Так вот оно в чем дело! Вот почему Чайников стал таким добрым. А Харитон стал упрашивать:

— Взялся бы ты, Кирилл Матвеевич, сходить на службу за сына, а? Ничего бы нам не жаль. Любить бы тебя стали,

как родного. Полосу назад, корову, зерно, да и лошадь — на!

Кирша даже не задумался:

— Нет!

Он усыновил себя по закону матушке Александре, и ему, как единственному кормильцу и работнику в хозяйстве, военная служба не угрожала.

Вечером он побежал к Марьяшке. Теплилась у него надежда получить ответ, вроде такой ласки: «На кого, мол, меня, лешак, покидаешь? Как, мол, я без тебя, окайнного, жить-то стану?»

Но не дождался он такой радости, получил резкую пряминку.

— Оба мы — голь-шмоль, и мне будет не жизнь с тобой. Дикая я была — поддавалась на уговоры и того, который был мне неровней. Теперь одумалась, и оба вы с Тимшей хуже мне горькой редьки. Стану одна век коротать, никоторой из вас меня не обуздает.

Уж совсем неожиданно на другое утро пришел, не кто-нибудь, а сам Алексей Семенович Сатана и с угощением. И начал разговор — как блин в масло махнул:

— С приездом, Кирилл Матвеевич! Как о родном, обрадел я о твоём приезде! Пра-ей-бо! Здоровье-то хорошее ли? А то ведь в городе-то нету жалости к людям.

Кирша с матушкой развеселились от столь выпренного подхода Сатаны и ответили в голос:

— Здорово живешь, Алексей Семенович.

А Сатана продолжал:

— Ох, и добрая у тебя хозяйка! Гли, сколь чисто-баско! Огородом ее я завсегда люблюсь. И раньше я никому не давал про нее худого слова вымолвить. Сердце мое к ней как-то прилегал. А вот я к тебе пришел в ножки поклониться: не обездожь нас — согласишься за внучонка Иванка в службу сходить, а?

Матушка заплакала, ушла на середу. Кирша молчал: после вчерашней встречи с Марьяшкой на душе у него было безразличие ко всему. Сатана придвинулся, поставил на стол вино, вывернул из тряпицы баранью ляжку.

— Слышал я, Харитонша приходил к тебе за тем же. Худой он человек, последний! Никто же от меня не ревел, а от него вся деревня стонет. И матушка-земля носит таких! — Сатана плюнул, перекрестился и продолжал уговаривать: — Не горюй, Кирилл Матвеевич, твою полосу возь-

мусь я обрабатывать. Матушке твоей — корова, свинка да и хлеб. Вернешься ты, четыре года — не великое место, любого коня у меня запряжешь, в телегу — по скусу, хлеба в нее навалишь — сколь мога. — Сатана пристально уставился на Киршу да вдруг задел самое больное место: — Слышь-ко, сынок: поправиться-то тебе надо же когда-либо в жизни? Вот и становись на ноги! Я тебе всем подсоблю! — Он воздел руки к иконе. — Да будь я проклят отныне и во веки веков, если увильну от своих словес! Ползать мне на четвереньках, яко псу смердному, если не исполню чего обещал. Да брякнет меня моланья одночасно, если я кривлю душой — не дам тебе подняться из назьма в люди!

Не только матушке, но и Кирше стало страшно от такой клятвы Сатаны.

Да, как-то надо становиться на ноги! Ни на какой работе в достатке денег на покупку земли не заработаешь. С одной надельной полосой — не жизнь, сыт никогда не будешь.

А Сатана, как сатана, почуял — Кирша в думу впал, ударил без промаха:

— А хочешь, на ту полосу, на низине, купчую на твое имя сотворю? На бумаге, без обману! Хочешь? Завтра же катнем на лошади в Оханск. Полдесятины — на!

Чего говорить, как у Кирши закружилась голова.

Вся деревня собралась провожать новобранцев: дружно заревели рекрутскую. Мужики с парнями запросили:

Мать наша родима,
На что на горе родила?
Во солдатушки да снарядила?

Бабы с девками со слезами, рыданиями ответили:

Мне большого-то да сына жалко.
Мне середняго-то да неохота.
У меня третий сынок да маленек,
Умом-разумом да еще глупенек.

И разнеслось по деревне как стон:

Во саду-то стоит да крушина,
Коя меня, ой меня да сокрушила!
Милаго сыночка, ой, лишила!..

Кирша обнял матушку, нахлобучил шляпу, повернулся к порогу, а ему навстречу ступила в избу Акулина, жена лавочника Захарши.

— А ты не подумал, что я не в игрушки играла с тобой, — любила тебя?

Кирша искренне ответил:

— В уме не держал. — И сухо добавил: — Мало ли чего бывает. Не обидел тебя. Мужева жена.

— Так оно по закону. А вот сердце к тебе прильнуло.

Акулина рыдала, а Кирша думал совсем не о ней: «Поправлюсь, стану на ноги, тогда Марьяшенька иное запоем», — и сгрубил:

— Не мочи-ко глаза. Кто ты мне такая?

— Ну да, никто. Да напрасно ты так легонько обо мне думаешь. Возьми вот, сгодится там...

Он оттолкнул ее руку с деньгами.

— Вот уж это обида!

— Ну, не сердись! Не помни лихом, милой мой... стану ждать тебя...

— Не трать понапрасну времечко.

— Давай поцелуемся?

Акулина прижалась к Кирше. А он тосковал о другой: горе Акулины казалось простой придурью. И в солдатах Кирша не вспоминал про нее.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Миновали четыре долгих года. Кирша отбыл службу, зачислили его в ратники второго разряда, снабдили для благочестия евангелием и отпустили домой.

В Оханске на базаре он встретил Матюгу и щелкнул каблуками:

— Здравия желаю, Матвей Власович!

— А-а, солдатушко! Домой, по чистой, видно? — обрадовался Матюга, и они обнялись.

— Сколь тыц отшагал, уломал ноги-то? Айда в мою телегу, — пригласил Матюга. Он постарел, согнулся и был невесел.

— Здоров ли ты, Матвей Власович? — спросил Кирша. У него вертелось на языке задать вопрос про матушку, но удержался сразу-то. А Матюга открыл душу:

— На здоровье бы не пожаловался, слава богу. Мог бы еще землю воротить. Две полосы своих заимел! Да ведь чего поделаешь? Сыновья мои оба нашли постоянные места, отшатились от домашности. Да и то сказать: чего она, наша земля? Не мать родная, если размыслить: не поит, не кормит досыта. Ну, а старуха моя... с тоски-то... и преставилась... — У Матюги скривились губы, слезы горошинами покатались по бороде.

Сочувственно помолчал Кирша, но не вытерпел:

— А как-то моя матушка бьется?

Матюга осекся, закашлялся.

— У тебя, Кирилл Матвеевич, все было бы ладно, да матушка Александра, царство ей небесное, не дождалась... а беда ждала...

Кирша состонал.

— Схоронил я, больно ты любил ее, рядышком с родной матерью...

И, переменив тон, Матюга с сердцем стал рассказывать про все мытарства Александры, про то, как все годы Киршины полосы оставались пустопорожними...

Целый день Кирша горевал на могилах своих матерей:

— Глядите на меня, милые, и справедливо укоряйте: вон сколь я силен, сын ваш, а оборонить, прокормить не смог. Но встряхнулся.

Жить надо!

— Здравия желаю, милая! Не сказывай, как живешь-можешь, все знаю я. Эти и есть твои мальчишечко и девчущечка? Баские! Дозволь мне на коленях поддержать их. Ах вы, голубочки мои сизые...

Марьяшка же до того едко съехидничала, что у Кирши все нутро перевернулось:

— Твой? Откуда такой батюшко им объявился?

— Станут мои и дороже того будут: как своя кровь — одно и то же. И ты брось страдать, айда ко мне. Докажем всем: скотим семью любезную наперекор нужде и горестям. Ну их к лешакам — нужду и горе! Хорошо живут те, кто их не признает и не боится: а там и довольство с хлебом заводятся, — с жаром говорил Кирша. А Марьяшка руками всплеснула:

— Да неужто я с таким прибытком, держанная, нужна еще тебе? Плюнь-ко ты на меня! За тебя любая девка пойдет.

Кирша не знал, что и говорить больше. Или она бесчувственная какая? Стоит, смеется и руки сложила на груди. Ну, хоть бы ей хны! Темна душа человеческая!

Он нахмурился и стал засучивать рукава.

— Слышь-ко, Марьяшка! Не задавайся! Видишь ты мои кулаки? Я тебя изобью, окаянину, ей-бо-пра! Живо увязывай котомку, собирай свои шундры-мундры немедленно! Четыре года я маялся, кровь лил, — да тебя не возьму? Ребра тебе переставлю по-новому, башку назад заверну, а моя будешь ты!

При виде поднятых кулаков ребятишки заревели, и Кирша осекся. А Марьяна? Упала головой на стол, залилась смехом.

— И так и сяк, добром и худом зовет жить. А куда? К чему? Вернулся со службы — в клетки сор да мышиные зерна. Хватит ли их-то на квашню? Чего есть-то станем? Как в солдатской же сказке — топор варить? — сквозь смех говорила она.

— Неправда, Марьяша. Полоса надельная у меня есть? Есть! Да твоего мальчонка усыновлю — еще полосу прирежут. Сатана должен дать мне лошадь, телегу, зерна сколь в ту телегу уместится. Весной посеем, хлеб соберем — корову приведем. Зиму и лето я в городе стану робить — считай, опять денежки. Огород большой у нас. Можно ли не жить? — Перечисляя все блага, Кирша и пальцы загибал.

Марьяшка отрезала:

— Вот что, женишок: голодать что здесь, что у тебя — одно и то же. Не стану я жизнь тебе завешивать: у меня хвост длинной, а у тебя все ворота открыты. Какая такая любовь без хлеба-соли в запасе?

2

Сатана вытарашил глаза, как умел только он один их вытаращивать.

— Лошадь тебе? Телегу? Зерна в нее навалить? В солдатах был, а ума не нажил! А кто и чем за твои полосы налог платил? Все сполна я выплатил тебе. Стыда нет — пристаешь с ножом к горлу. Зерна мешок, уж так и быть, выкину еще.

У Кирши в глазах потемнело, но он сдержал злость. В голове тельмешилось: «Держись, Кирша! Отплатить за четыре года, за весь обман надо!»

За воротами он оперся плечом о палисадник, дал волю горечи и гневу.

— Вот так поставил Сатана меня на ноги! Умной он и хитрой, а я оказался дурак! Но что же делать? Спалить его домину и хлеб? Нет! Осудят добрые люди. Убить? Противно душе моей. Избить? Мало.

Позади щелкнул затвор у калитки, и на улицу вышел Иванко, за которого Кирша отбывал солдатчину.

— Ты чего, солдат, у наших ворот торчишь? Кого тут поджидаешь? — спросил он, а сам еле на ногах держался. — Али с дороги сбился? Так я те укажу...

Кирша свету не взвидел — резнул Иванка по морде. Тот упал на землю, но сразу вскочил, рыднул:

— Б-бей! Не жаль...

От омерзенья Кирша пятился, думал сам убежать, да неожиданно схватил его за рукав Захарша.

— Реши его, служивой! Вот на! Р-раз — и вся! Отплати изуверову отrostку! Никого не видно, а я не свидетель. На-на! — совал он нож Кирше в руку. Тот выхватил у лавочника нож, закинул его в огород.

— Ах ты, вражина! Моей рукой и его, и меня задумал с дороги убрать?

Акулина айкнула и выбежала из-за прилавка. Из глаз ее покатались слезы.

— Дорогой ты мой! Давай скорее поцелуемся!

Она раздобрела и стала еще красивее.

— А я-то, бедная, чистехонько высохла по тебе! Сналишилась, кусок в глотку не катится!

Кирша рассмеялся:

— Не бай! Сухарь сухарем стала, бедная солдаточка!

Акулина прижалась к нему.

— Перед богом и перед совестью ты — мой муж. Ты — не вертоголовой, не станешь меня менять на другую. Хочешь — деньги возьму у старика, нет — так приду.

— И давно тебе это в голову пало? — с удивленьем произнес Кирша.

— Ой, давно уже! Чем я хуже продажной Марьяшки, что ты мною брезгуешь?

— Не дури, Акуля! — грубо ответил он. — Ты — чужая баба. И на что тебя? Ты — кулацкая душа, и не пара ты мне никакая.

— Напрасно ты! — Акулина заплакала. — Я — проданная, а ты — купленный, и оба — обманутые, вот и ровня мы. — Она вытерла глаза. — Ладно! Не стану кукситься, а буду ждать, такова моя юдоль. Вольной ты, Киршенька, а все равно — мой будешь! Сколько ты ни мотайся — третьей матушки не сыщешь, второй Марьяшки не полюбишь. Давай поцелуемся!

3

Жизнь год от года становилась все тяжелее и тяжелее. Когда графские наследники перестали сдавать крестьянам свою землю на прежних условиях, заново перемеряли и перерезали полосы, многие семьи обеднели, разорились. Как назло, после двух лет урожайных второй год хлеб опять не родился.

Работники наймовались кулаками за одну кормежку, и люди разбежались кто куда.

Зимой десяток мужиков нанялись в лесничество заготавливать дрова для уездной управы. Уже месяц они жили в курене в сырых, земляных балаганах, ели хлеб с древесной корой, чаю совсем не было, а вересковые ягоды, крушина и черемуховые листья опротивели до лихоты. Вода из растопленного снега была чересчур мягка, слашавая, не утоляла жажды, и ее перестали кипятить, пили чуть согретую, а это сламывало силы и дух хуже всего. Временами мужики отчаивались до того, что теряли надежду увидеть снова в жизни чего-либо доброе, человеческое. Сколько раз порывались они бросить эту работу и, не дожидаясь расчета, бежать домой.

Мужики беспрерывно ругались, проклинали все на свете.

— Вот, робя, какой нам новый век наступил! А какой же он новый, если хуже старого. Я понимаю: новый век тогда станет новым, когда нам земли прирезу будет — живи, мужик, да радуйся! — с горечью говорил Сенька Ларькин.

— А кто его выдумал, новый-то век? Того бы, окайного, вниз башкой, да без штанов, в прорубь до тех пор — пока сосулькой станет, — ругался и Фенька Алилуйя. Так его

прозвали за то, что он, совсем не зная молитв, ни с того ни с сего иногда задира́л бороду вверх и пел благим голосом:

— Алилуйя-алилуя, слава те, господи!

Над ним смеялись, его ругали за это, но как невозможно запретить петуху петть в свое время ку-ка-ре-ку, так и Фоньку не могли отучить от этой привычки.

Кирша всяко старался отвлечь мужиков от горьких дум и закончить подряд в лесу.

— Сами с руками, подымайсь, робя! Станем кончать работушку немилую, да необходимую.

И мужики закончили подряд, десять раз пересчитали, а считать-то было просто: три саженьки — куб. Двести сорок кубиков, милых, как солдатиков, выстроились в ряд. Заработали сто двадцать рубликов, по двенадцать на брата — можно радоваться!

Но помощник лесничего сказал:

— Скоро управились, а навверное, недостача будет, чует мое сердце. Вы завсегда с хитростью!

Достал он складыш-саженку из кармана и начал обмеривать кубы дров. Мужики посмеивались над недоверием господина помощника, глаз не спускали с него. Он ткнул пальцем в кубы дров, нахмурился, проговорил строго:

— Так и есть — мало! Всего только двести шестнадцать кубов у вас.

Мужики от ума отстали.

— Да вы просчитались! Двести сорок у нас, вот перед глазами! — доказывали они. А тот достал книжечку, потряс ею:

— На что тут глаза! Вот новая инструкция, по которой принимаются дрова. У вас крестьянская укладка, и надо принимать ее по-казенному — десять процентиков долой. Улежатся, выветрятся дрова и станет их меньше. Если недовольны, я могу за ваш счет вызвать комиссию, но до тех пор задержу расчет.

— Алилуя-алилуя, слава те, господи! — задрал бороду Фонька.

— Почему же нам такие условия не втолмили поначалу? — не могли успокоиться мужики.

— А раз вы сами молчали, значит, знали. Кто обязан за вас думать, позвольте спросить? — отвечал помощник.

Что тут делать? Деньги нужны немедленно, комиссия когда-то соберется и стоит она будет не меньше полсотни рублей. Да и разве она рассудит иначе, чем помощник лес-

ничего? Хоть стой, хоть падай, а жаловаться некому. И ждать невою, руки-ноги дрожат, жрать охота. Приходится брать что дают — так решили мужики. Кирша им поддакнул:

— Везде она водится и живет такая животная, которая, где ей надо, умолчит, а где надо — и хвостом вильнет. Зовут ее хоть где одинаково — хитрость. Когда ее меряют по шерсти — длина семь вершков, но попробуют против — пять едва выходит, а то и того меньше.

Отсчитав деньги, помощник объявил:

— У кого есть лошадь — принимайтесь возить дрова на склад. Опять вам — по полтинке за куб. Нечего бога гневить.

4

В избе было выскоблено и вымыто с дресвой. Вся рухлядь была на месте. От печи несло теплом и запахом варева. Вбежала Акулина.

— Вернулся, Киршенька! Весь ты измаялся! Здоров ли? Давай поцелуемся! — Она захлопотала у печи и пригласила: — Ешь, милочек, отогревайся. Давай еще поцелуемся.

И Кирша закричал:

— Ты чего это шутка шуткой, а на самом деле въехала, не спрося, и хозяйничаешь?

— Не ори давай. Пробуй, с солью ли? — весело ответила Акулина.

— Не хочу я есть Захаркины харчи! — Кирша отодвинул чашу.

— Это мои харчи. Я ведь роблю. Не бесись, привыкай, я в своих правах, и ты кулаками меня не вытуришь. Давай поцелуемся. — И придвинула к нему чашу.

Но Кирша не хотел целоваться и вообще не знал, чего он хотел и чего ему делать. Он чуял, что она чем-то одолевает его, а он не может прийти ни к какому решению. Он проклинал себя за свою нерешительность, думал и не заметил, как стал есть.

Он весь отмяк, и стало ему хорошо, как не бывало и при матушках. В ложку угодил длинный волос: чей? Конечно, Акулин!

— Эх, если бы Марьяшечкин! — умилился Кирша и любовно снял волос на стол.

Колокольчиком рассыпалась в смешке Акулина:

— Загадала я: кинешь волос сердито — не любишь меня, а ты ласково на стол его — любишь! А молчишь — знаю о чем беспокоишься: надо опять собираться в город на заработки.

— Проваливай к своему старику, он тоже есть хочет.

Акулина радостно захлопала в ладоши.

— Неужто приревновал? Неужто укололо? Давай поцелуемся! И слушай, худо не посоветую. Заезжал в лавку помощник лесничего, предлагал Захару взять подряд — возить дрова в Оханск. Лошади обе хорошие, зря корм едят. Надо только работника нанять. Захар ни то ни се. Вот ты и возьми. И дома будешь, и со мной.

Кирша вскипел:

— В батраки к своему лавочнику приставляешь? Да пойми, куда ты меня тянешь! Если бы ты была беднячка, как и я, айда — живи, слов нет. Но я не хочу, чтобы кто-нибудь упрекнул меня: вон Кирша через бабу кормится.

Тут Акулина опять давай зубы скалить:

— Гляди вся деревня: Киршеньку-мальчишечку, слабенького да худенького, злая баба Акулина связала по рукам и по ногам, доедает его!

Он схватил ее за воротник и вывел из избы. Она радовалась:

— Скоро бить почнет! Любить zaczynaет, пра-ей-богу! Давай поцелуемся!

А на другой день Акулина въехала во двор Кирши на двух лошадях, запряженных в сани.

— Вот тебе, Киршенька, работай на здоровье!

— Света меня с ума! — И Кирша турнул Акулину в сугроб.

— Ну вот и все как у людей! И пуще бей, я все изношу. Говорила, полюбишь — так и есть. А сено, Киршенька, бери прямо в зародке...

— Провались ты...

— За овсом к лавке подъезжай. Ну, с богом! Давай поцелуемся...

От проливных дождей и сразу за ними жаркого солнца оханская земля залудела. Хлеб не уродился. Перемаявшись зиму, усольские мужики, человек двадцать, пошли ранней

весной искать работу на стороне. Трактором они брели в Пермь, а были так худы, что за день больше тридцати верст пройти не могли. Кое-кто недотянул, остался по дороге. Хлеб, испеченный с соломой, доели в первый же день. Просить было не у кого — все деревни кругом голодали.

Много лет спустя те мужики сами удивлялись:

— И как мы тогда до городу дошли? Чем кормились-то?

— Да Киршинными прибаутками!

И верно. Вспоминали мужики, как говорил им Кирша:

— Потерпи, робя, вон город видать, там я вас кренделями накормлю, ей-бо-пра! И работу добудем. Только не скисните, живы будем.

И начинал рассказывать с ходу:

— Да рази это голод? Вторые сутки! Раз вот сам царь голодал. Да со всей семьей. Да целую неделю! Проснулась царица утром, самовар поставила, а к чаю хлеба нет. Царь не поверил ей, рассердился.

— Не ври, говорит, царица. Не зли меня. Мне и так нездоровится, поясница болит. Погляди в клетки как следует.

Та божится, крестится:

— Пра-ей-бо, говорит, царюшко-батюшко, нету хлеба и нету.

«Как так? — думает царь. — Неужели я себе и хлеба не запас нисколько?»

Сели они за стол пить чаек китайский с медом-сахаром одним, без хлебушка. А детишки ревут, хлеба им надо, мед-сахар в руки не берут, отталкивают.

Пришли министры с докладом. Царь на них не смотрит, задумался, головунку на руки опер. Как, думает, хлеба достать? Просить-то у купцов да у министров он не хочет и не может по своему царскому величию и благородству. Должны они сами за тем следить и хлеб доставлять царю сколь надо и вовремя.

Скашляли министры, царь голову поднял да как ухнет на них:

— Не лезьте ко мне, я еще не ел сегодня! И хлеба у меня нету!

Не поверили ему министры, поклонились и ушли, не стали на досаду лезть.

Прошло еще сколько-то дней. Царь боится и домой идти. Ребята ревут, царица ругается. Унеси лешак и с жизнью такой!

И пошел раз утречком царь сам на базар — хлеба купить. Взынул воротник повыше, натянул шапку на брови и выбрался из дворца задними дверями. Идет по улице, и вдруг из одного дома хлебным запахом поднесло. А жил тут богатый купец, и утречком он за хлеб-соль садился.

— Здравствуй, почтенной, — промолвил царь. — Пошел я поглядеть сам: как подданные — сытно ли живут?

Испугался купец и велел со стола хлеб-соль убрать, а оставить только меда-сахары одни.

Закричал царь с досады:

— Эй ты, купчина толстобрюхий! Не знаешь ты народную нужду и голод!

Вот он выбежал на улицу и побрел, а сам озирается, где бы хлеба купить. Весь базар исходил — не нашел. Уж на обратном пути мужик ему попался, а за пазухой у него краюха хлеба торчит.

— Эй! — остановил царь мужика. — Что хочешь возьми, продай мне краюху! Есть беда хочу, и жена с ребятишками голодные. И никто мне не верит!

Ну, мужику податься некуда.

— На краюху, ешь! Да уж раз такое дело, домой сгоняю. Есть у меня два пуда муки, доведется один пуд тебе привезти.

Царь краюху домой принес, поел, семью накормил. А тут мужик муку привез. Царица обрадела, квашню месит, хлеб печет. Увидели это министры и купцы и забеспокоились, что маху дали: как бы, дескать, царя с мужиком не стакнуть. И привезли они царю хлеба целые воза.

Царю-то батюшке с министрами да купцами ссориться не гоже: ему с ними сподручнее. Вот и задал он им пир горой. С мужиком же вalandаться не подходит, ну да и оттолкнуть-то сразу совесть убивает. И говорит царь мужику:

— Хотел я испытать только всех и тебя, а хлеба у меня — амбары ломятся. А за то, что ты мне отдал краюху хлеба, не пожалел да пуд муки привез, даю я тебе хлеба целый мешок.

Пал мужик на колени перед царем и говорит в ответ:

— Спасибо, царь-батюшко. А чтобы ни тебе, ни мне больше не голодать и нужды в хлебе не иметь, стану я каждую весну тебе такую же краюху хлеба приносить. Как увидят меня министры да купцы, не захотят к тебе допустить и снова навезут тебе хлеба полные амбары.

Обидно показалось царю.

— Царствую-царствую, а стану ждать мужика с краюхой хлеба! Где это видано? — топнул он ногой да и распорядился: — Услать мужика за Урал-хребет да подале, чтоб глаза не мозолил. Миловать его кажинный год такой краюхой, а остальное отбирать, ко мне в амбар доставлять.

Сердце разрывается, как сам батюшко-царь бился, голодал, пока не надоумился, где и как, у кого хлеб взять...

А вы, шалопутные, одной неделки без еды не терпите!

У всех Кириных приятелей животы подвело от голода, а они смеялись и потешались над царем и к вечеру добрались до города.

Ну, а теперь где бы работу хоть какую добыть?

На счастье, два дня кряду снег валил. Намело его с крышами наравне. Лавочники и домовладельцы поневоле взяли мужиков, и они с утра до вечера лопатами махали.

А Кириша с одним дружкой пошел в знакомую крендельную пекарню Мальцева. Мало находилось охотников месить тугое тесто руками. Да и Мальцев от скупости больше одного-двух человек не держал никогда. Кирише нужен был хороший припек, чтобы накормить голодных приятелей, и он пошел на хитрость.

Дождавшись ухода хозяина, Кириша со своим дружкой разулись и утоптали тесто ногами, да так, что Мальцев утром был доволен и кренделями, и припеком:

— Сам бы ел, да деньги надо.

Хозяин потирал руки, а Кириша накормил усолян кренделями досыта.

Но скоро Мальцев узнал о проделке Кириши и хотя не прогнал его, даже похвалил, но убавил плату до того, что и сам Кириша на ней не мог прокормиться.

Усоляне, убрав снег на дворах и дорогах, остались тоже без работы.

Два дня бродили они по городу, туго подтянув опояски животы.

— Эх, еще бы разок поел таких крендельков — да и умер бы!

— Кабы мне бы сто рублей...

— Да хоть бы день один в богатстве прожить...

— Пусть бы не богато, да сыто.

Слушал, слушал их Кириша и рассказал такую историю:

— Сами не знаете, робя, как бы с богатством справились, если бы оно к вам привалило. Жизнь наша из земли,

как травка, выперла и к солнышку тянется, и много ей тепла надо. А как привалит тепло — сушить начнет, вода нужна, и никто никогда доволен не бывает.

Ходил по нашим деревням нищий Серьга Лывенский. Долго он в своей жизни костоломил по чести-по совести, да не смог стать на ноги: надломил силу, заморил семью. Потерявши надежду на себя, возложил ее на бога да на лешака — стал под окнами куски просить. Не в натуре человеческой чужой хлеб есть, и наказывает природа таких людей жестоко. Скоро обленился Серьга до того, что, когда привалило ему богатство, он ему не рад стал. А было это вот как.

Однажды он рыбу удил и вдруг вытащил ерша. Обрадовался Серьга, снял ерша с крючка, а ерш ему человеческим голосом сказал:

— Брось меня, Серьга, обратно в Очер-реку. А за это я тебе что хошь дам.

Опешил Серьга да только и попросил, что ему брюхо подсказало:

— Ступай ерш, раз так, да вместо себя насади мне на крюк настоящих ершей. Есть хочу.

Булькнул ерш в воде, и первые круги еще не потухли на реке, как стало клевать. Ерш за ершом. Сварил Серьга уху, наелся, разомлел и собрался только заснуть, как подошла к нему нищенка — таборская Голубиха.

— Ой, Серьга, пошто у те брюхо большое, чего ты так наелся?

— А мне, — отвечает Серьга, — ерш попал и обратно в Очер отпросился. Да других ершей мне на крючок насадил. Я уху сварил жирную, вот и наелся.

Всплеснула руками Голубиха.

— Дурак ты, Серьга! Ты бы денег просил у него, дом бы, скотину бы! Вот мы бы и зажили!

— Да есть я в ту пору хотел, ничего краше в уме не было.

Тут ерш нос из воды высунул и сказал им:

— Ступайте в деревню, будут вам и деньги, и дом, и скотина.

Побежали Серьга с Голубихой в деревню, а там, и верно, новый дом со службами стоит, на дворе скотина всякая, а в горнице, в сундуке денег — так и не счесть.

Голубиха хлопочет: скотину кормит и поит, квашню месит, шаньги заводит и Серьгу гонит то за тем, то за другим. А ему лень за работу браться, отвык.

«Эх, — думает, — как хорошо я до этого проклятого ерша жил. А теперь? Туда иди, сюда беги, за сеном поезжай, на мельницу зерно вези».

И лезет он на печку — поспать. А Голубиха* его с печки тянет, кричит:

— Ступай лошадей ковать да вези навоз в поле.

Схватился Серьга за головушку.

— Нет, убегу я куда глаза глядят, убегу. Не жизнь — маята пришла. Как в раю я раньше жил: хозяйки мне в окно хлеб подавали, кваском поили, а в холод спать пускали. И ни о чем-то я не думал, не заботился.

Завыл Серьга, зарыдал и... проснулся. Сидит он у реки, и удочка из рук выпала. Никакой Голубихи, проклятой бабы, близко нет, скотина не мает, никуда ехать, торопиться не надо.

— Спасибо, — кричит Серьга в реку ершу, — спасибо, что ты мне ничего не дал!

Повернулся он на другой бок и снова заснул.

Так и каждый из нас по-своему счастье понимает.

Рассуждая, усоляне подошли к площади Черного рынка. На углу стоял дом купца Высоцкого. Вдруг из ворот раздался страшный грохот. Усоляне и горожане рты разинули: из двора сама по себе выехала огромная телега. В ней сидели двое мужчин и женщина.

Гремит телега, пытит, хлопает да и катит по широкой площади, вокруг.

— Это у нас первая втомобиль! — сказал какой-то знающий человек.

«Краской она только блестит, и дух из нее неживой — можно копеечку на хлеб зашибить!» — подумал Кирша, скинул армяк, дедушкину шляпу.

— Держи, робя!

И бросился бегом за машиной, обогнал, понесся перед ее носом.

Люди кричали:

— Не сдавай! Не сдавай! Жми! Ай да молодец! Держись!

Напрасно машина гудела. Дорога, уложенная булыжником, была узка, рядом ларьки и лотки, между ними грязь и ухабы. Обогнать мужика негде.

Кирша уже сделал шесть кругов, а вот и семь, и восемь... Пот лил с него градом, он тяжело дышал, раскраснелся, вих-

ры растрепались, портянки съехали, но он бежал и бежал перед автомобилем.

И вот машина застреляла, задымила, остановилась. Народ сбился в круг, раздались торжествующие крики:

— Ура! Не выдержала! Запыхалась! Загнал ее парень!

— Во, глите сами, народ почтенной! Я бы хоть сколь, хоть до Москвы! Так она сама сдалась, ослабела, закашлялась! А мои ноги — ничего, во они!

Кирша все еще прыгал возле автомобиля, а у самого крути перед глазами плыли. К ногам его полетели медяки и серебрушки, а дама из машины кинула синенькую бумажку.

Кирша сразу повел артель в дешевую столовую да приговаривал:

— Ай да втомобиля! Спасибо ей. Эх, робя, думаешь-думаешь — жить нельзя, раздумаешь — еще можно. Нет, надо любить ее, жизнь-матушку нашу!

Прошла неделя. Деньги подходили к концу, а работы не находилось никакой. Тогда Кирша на последние копейки купил ломы, топоры, веревку, рогожные кули и повел свою ораву на Каму. И стали мужики лед колоть маленькими глыбами. Кирша побегал по лавкам и магазинам, стал купцам предлагать ледники набивать. Купцы подсчитали, что набить ледники без найма лошадей им куда выгоднее, и брали лед.

Но заработок был мал, а переноска льда с Камы на базар очень уж изнурительна, и обсушиться было негде. Мужики ночевали в вокзале да редко-редко на постоянных дворах. Скоро они еле-еле стали ноги волочить и начали опять проклинать свою судьбу и все на свете.

В глухую холодную ночь, сидя среди насквозь промокших и продрогших оханцев в вокзале на полу, Кирша рассуждал:

— Ох, робя-робя! Да рази это самое худое и трудное? Ей-бо-пра, нет! Нам в городе обыкать куда легче, чем, к примеру, городскому к деревенской жизни. Да особенно если человек до той поры был изнежен и высокого рода. Диву даешься иной раз, что на свете белом происходит!

В одной нашей деревеньке около самого Казанского тракта жила девушка Марфа. Баская была, да бедна, из немудрененькой семьи. Имела она привычку утром к самому трак-

ту, ко ключику, умываться ходить. Однажды, утром же, проезжал мимо молодой князь. Дивовался он нашими милыми местами и вдруг увидел Марфу. А она сидела себе и косу заплетала. Поразился князь, остановил карету, подбежал к Марфе, схватил ее за белые рученьки и говорит:

— Все края-земельки я изъездил, а такой красы не видал нигде. Терпенья нет мне, веди, кажи, где ты живешь, чья ты доченька есть?

Марфа вздрогнула, а неробкая была, скоро осмелела да и отвечает ему:

— А вот она и наша изба-хорома, без тына-огорода, без светлиц и стаяк.

Ну, князюшко за ней, не отстают. А свита его и дядька за ним да и теребят:

— Не туды, мол, князюшко, ты забрел. Вон каретка золоченая, айда отсель.

Но князюшко упрямой был.

— С местичка, говорит, не тронусь, никуда, говорит, не пойду, не поеду. Здесь я счастье нашел и сердце отдал. Айда-те проваливайте дальше одни себе.

Протурил он свиту в Петербург, а сам остался с Марфой. Та отговаривала всяко, да недолго тоже. И когда князюшко к попику ее привел, так и стала она княгиней. А денег свита много ему не оставила, и скоро молодые сели тестю на шею, и самим надо стало все робить. И привелось князюшку есть наш деревенский хлебушко. Пучит его, живот ему режет, а жует. В избе тесно, а теща сначала и не любила зятя. То ухватом его заденет, то кочергою ненароком, на все ворчала, ругалась. Жалела она Егорка суседского, его в зятки себе метила. А князя не ждала, не любила и ворчала. А Егорко Марфу тоже жалел да на князя злился, ждал случая, где бы тому бока измять. Так и караулил. Пойдет князюшко на двор, а Егорко уж тут и с кулаками лезет. Марфа так и ходила за мужем своим, ни на шаг не отставала. И как Егорко на князюшка нажмет, она на Егорка насыдет. А здоровая была — беда, и справлялась с Егорком. Тем только и спасался князюшко. Как же ему, бедному, жилось! Хуже некуда. Не то что нам, а все сносил.

— Айда-ко, зятюшко, на мельницу муку молоть.

А у него и руки не поднимаются.

— Айда-ко, зятюшко, глину топтать — печь новую к зиме бить надо.

А у него ноженьки не волочатся. Страданье настало ему. И не раз, и не два он плакивал, но ничего, терпел. Не то что вы!

Скоро сердце старого князя-отца стосковалось. Шлет он свиту в деревню и велит сына доставить в Питер, а жену его Марфу в монастырь заточить.

Но молодой князюшко не сдается.

— Нет, — говорит, — пусть отец меня вместе с Марфой возьмет. Тогда я поеду. Один — ни за что!

А сам ходит уже в синих портках да в посконном во всем — с тестева плеча. Каково ему было!

И вот времячко дальше идет, князюшко к новой жизни привыкать стал. Особливо после того, как однажды уловил его на дворе Егорко, а Марфа проглядела. И сцепились они за грудки. Ходят туды и сюды, а повалить никоторый никого не может. И тут почуял князюшко, что ни в чем не уступает Егорку. Тот его мнет и всяко обзывает, и князюшко в ответ мнет Егорка да еще пуще обзывает.

Так они ходили да жали друг друга, пока у Марфы сердце не екнуло: хватилась мужа. Выбежала и разогнала робят, что петухов.

Но вот сам старей князь прикатил в карете в ту деревню. И прямо зашел в избу, которую свита указала ему. Дело было уже в потемках. Князюшко с Марфой спать на полатах улеглись, а старик — на печи.

Князь-отец велит свите огонек засветить да нести из кареты розги. И приказывает он сынка с женой с полатей снять и подать ему. Спрыгнула тут Марфа с полатей сама, протянула свои белые рученьки ко князю-отцу и пала на колени перед ним.

— Батюшко родимой! Не тронь моего князюшка. Не виновен он, а я одна.

Ох, робя! Ежели бы вы в то время видели ее! Была она, что херувим на иконе в добрых церквах. Старой князь глаз не спускал с нее и язык проглотнул. Тут и сынок его встал рядом, и старики тоже с печи слезли. Сел князь-отец за стол, уронил голову на руки, увел глаза куда-то в угол, в темень. Что он думал? Никому неизвестно.

Отец Марфы и говорит:

— Слышь-ко, князь, ваше сиятельство. Зря ты жизнь молодую ладишь разбить. Жили мы, а ты сейчас силен всех нас раздавить, что тараканов. А пошто? Сынка твоего никто из нас ровно не обидел. Пра! Оставь-ко нас. Сделай ми-

лость. Сынка твоего мы уж приучили. Послушной он да и старательной, а в твоих руках кем бы стал, еще неизвестно.

Старуха подхватила:

— Лешак тебя ровно из облачка выбросил! Мы уж спать улеглись, а ты... И че те надо? Хлеб у нас ноне, слава богу, есть. И любим мы зятенька своего. И обык он с нами. И ладно. Так ты нарушить нашу жизнь захотел.

Тут молодой князюшко — жалко ему тещу, да и всех — вскипел и зашумел:

— Да ежели вы... Да я тогда!

Но тесть не дал ему дальше злые слова говорить:

— Цыть ты! Смеешь ты со старым отцом так баять! Да я те шкуру спущу! Мо-отри у меня!

Зятек смолк, а старый князь глазам и ушам не верил: сын на него орет, а тестя — почитает-слушается. Заскрипел в гневе зубами.

— Косу ей отсеките! Тело ее истегайте!

Думал: без красы-косы — сын отвернется от жены. А молодой князь припал к ней, целует.

— Ты еще мне милее стала!

Захрипел в запале старый князь:

— Порите и его!

— Как? — испугались слуги. — Дворянина? Слыхом не слыхано!

А старый князь суров.

— Честь он в назем угрузил. Пусть смое!

Сын не стонал.

— Снесите его в мою карету. Поехали!

Тут молодой князь сам с земли поднялся. Взял он свою Марфу на руки и унес с собой в отцову карету.

Покатались слезы из глаз у всех, да и у самого старого князя. Видать, не любовь молодых надломилась, а гордыня князева, что палила душу, сломилась. Махнул он рукой:

— Там лекаря им раны заживят, а краса-коса у доченьки снова отрастет.

Обнял он тут и свата, и сватью на прощанье и ускакал.

Так вот как молодой князюшко в любви своей был тверд и настойчив и как он все переносил на пути своем.

А вы и маленько не можете потерпеть сырости да холоду.

Мужики снова принимались за работу.

Вечером одним после рубки льда усоляне ночлег искали. Подошли они к магазину Агафурова на Торговой улице

и увидели: народ толпится. Пробились поближе к дверям, смотрят: на табуретке стоит ящик с широкой трубой, а приказчик ручку какую-то у него крутит. И запоеет в трубе то один голос, то целый хор сразу. Это граммофон был — небывалая штука.

Вместе со всеми и наши мужики заслушались, загляделись на него. И вдруг из трубы грянула «Барыня». Весь народ зашевелил плечами, запритопывал, заподсвистывал, заподухивал.

— И-эх-ма! — гаркнул Кирша, закинул полы кафтана под мышки, заломил шляпу и пошел перед граммофоном в лихой присядке да с хохотком. Через минутку остановился, замолчал, замер как был с откинутой головой, но готовый топнуть, ухнуть, шелкнуть пальцами снова.

— Давай, миляга, давай! — кричали из толпы. И под ноги Кирше полетели алтыны и семишники.

— Давай, пожалуйста, давай! — теребил его за кафтан и приказчик, кинув целую трешку.

И Кирша снова пошел.

Вот уж пять раз заводил приказчик «Барыню», а Кирша все наяривал и наяривал.

— Рой землю! — кричали усолыне. — Никакой лешак его у нас не перепляшет!

На ходу сунули ему по две деревянные ложки в ладонь, которыми плясун пустил немедля такие трели, что все обомлели от восторга.

Но вот приказчик остановил игру — иголок не хватило. Киршу на руках качали.

— Вишь, робя, не мытьем, так катаньем, а мы свое возьмем. Вот и опять нам хлеб. Жизнь тебя давит, а ты ей не давайся! — веселился Кирша, отдавая друзьям деньги на хлеб и воблу.

Вечером другого дня после работы Кирша опять повел свою артель на Черный рынок. И там перед окнами богатого ресторана Сахарова завел он своим хриплым голосом:

Анюшенька черноброва,
Был вечер я у тебя.
Был вечер я у тебя,
Да не признала ты меня...
Не признала, не узнала,
Отсылала парня прочь,
Отсылала парня прочь,
А на закате темна ночь...

Промокшие, озябшие мужики дружно подхватили, заглушили звуки рояля и скрипки. Подгулявшие посетители ресторана накидали им денег, обнимали, целовали и тащили за собой в зал к столикам.

Сахаров не знал, что и делать. У него были наняты цыгане, а теперь им хоть расчет давай. Тогда он предложил мужикам отступного. Но Кирша знал, что это счастье им ненадолго, и отказался. Сытые, пьяные усоляне только утром ушли из ресторана.

И лешак их толкнул сунуться в этот вертеп и на другой день!

Хозяин с цыганами решили отвадить мужиков. Едва они пропели песню-другую, как гуляки ресторанные стали хлопать себя по карманам — нету кошельков, часов.

Прислуга нашла эти вещи у мужиков в котомках. Пьяницы оттрепали усолян, а полиция заграбастала их в часть. Там у них выколотили все денежки до копеечки.

Кирша понял, что никакие разговоры о правде не помогут. Тут уж лучше жуликами представиться, виду не подавать, что заработанных денег жалко. Полиции милее и доходнее иметь дело с жуликами, чем с мужиками.

Хватил Кирша шляпу о пол и заюлил:

— Господин околоточный, не без души же вы люди, слава тебе, господи, и не задавите, если мы откроемся вам. Жить надо как-то, ну мы и решили идти по пивным и ресторанам петь, плясать, ну и того... что под руку попадет. А только мы с понятием и согласны быть благодарными вам. Не тесните нас.

Околоточный как с иголки соскочил.

— Ах вы, ворюги! Так что же вы прикидываетесь сермяжными невинниками!

Он кричал, топал, тыкал мужиков в грудь, разорвал протоколы, сгреб деньги в стол и выгнал мужиков на улицу.

Когда стаял снег и вскрылась река, в том месте, где Егосиха впадает в Каму, усоляне нашли старый шитик и устроили под ним жилье — устлали сырую землю обломками коры, выложили у входа очаг из камня. Тут они и сушили одежду и спали.

Мужики толковали:

— Ну, нашли дом-хорому — и что нам в жизни надо? Ровно ничего больше.

— Ну нет! Надо домой бежать и хлеб как-то посеять.

— Это первое дело. Верно ведь, Кирша, али нет?

— Маленько верно, маленько нет. Оно не так бы надо. А как? Слушайте, расскажу. Сегодня во сне увидел. Прибежал я будто домой да схватил там старшину нашего. Вытащил я его на дорогу, пинал и гнал все туда за Очер, за Каму, далеко, чтоб он и дороги не нашел обратно к нам. Пра-ей-бо, робя! Пинал я его, и ноженька моя устали не знала. Потом будто бы я за старостой вернулся. Потом еще кое за кем. — Кирша вскочил на ноги и под хохот мужиков показал, как он пинал ненавистных людей. — Опосля того мы сеять с вами стали. Земли вдосталь нам хватило! На этом месте я от радости проснулся.

Смеялись мужики, а на сердце кошки скребли. Не нужны они дома без денег. Собрали от силы по пятерке и послали с одним парнем родным на семена.

Теперь грузили барку мокросолеными шкурами. Изъело тело. Одежка просолилась — разило от нее. А сами рады.

— Все — работа. Слава богу!

— Кончается, милая.

— Опять голодать. У меня вовсе гашник ослабел.

— А меня туды-сюды турит.

Работать стали порознь, кто где что найдет, а вечером собирались на берегу под шитиком.

Поступил Кирша в больницу в отделение душевнобольных. Что и говорить — работа добрая. За больным убирать — ни обидного, ни зазорного ничего в том нет. И кормят как! И друзьям приносил хлеба и каши. От чистого сердца их подкармливал. Ему и в ум не падало, что приносит чужую еду.

Однажды больные закричали, заревели. Служители побежали к ним с простынями. А в простынях было что-то гучное.

Скоро в палате стало тихо. Не утерпел Кирша, заглянул туда. Больные жались к стенам и с ужасом глядели на служителей. Трое больных лежали на полу ничком, раскинув руки.

— Чисто? А? Чистехонько! — рассмеялся один служитель.

— Ни тебе синяка, ни тебе пятнышка али царапины. И врач не придерется. Да и хлеба с кашей нам больше достанется. Учись, мужик!

— Чего это? — Кирша нагнулся, пощупал. В простынях узлами была завернута соль.

— Окаянные! — взревел Кирша, скинул халат и ушел отсюда, и не вернулся.

Страх забрал усоян, когда прослушали про это, зажаловались:

— Наверно, никогда людям от зла не избавиться!

— Неправда! Средство верное есть, а дело за порой. — И Кирша рассказал: — Они, такие люди, мухам сродни. Много веков мучился и думал человек: откуда и как мухи заводятся? И как, думал, пакость эту вывести на белом свете? И увидел: на дворе назьму полным-полно. Копнул человек тот навоз, а в нем несчетные мушиные гнезда. И в первый раз глянул человек дальше, через тын свой, на мир: кругом и везде — навоз, а над ним мушиные рои затемнили свет.

— Батюшки! — хватился человек. — Так вот где и в чем все горе мое и потрава мне! Вся жизнь назьмом облеклась, а от него паразиты тянутся к телу моему, ко хлебу, к жилью. Извести поровят. Да не быть тому! Как ни трудна, ни тяжела работа, а надо чистить двор и все округ, вывозить навоз и сжигать его. Огонь только и очистит жизнь мою.

И вот собирается он, копит силу, лопату делает, метлу вяжет. А как дальше будет — видно будет.

Немало пробродил Кирша по городу и нанялся пожарником. Пять дней его обучали и тогда только выдали форменную одежду. Жалованье казна отваливала раз в месяц, и Кирша скрипел зубами.

Однажды загорелся большой дом с магазином. Кирша и давай со всем усердием тушить там, где огонь угрожал другому дому.

— Ты что делаешь? — Брандмейстер налетел злой, а уж жирный до того, что икры не вмещаются в голенища. — Куда льешь, телепень? Марш за мной! Лей на эту стену!

— Да сюды, ваше благородье, огонь не полыхает.

— Я тебе полыхну! Лей! — Погрозил пудовым кулачищем и ушел.

— Да он рехнулся, пра-ей-бо!

И кинулся Кирша обратно, стал пламя заливать, где по совести и надо.

Вдруг кто-то огрел его по самому льну. Мотался-мотался Кирша, чуть на ногах удержался.

— Прогнать с-сукиного сына вон! — Брандмейстер тряс пальцы: зашиб о Киршину шею.

Двое услужливых пожарных вытолкали новичка из команды.

Народу набежало много. Люди смеялись и спорили:

— И этот дом загорается!

— И тот! И вон эти! Все сгорят!

— Не сгорят!

— Ей-бо, сгорят!

Кирша понять не мог: в деревне пожар — беда. И все помогают, тушат кто чем, горюют, соболезнают. А тут...

— Ну и ловко! Какие деньги огребет купчина!

— Все застраховано!

— А подготовлено как! Любо глядеть! Эти пожарные давно ни черта не делают. Не спешат.

— Тут все давно куплено-продано.

— И бранд-от мейстер настропален. Ишь, закуривает!

...У костра возле шитика Кирша веселил мужиков, у которых дела шли еще хуже, чем у него.

— Не туда я воду лил, ну и не уноровил, по шее получил. Не перенял я науку от губернатора нашего господина Кошки. А тот знал, куда воду лить, ну и не только обанкрутился, а в гору пошел. Только и ему для виду по шее тоже съездили.

А дело было так. Кажинный год чего-нибудь случалось в нашей губернии: то засуха хлеб губит, то холера народ морит. Оттого налогов и податей губернатор и мало собирал. А хоть и соберет он, к примеру, столько-то, да отсеки руки по локоть, кто себе не волокет? Должен же он себе сапоги новые или подкладку для мундира завести да и губернаторше своей на булавки и гребешки дать. После этого для казны одни злыдни остаются. Царь за это на губернатора беда как злился:

— Я тебе, Кошка, хребет сломаю, шею сверну, глаза выколю!

Царь так царь — стесняться не станет. Оробел было губернатор наш, голову повесил, да одумался. Объявляет он приказ губернии: собирать с каждой подушной головы, кроме налога и податей, сверх того еще по рублю.

Взвыл народ:

— Куды столь?

— Молчать! Царю коней ковать надо.

Собрал все подати да налоги губернатор. Первым делом часы себе новые Буре завел, губернаторше своей прямо из Парижа модную прошву заказал. Ну, в казну сдать пришлось не ахти как много.

За отменно малую сдачу денег в казну царь из себя вышел и для примера остальным губернаторам съездил своим святым кулаком по Кошкиной окаянной шее так, что тот с губернаторского места слетел. Но тут же, повернувшись, царь увидел пять тыщ рубликов, присланных ему коней ковать, обрадел и опять же для примера всем похвалил:

— Молодец ты у меня, Кошка!

И назначил Кошку еще выше прежнего — в сенат.

Усоляне копали могилы на кладбище. Сюда они завернули, не найдя работы в городе. Их сразу завалили заказами. Не успеют выкопать, а уж новый заказ:

— И нам могилку, молодцы, поспешите.

В ожидании покойников и платы за могилы мужики копали еще и еще. А когда вернулись к первым могилам, на них были насыпаны свежие холмики и поставлены кресты.

Родня покойников возмутилась, когда мужики деньги потребовали.

— Вы кто такие? Есть тут главный могильщик. Он с нас деньги взял. Этот, который рыжий.

Кинулись усоляне к последним могилам, а там уже комы стучат о гробы.

И опять родня покойников на мужиков напустилась:

— Рыжий деньги получил! А вы кто такие? Вымогатели! Где тут постовой?

Мужики от греха подальше — скорее за ворота. Там их поймал рыжий.

— Живыми сюда не кажитесь! Хлеб отбивать? Сами еле кормимся. Вдругорядь не так проучим!

Мужики о полы кафтанов руками хлопали.

— Будь оно проклято!

— Провались все на свете!

— За что день провели?

— Не падай духом, робя! — схохотнул Кирша. — Глядите, какие Макся и Лушка из Тужиловки неутлые. Много годов у них хлеб не родился, и Макся стал торговать. А таланту к тому ни в ногу, ни в руке, ни повыше того у Макси не было. Встречает его жена:

- С барышом ли, Максенька?
- А и убытку нету, Лушенька!
- Да как ты сумел, Максенька?
- Почем купил, потом и продал, Лушенька.
- А боле и не надобно, Максенька.
- Куды с добром, Лушенька.

Кирша нашел место на собачьем дворе. Ездил он по городу, сеткой ловил собак без ошейников.

Вечером он возвращался к шитику и приносил полную котомку хлеба, рассказывал:

— Накроешь собачку, а кухарка тебе гривенник сует али хлеба булку. И сама ревет, и собака воет: отпусти-и! Ну, ступай, да не кусайся только.

Но вот раз он пришел на берег с бесхвостой дворняжкой.

— Собачья смерть ты, а за тобой собака вьется? Как же так-то?

— Молчи, робя! Не порите мое сердце! И без того хоть давился сам. У-у, окайнная! Из-за тебя места лишился.

Собака виляла обрубок хвоста, лизала Кирше руки и тихонько скулила.

— Увидал я ее на каком-то углу. А она и не бежит от меня, припала и руку лижет да глядит, как человек. Еду на собачий двор, а сам не оторвусь, гляжу на нее в клетке, а она все скулит и скулит, ровно об нужде какой жалуется мне. На дворе я ее выпустил: беги, мол, не надсажай моего больного сердца. Сам как собака живу. А она вьется около, лижет руки да скулит. Дал ей хлеба, сожрала, не бежит. Старший придрался.

— Почему у тебя собака без ошейника тут?

— Да, говорю, она не опасная.

— Как знаешь? Может, чумная?

— Нет, отвечаю, хвост у нее рубленый, значит, без опасная.

А сам не знаю, правда ли это. Слыхивал у кого-то где-то.

— Накрой ее — да в клеть! Сичас, мотри! — заорал старший. Ка-ак она тут хватит его, полштанины отмахнула. Спасибо, зубами не изъязвила, беда бы была и ей и мне. А то только со двора согнали к семи лешакам.

Без надежды особенной зашел оборванный и грязный Кирша в магазин «Эпфельбаум и сыновья». Хозяин его и на порог не пускал. Но Кирша сунул в дверь лапоть.

— Нет ли работенки, хозяин? О цене не спорю.

Вот тут хозяин присмотрелся и предложил:

— Есть дело, да такое, за которое честный человек постыдится и плату просить. Сидельца мне надо. У ворот сиди знай. Сбегаешь куда пошлют — и сиди. Дров наколешь — сиди. В комнаты их наносишь — сиди. Печи истопишь — сиди. Двор подметешь — опять сиди. Не работа, а прохлада. Больше трех рублей в месяц и не дам за это.

— Ладно, — вздохнул Кирша, — стану сидеть.

Потом он рассказывал друзьям:

— За неделю три пары лаптей износил, четвертую купил. Вот как сидеть мне пришлось у ворот купецких! А потом выкинул хозяин полтину и сказал: «Ступай давай, откель приплыл. Жена-де и детишки пугаются виду твоего звероподобного». Спорить я не стал, пожелал ему всяких успехов в торговле и притворил за собой двери.

7

За Казанской заставой на дворе коннозаводчика Габова, у конюшни под навесом, каталась и билась лошадь. Она то поднимала голову от пола, то снова вытягивала морду. Ветеринар ей вливал снадобья в пасть, конюхи и кучера толпились вокруг и охали. А сам Габов кричал:

— Сгубили, подлецы, мне коня! Тыщу стоит! Закатаю в тюрьму!

Кирша с приятелями зашел сюда в поисках работы. Стояли они, соболеznовали. Кто-то из них и сказал:

— Вот бы нашу бабку Васику сюда! У нее молитовка верная. А эти дохтура только хлеб едят.

Габов подскочил к усолянам.

— А где эта бабка-матушка?

И вдруг Кирша заявил:

— А чего бабка! Рази на свете одна бабка может? И другие есть, почище ее... Видать, у коня закоржурница. Ноготь у него.

— Неужто? — изумился Габов и все остальные. — Так ты, милый, толкуешь в этом деле! А? Озолочу! Ничего не пожалею!

— Сколь я их на ноги поставил! Плюнуть раз... Айда, робя, домой. Не наше тут страдает. Дохтура тут.

— В ножки паду! Что хошь бери! Пособи лошадь поднять!

Кирша поскреб в затылке.

— Э, была не была! — Стянул шляпу, перекрестился и загнул над ведром с водой:

Из-под луны господней
Едут Фрол и Лавр.
Лошади соловы,
Седелки златы.
Пособите, помогите мне
Отогнать от лошади
Двенадцать ногтей
Из семижды семи жил,
Из семижды семи суставов.
Закожурной ноготь,
Сердешной, запоношной,
Костяной да жиленной,
Мозговой, кровяной...
Давали ногтям они по сотне ударов
И послали их во темные леса,
Во стоячие болота.
Там бы они шатались, болтались,
К лошадушкам не приступались...

Трижды протянул Кирша эту молитовку и после каждого раза обливал всю лошадь, а с руки отдельно брызгал ей на морду.

И уж что тут сотворилось, трудно сказать, только лошадь перевалилась на другой бок, вытянула ноги и притихла. Да вдруг прыснула и раз, и два, и три. И стала подниматься на ноги. Потом отряхнулась и пошла по двору, да все веселей, все выше голову поднимала. Вот она быстро затопала по мосткам в конюшню и стала тыкаться мордой в решетчатую кормушку.

— Слава богу! — со слезой сказал Габов.

— Слава богу! — загудели конюхи и кучера.

— Ну и Кирша! — заперешептывались усоляне.

— Золотой ты человек! — Габов хлопнул его по плечу. — А не можешь ли ты мне и другую лошадь поправить? Хорошая — беда, а когда бежит, у нее в брюхе: ур, ур, ур...

— А это у нее сенек играет, — не моргнув глазом, ответил Кирша. — Опося когда-нибудь можно будет и поправить.

Вместо обещанного золота Габов велел Киршу щами накормить.

Неприветливо встретили его дворники, конюхи, кучера габовские. Они все были вятские земляки и поровили заработок у Габова не выпускать дальше своих же людей, а Кирша хотел втянуть на двор своих мужиков.

Через несколько дней Габов позвал его к себе и стал просить согнать чирей, который сел ему ниже спины.

— Отчего мне такая ужась прилепилась?

— Да слазу! — ухватился Кирша. — Вот у твоих конюхов, особливо у Ермошки, глаз с навесом. Знай и ведай: он грыжу тебе подвесит. Ох, он и хитрой, ей-бо-пра!

— Насчет хитрости — она в тебе пуше иных стоит.

— Да моя, если и есть, на пользу тебе, а евоная тебе ниже спины села. Носи, не двигайся. А я согнать могу, через денек и не будет, и вперед побоится на то место садиться.

Нашел Кирша в полу сук, поставил хозяина около него на четвереньки да и стал гнусавить:

Как во сухом дереве сук сохнет,
Так у раба божья Ивана чирей бы сох...

Больше ничего придумать Кирша не мог, чуть снова не упомянул семижды семь жил и суставов, да вовремя удержался. На третий раз парень своим крепким ногтем резнул по назревшему месту. Взыл Габов, но не успел Киршу пнуть. А потом стал хвалить:

— Дохтур бы ножом порол, а ты... ну и золотой! И уродятся же такие головы на свете.

Прогнал Габов всех вятских. И таким образом Кирша втянул свою артель на конный двор.

Побродив сколько-то дней в городе без работы, вятские вернулись и стали тереться-вертеться около конного двора. Усоляне видели их и чуяли себя беда неловко: спихнули ведь людей с места из-за жратвы.

Ермошка подходил к Кирше:

— Вы, робя, не дальные и скорей нас где огорюете себе работу. Рассчитайтесь с добра. У нас есть нечего. До Вятки маху много, а вам до дому рукой подать.

Да где сразу мужики с работы уйти решатся!

Меж тем Габов покою не давал:

— Лечи, Кирша, лошадь-то от уркотни. Обещал ведь. А парень, зная, что раз на раз не приходится, все оттягивал.

— Да погода, хозяин, какая-то не такая.

— Не мели, бес!
— А какой седни день, хозяин?
— Вторник.
— Э-э! Лошадей-то лечат по понедельникам, господин хозяин.

— Это где же сказано?

— А везде. В святцах и в еванделе. Особливо в черных книжках у кержаков. Пра-ей-бо! Фрол и Лавр только по понедельникам лошадок исцеляют. Луна чтоб полная светила им, они и едут. А чуть луна в облака, они назад поворачивают. Беда какие прекосливые они.

Но лошадь не дождалась понедельника, в пятницу пала. Ермошка тут как тут, кричит:

— Это они, хозяин, ее потную опоили! Какой изъян твоему добру! Гоня их в шею!

Тут, как на беду, все лошади зауросили. Вывели их на проминку, а обратно в стойла они не идут, упираются. Их за узду тянут, веревками под зад, а все, хоть убей, напрасно.

Ермошка व्यоном крутится.

— Гли, хозяин, чего эти идола с твоими стойлами сотворили!

Он подскочил к косяку и выковырнул из щели медвежий коготь.

— Вон как заразили! А иные косяки медвежьим салом намазали. А конь — божья тварь, чует и остерегается. Гоня ты их батогом!

Взвыл Габов:

— Что наделали, окайнные!

Ну, пропали усолане! Хватай котомки и айда — куда не знаю!

Но Кирша хлоп свою шляпу оземь.

— Хозяин, неужто ты столь беспрошной? Мы у те робим, так пошто станем тебе изъян наосить, себе яму рыть? В уме ли ты? А вятские хоть и какие ни хватские, я их козни нарушу. Недаром я столь годов обучался всяким наукам. Раз стихну — и вся! Бери, напинские, лошадей за узды!

Кирша подскочил к косяку стойла, сморкнул в кулак и растер на косяке. Подбежал к другому, опять сморкнул да размазал.

— Заводи, робя!

Лошади сами вбежали в стойла. Победа была полная.

— Долой со двора, рестанты! — бесновался Габов, топал, махался. — Вон!

— Вон! Вам говорят! — закричали вятские.

— Нет, вам! — заорали усояне.

И сцепились. Дрались по-крестьянски — кулаками, не душевредно. И не дрались, а ума давали друг другу.

Было ясно, что осият те, кто эти дни ел досыта. Ну, вятские и оказались за воротами. Они еще с той стороны улицы помахали кулаками, побранились, да недолго. Чего зря базланить, скорей надо работу искать.

Не прошло и недели, грянула беда. С конного двора ночью увели двух жеребых кобылиц. Габов ревел от горя и дрался от злобы.

— Засужу, конокрады!

Полиция заграбастала и оханских, и вятских. Когда их всех вместе заперли в холодной, они заныли:

— Забыли мы бога! За грехи покарал!

— За непослушание родителей!

— В постные дни молосного поели!

Слушал, слушал их Кириша и разозлился.

— Дураки! Олухи! Не в том месте несчастье видите! Какие у вас грехи? Когда вы не слушались родителей? Сколько завязло в зубах ваших молосного? Бороды отрасли, а не смекаете, кто молится и зачем. Воры и жулики вам глаза отводят, а вы и рады стараться! Чужие молитвы твердить! Вороны! А я сызмальства догадался. Научила меня тому шинкарка Копна из Тужиловки. Жадная была до того, что мало ей было все отнять у людей, еще и на себя напаять надо было. Оттого и Копной ее звали. Носила на голове десять платков, на теле десять кофт и юбок, сверху две шубы, да еще поддевки. Натянула бы еще, да уж некуда. Даст бабе муки на квашню, после обратно полмешка заберет, не то одежду унесет, барана угонит. Спить мужика четвертак ей обходится. Придет в себя мужик — весь раздет, да еще из дому добавить надо.

— Грешные вы, грешные, не постились, вот вас бог и наказал! — твердит им Копна, забирая добро. А они ревут от горя:

— Верно, Копна, грешные мы, сатана попутал, бог наказал.

С помощью божьей разорила она кошкодава Зосима. Развела Копна кошек у себя в стае. Не кормила: кошки живучие. Осенью выпустила их в поле кормиться полевками

и пичугами. К морозам кошки в большом приплодом обратно в стаю прибежали.

В то время Зосим появился и ну кричать:

— Ложки меняю на кошки! Ложки меняю на кошки!

Тогда Копна бросила своим кошкам еду со снадобьем, они от него и стали как пропащие. А чтобы Зосим не убил их сам, Копна умоляла:

— Ради всех святых, Зосимушко, не хлещи ангелочков моих о прясла! На себя я взяла грех — представила их праведные душеньки на тот свет, да и мех зря не порти. А меня, бедную сиротинушку, не обидь, по четыре ложки за кошку дай. Господь тебе невидимо воздаст сторицей.

— По две хватит.

— Бог тебя накажет! Четыре!

— Ладно, три. На!

Зосим закинул сотню кошек в сани под рогожу, отсчитал триста ложек. Копна мигом их запрятала. А кошкодав, проехав саженой сто, видит: в санях ни одной кошки нет, разбежались, очухались. У Зосима лопнула надежда быть с семьей в эту зиму сытыми. Схватил он полено и кинулся на Копну — конец жулябии!

Но не тут-то было. Копна на коленях слезно молится:

— Бог тебя наказал, Зосимушко. В родительский день не помянул ты отца с матерью.

Зосим глаза вытаращил, уши развесил, рот раскрыл. Полено из рук выпало. Завыл, как и вы, дураки:

— И то правда, не помянул я, грешник, none покойников!

Вспомнил я про это, когда нас заарестовали, со двора повели, а Габов на колени пал и руки к небу уставил:

— Отпусти, господи, прегрешения им! Дай им отмолить обиды мои!

Отмолить! Во! Нету пользы ему в тюрьму нас засадить. С нас нечего содрать да на себя напаялить. Польза ему — поморить, согнуть нас здесь да с помощью молитовки и полиции заставить отработать ему бесплатно цену тех лошадей. Плюньте мне в глаза, когда не так! Чтобы прибавить себе капиталу, он сам лошадей упрятал.

Закричали мужики:

— Да что ты? Сам у себя увел?

— Сам! И кругом ему прибыль получается!

Поднялся с пола вятский Ермошка Яранин.

— А может, вместе с хозяином хочешь обмотать нас во круг пальца? Кто тебя знает!

Обомлели все от такого поворота дела, а у Кирши пот на лбу проступил. Яранин свое твердит:

— Сказывай нам, что ты знаешь?

Мужики загалдели:

— Чего пристал?

— Не толкай на сумленье!

Повскакали мужики, разделились: вятские за своим вожаком, усольские — за своим сгрудились.

Яранин подошел к двери, постучал. Открылось очко.

— Правды ради, господин, как тебя? Приведи пристава либо сам знаешь кого. Тут объявились знающие в нашем деле... — Яранин уставил палец на Киршу. — Молчит, не говорит, а что-то знает.

Кирша хлопнул себя по лбу.

— Шевели мозгой! Не ссорьтесь, мужики, кулаки не сжимайте. Не бойсь, робя! Живы будем — не помрем!

Привели Киршу к приставу. Тот рывкнул:

— Чего надо? Бока чешутся?

— Мне, ваше высокородие, хозяина нашего сюда бы призвать да с глазу на глаз с ним потолковать.

— О чем?

— Надоумить его насчет кобылиц и положить конец мученью нашему.

Пристав уставился на Киршу и опять рывкнул:

— Я здесь государем императором поставлен и должен все знать первый! Говори!

— Только хозяину могу, а вы в сторонке пока.

Разъярился пристав, норовил кулаком до Кирши достать, а потом велел посадить его одного и хлеб давать через день.

Шесть дней морили мужика. Боялся Кирша, кабы зубы не зашатались, но и мысли не допускал с приставом разговоры разговаривать. Не хотел ему тайну открывать, чтобы медвежья власть с Габовым допреж того не могла столкнуться.

На седьмой день явился Габов, глядел зверем, запугать хотел.

— Чего тебе, разбойник, от меня понадобилось?

— Да рази пристав не обсказал тебе всю картину? — ловко удивился Кирша. — Как ты сам коней увел, да плохо спрятал их?

Зубы у Габова застучали, на морде краска проступила, заорал:

— Пороть велю тебя до смерти!

— Опоздал. Мы уже аблаката наняли и попа вызвали, все им выложим. На этот раз ты, хозяин, промашку сделал, да не одну. Весь ты в моих руках.

— Врешь, проходимец, врешь! Никаких козырей у тебя нету!

Кирша загнул перед его носом палец.

— Перво-наперво, рано утром выскочил ты из дому на крыльцо одетой-обутой, заорал благим голосом: «Коней увели!» Ты до конюшни не добежал, откуда узнал, что коней увели? Какая сорока на хвосте тебе весть принесла? А ну, говори, тварина!

Габов тут глаза выпучил, а Кирша загнул другой палец.

— Обе кобылы жеребье. Ты свел их в одну конюшню и всю последнюю неделю сам поил-кормил. На всех конюшнях замки одинаковые, а на этой оказался другой какой-то, ломом исковырян, измят. Ты сам навесил его с вечера таким. Ежели бы его тут разбивали, все бы услышали.

— Вы все проспали, окайнные!

— Верно. Мы, ротозей, дрыхнули. Так зато перед конюшнями на цепях бегают два пса. Чужого бы они ни за что не подпустили, а хозяина, небось, не схватили за голяшки.

— Зачем мне самому такой изъян наживать? Заврался ты! — кричал Габов.

— Изъяну тебе в том нету, а выгода прямая. Жеребята будут племенные, редкостные. И ты их в нутре матери запродай. Взял большой задаток. Раз их украли, ты его зажулишь. У купцов всегда мошенство.

Кирша больше того, что высказал, ничего не знал, дальше бил напрапалую и угадал:

— Кобыл после ожеребьевки тоже запродай. Дорогие! Таких ни у кого нету. Задаток тоже хапнешь! Застрахованы у тебя кони в обществе «Якорь». Дери с него! Нам ни жарко ни холодно. А ты размахнулся на что? Ладишь ты, кобылий понос, нас заставить работать на тебя бесплатно, крепостными нас сделать.

Долго думал Габов, потом спросил:

— И чего тебе от меня надо?

— Разорю тебя, — отвечал Кирша, — по миру пушу. Все узнают, доверья ни от кого не будет. Откупиться — дорого станет.

— Это еще как сказать! Ты мне дело говори, что самому-то тебе от меня надо?

— Пока из клетки не вылетим, разговоров вести не станем.

Опять Кирша один сидит. Прослышал, что мужиков выпустили, — отделились, значит. Порадовался за них. А ему — ни вопросов, ни допросов, и он заявления не делает. Пристав не трогает. И это понятно: договорились ворон с вороном.

Снова Габов пришел.

— Не надоело клопов кормить? Али тебя сытно кормят?

Кирша отвечает:

— Сiju не по твоему навету. Военский начальник приезжал, беда как просил помогчи ему разобраться в подлостях твоих. Пора, говорит, этого паршивого жулика Габова за решетку упрятать за то, что он в прошлом месяцу сдал в комиссию худеньких лошадей-недомерков, а своих добрых коней спрятал. Самого батюшку царя обманул! Тут тебе малой тыщей рублей не отделаться, хозяин.

Веселье с Габова как ветром смахнуло. Побледнел и руки опустил.

— Ах, Кирша, Кирша! — сказал он. — Я-то ведь к тебе всем сердцем, а ты ко мне злобу таишь. За мой хлеб да за добро тебе готов меня в Сибирь закатать. Образумься, одумайся да айда ко мне. Обижен не будешь.

— Нет, нет! — Кирша головой замотал. — Приглашение имею на высокую должность. В городской управе назначаюсь главным санитарным досмотрщиком. Уж я тебя, окалянного, ожгу! Все конюшни заставлю перестроить — не в том месте стоят. За навоз штрафовать стану изо дня в день: стоки воду городскую засоряют. Холеру или самую чуму хочешь ты развести? Дохтура бумаги писали, да откупился ты. А я подыму все их заново и кухарке городского головы отдам. Она моя свояченица и ходу бумажкам даст. Никакими деньгами не откупишься.

Габов поверил — не поверил, всему — не всему, а задом упятился.

Утром Киршу выпустили. Пристав приказал — убираться на все четыре стороны из его участка.

Пришел Кирша на берег к шитику, с казенных хлебов покачивается, а шляпу на затылок сдвинул.

— Здорово, лешаки! Никакой враг нас не сломает. Дадим ему жогу! Все я уладил: Яранин, спасибо, надоумил, заставил мозгой шевелить.

Благодарили мужики Киршу. А пережитые несчастья и голодовки все же сломили их. Впали мужики в отчаяние, голосить стали:

— Господи, да где же правда на свете? Пошто государь наш батюшко не станет на защиту нам? Пошто не поможет?

Кирша повалился на землю от смеха.

— Вы же сами с ним компанию испортили! С государем нашим Николаем Александровичем!

— Ой, что ты! — испугались мужики. — Даже страшно такое говорить!

А Кирша рассказывать давай:

— Он в гости к вам заглянул, а вы как его угостили? Шибанули прямо в нос! Будь он проклят, если заступится за вас после этого!

— Да когда же это было, Кирилл Матвеевич? И где?

— Не стоило бы поминать помазанника божьего, наплевать бы на него, да к слову пришлось. Слушайте. Не так давно, в котором-то году, наш анпиратор, когда еще в наследниках престола ходил, отправился по матушке родной земле нашей. По Волге и по Каме на пароходе поднялся он и к нам. За неделю перед тем весь крестьянский люд согнали власти на берег Камы. Заставили одеть у кого что получше есть. На время дали кому лапти новые, рубахи и порты без прорешек. Бабам и девкам конеечные кольца на пальцы, в уши сережки повесили. Дурака, конечно, видом обмануть не трудно. Народ, мол, оханский сыт, здоров, одет и только и знает, что на берегу пляшет.

Наследник в дороге замешкался, и напрасно мы целую неделю плясали да хороводы водили. А было беда не весело! Пора-то рабочая, кажинный день дороже всего. Ну, люди и проклинали царский род густо, по-мужицки.

В пасмурный денек пароход стал приставать к мосткам. Заиграла музыка, народ бросил игрища — и к сходям. Стражники сдержать не смогли.

Пока цесаревич спускался к берегу, его осмеяли с головы до пяток:

— Недоросток!

— Худой, ровно нищенок!

— Вина у него недостаток, вот и румянца не видать.

Тужились стражники заглушить говорю, осадить толпу. А самые подлые, самые страшные два человека на свете — купец Жаков да кулак Сатана подносили Николке хлеб с солью.

Посля того наследник ступил полшажка к нам и говорит: — Здорово, православные крестьяне! Молю господа бога, да ниспошлет он вам здоровья и благоденствия! — Он поднял ручку высоко и пальцами помотал. — А вы пляшете? Танцуете?

Конечно, говорить ему с нами не о чем. Но умной никогда не обронит крестьянам этаких глупых слов. Неловко стало всем, хоть провались скрозь землю.

И вдруг в ответ ему, в тишине-то, раздался треск. Со всех мест раздалось. Будто сговорились. Это от ржаного хлеба в животах.

Лицо у прынца переменялось.

— Что это? — спросил. — Что это?

Исправник — ни жив ни мертв.

— Это... это... ваше высочество... это по местному наречию — боже, царя храни!

И раньше был не шибко добрый Николка, а с тех пор к народу совсем спиной повернулся. И кто кого пересердит? Аппиратор али мы? Не знаю. А хорошего не жди.

Под хохот не так муторно было собираться домой. Бились-бились мужики, а уезжали ни с чем.

8

В Оханске, едва Кирша сошел с парохода, к нему подбежала Акулина в кашемировом платье, в оренбургском полушалке на плечах, с приколкой в волосах, в ботинках с пуговками до подколенок, надушенная духами — унеси лешиак до чего.

— С приездом, Кишенька! Как поробилось? Давай поцелуемся! — она обхватила его за шею и влипла поцелуй — только сощелкало.

Позади раздались смехотки:

— Вот навязалась, не рад парень!

— Эх, меня бы так разок, а после — хоть помереть не жаль!

И Кирша взъелся:

— На глазах у всех! Провались ты...

— Сердитенький приехал! — ликуя, говорила Акулина. — Ори, миленький, слава богу: Захарка-то ноги протянул. Полгода я уже вдовая, да не знала, где тебя взять. И в полных я правах! Можем хоть сейчас под венец!

У Кирши язык прилип, а мужики обступили, обе руки трясут.

— Экую шанежку с денежками подцепил!

Акулина тянула его за рукав на гору.

— Айда скорее, вон наш коробок!

В Усолье у ворот дома Акулины Кирша выскочил из коробка, крикнул:

— Спасибо, подвезла!

И зашагал к своей избе. Акулина вслед сказала:

— Ступай, проведай. Я скоро прибегу, решим, где с тобой станем жить...

Изба осела еще ниже, а крыша покрылась зеленым мхом. Окна забиты плахами, но озорные ребятишки выломали все стекла. Ворота совсем скосились, а теплые двери в избу жалобно скрипели. Потолок и стены в горнице покрылись плесенью и паутиной, обмазка у печи осыпалась, пол потерпел.

Не скинув одежды, Кирша присел к столу, опер голову. Нахлынуло невеселое раздумье. Он бывал всегда рад, когда возвращался домой. Раньше, как только переступал порог в родную избу, отлетали все бродяжные невзгоды, становилось легко и радостно. Правда, никогда не забывались думы о земле, о хлебе, но все равно отогревалось тело, отмякали все заботы.

А вот теперь та же изба холодна, одинока и одинок он сам. Но Кирша встряхнулся и стал говорить вслух:

— Нет, так нельзя! Надо жить, чтобы в доме не пусто было, чтобы кто-нибудь встречал меня. Надо, чтобы тут тепло велось, ребята кричали. Сходить рази еще к Марьяше?

Кирша взглянул в окно и увидел за рекой ее избу. Сердце его сжалось от тоски, но рассудок остановил.

— Богатство ей надо! Наверно, если бы умерла Акулина, она бы старому, но богатому Захарше продалась.

И тут он подумал об Акулине. Он еще ни разу не разговаривал с ней добром, а только балагурил. Он совсем ее не знает и не понимает, а сердце холодно к ней. И даже бранил ее злыми словами, однажды турнул, когда она привела ему лошадей. И все-таки она льнет к нему, говорит, что любит, а сегодня объявила при всех, что намерена жить с ним.

Кирша захватил голову руками, закричал:

— О, лешак-лешак! Зачем устроено в миру: к кому мое сердце тянется, та ко мне спиной воротится, а та, к которой я боком норовлю, всем сердцем ко мне прилегает!

И услышал ответ Акулины:

— Вот когда ты в разум взял, что я всем сердцем к тебе. А что ты пока боком ко мне, так, дай срок, всего поверну!

Акулина смеялась и ставила на стол кринку с молоком, блюдо со стряпней.

— Ешь-ко, давай. Как поешь моей пострепеньки — лучше узнаешь меня и душевнее поговорим, а то все кругом да около бродим.

Но Кирша набычился, отодвинул от себя стакан.

— Иди-ко ты...

Ругнулся, стало ему не по себе. Метались его мысли, металась душа, смешались все чувства. Вот стоит красивая, верная, толковая баба; любящая его, и открывается перед ним полное изменение жизни, а он потерял опору под ногами, не знает, за который край ухватиться, на что решиться.

— Куда ты меня посылаешь? Чем я заслужила? Рази был в деревне другой смех про меня, кроме как с тобой? Не стыдно тебе? — Она говорила твердо, а по щекам катились слезы. — А кто ты сам-то? Оглянись-ко! Шаталина городской! Натянешь заветную шляпу набекрень и айда-пошел. Краснобайничаешь, людям примеры приводишь, а сам жизнь в руки взять не можешь. — Акулина передохнула. — Я не жила еще, а ловила ластышки счастья с тобой. А жить — охота. И с тобой. И все так пошло нам. Надо мне, чтобы мужик, робята, люлька, пеленки у меня были: тогда заботы всякую дурь из головы вытурят. А тебе земли надо? Вот она — становись хозяином. — Она утерла глаза. — Немного ее, шесть десятинок. Да рази не хватит? Лавку закроем, ну ее! Зря люди за нее глаза колют, а доходов она не приносит. Денег нету, не бойся, что только в товарах, вот и все. Захар чуял кончину — давно проживал добро. И нам надо робить. Вот и давай по-умному, перестань шататься.

Она смолкла, а Кирша тоже сразу не нашелся, чего ответить. Усмехнулась:

— Ну, наелся? Пойдем спать туда, здесь замерзнешь.

Кирша опять супрямничал:

— Ночую здесь как-нибудь.

Акулина вышла, заглянула в окно.

— Утром пораньше приходи, Киршенька. Завтра богородицын день, побегу квашню заводить. Давай поцелуемся.

Кирша так и не мог заснуть. Дума гнала думу, и замерз он до того, что собирался идти в избу к Матюге.

«Так вот она какая, Акуля-то! Робят ей надо! А мне рази не надо? — с горечью думал он. — А так жить, как теперь, — нельзя. Лавку — к лешакам, торговлю — долой. Стану хлеб сеять, а богатства не добиваться».

Его размышления перебил обрадованный Матюга.

— Здорово, сынок! Новость у нас: купец Бахтияров ладит мукомолом стать, на Очер-реке, верст двадцать повыше, пруд городить зачал. На шесть поставов мельницу заворачивает. Зовет народ на работу со всех деревень. Наши, усолыне, после праздника ладят все туда бежать.

Киршу как подмыло:

— Да неужто?!

Он подумал: «Не пойду пока к Акулине, а наймусь на работу. Подумаю еще крепче. Надо пуще забыть Марьяшку: из-за нее и обижаю Акулину. Обожди, Акулька, так честнее будет!»

И вслух сказал:

— Чего мне и праздник, раз шанег стряпать некому и изба холодная. Побегу туда немедленно...

Матюга не удивился, поверил: который год и у него праздник без стряпни.

Когда прибежала Акулина, то увидала: Матюга забивал окна и двери у Киршиной избы.

Много раз за осень и зиму она приезжала к Кирше на постройку. А он был и ласков, и насмешлив; если заживалась — протуривал домой.

— Айда-кошь, милая, проваливай отсель с боушком. Да сызнова не спеши: пуще натоскуйся — слаще будет.

Весной Чайников и другие кулаки из себя выходили: не было дома ни мужиков, ни баб, ни молодых, все к Бахтиярову подались, беда! Хоть совсем не паши землю, не сей хлеб, тягло распродавай! Не набавлять же цены на работы. Задумались они, да ведь бог не без милости, надоумились.

Заявились на постройку бабка Васиха, Улита Вестница и другие полезные старухи, разнесли молву:

— Кто строит мельницу, тот завсегда наперед с водяным лешаком в сугласье входит: сколько людей погубит, заживо их в плотину уложит! Без людских костей никакая плотина не укрепитя, смоее ее лешак. Бахтияров тоже много жизней ему заложил. Только из нашего Усолья и не знамо — не считано сколь. Берегитесь, киньте эту работу, пора пахать и сеять, сохранены останетесь!

Бахтияров добавил плату сразу по гривеннику на поденщину, уговаривал:

— Шесть поставов будет, а я не как ваши старые мельники, в бога верю и осенью же наполовину сбавлю плату за помол, лопни мои шары! Вот вам истинный бог!

Но мужики требовали:

— Нашего зерна не родится, а жизнь нам дороже, подай расчет!

Беда Бахтиярову! Но господь-бог был и к нему милостив тоже, надоумил — побежали по рабочим балаганам его шептухи:

— Чего бояться водяного лешака! Если в полночь заколоть петуха и носить за пазухой хоть одно его перышко — никакая нечистая сила не приступится к человеку!

Кирша хорошо понял, в какой трудный переверт попали во всей округе кулаки. Бахтияров был ему не милее их. Но все-таки мужики-дружки на постройке мельницы зарабатывают больше, чем на поле у любого кулака. Больше они осенью и хлеба будут иметь. И он уговаривал:

— Не верьте, робя, рассказням ни тех, ни этих старух. Нам надо думать самим про себя. Станем робить, пусть почувует нашу силу кулачье. Если мы дружно — удавка им тут и там без наших рук!

Привыкли мужики слушаться Киршу, да и Бахтияров еще по две копеечки накинул на денек, засунули петушиные перья за пазухи и, в чаяниях зашибить поне побольше денежек, остались на постройке.

И небывалое дело — оказалась у кулаков земля пусто-порожней. Взвыли они и озлобились, не повезли на мельницы молот зерно.

— Пусть мужики без муки останутся, тогда не будут больше так делать!

Но, имея деньги, мужики без муки не остались, а вот старые мельники по Очер-реке хватились:

— Это чего же нам будет? Сейчас нету подвоза зерна, а когда Бахтияров пустит свои шесть поставов, да цену за помол снизит, наши мельницы совсем не нужны станут. Беда нам пришла!

Только душеньки их знают, как они втихую молили бога — не допустить их до разоренья. И он внял их мольбе, отвернул лицо свое от бахтияровской стройки, наслал на землю обильный дождь.

Подкопили старые мельники воды в своих прудах да как-то ранним утречком враз открыли все шлюзы в плотинах.

Мирно люди приступили к работе на постройке плотины, которая была еще не укреплена, как вдруг огромный вал воды накрыл их, смыл все, унес.

Лишь близкие родные на всю жизнь запомнили эту беду. Остальные люди недолго судачили: если разложить на все деревни, то всего по три-четыре гроба и пришлось, а чего считать тех, кто руки-ноги совредил. Народу на земле столько развелось, что без беды не может и быть! Милостиво обошлось!

Кишу вертело-крутило водой, но в излучине на перекате выкинуло на берег. Три недели он лежал в больнице, больше его держать не стали: кости не хрустят, а сухожилья от вывихов лучше ототрут деревенские лекарки.

Акулина привезла его домой, в его же избу, которую вымыла, прибрала. Наверное, от боли в суставах он еще разок состоял:

— Да неужто Марьяшка и теперь не прибежит наведаться, поговорить...

Но это было в последний раз. Чуткая Акулина не только пользовала Кишу внутренними и наружными снадобьями, какие прописывала бабка Васи́ха, но и своими.

— Давай поцелуемся да вспомним сказочку бабушки Давыдовны: в тот миг, когда целуются полюбовнички, если сойдутся над их головами, на небушке, два светлых облачка, да сольются воедино, то уж никакая сила в мире не нарушит ту любовь...

Оклемавшись к богородицыну дню, Киша понял, что, пожалуй, нет, кроме Акулины, никого на свете лучше.

И в первый день праздника рано утром он пришел к ней. Она встретила его радостно.

— Давай поцелуемся! Стань хозяином! Скоро ли мужем-то назову?

— Дай оглядеться, Акулинушка.

Она так и айкнула:

— В первый раз ласковым именем назвал! Спасибо беде!

На столе уже были пироги и шаньги. Акулина наполнила три стопки вином и крикнула на середу:

— Иди-ко, Проклантьевна, сюда. Поздравь нас — мы жених и невеста!

Кирша не смог и выговорить, что он еще не совсем додумал это дело. Оставалось в душе что-то еще смутное, но он чокнулся стопкой с Акулиной и с гордостью подумал, какая она у него красивая и что сам покойный милый дедушка Кирилл наверняка простил бы ради этой красоты его измену.

Проклантьевна подняла стопку.

— Пошли вам бог робят поболе. Ловила-ловила, да все же уловила. Счастливая! Видно, в сорочке родилась.

После третьей стопки — а Кирша так много вина еще никогда не пил — во все горло затынул:

Пропадай, моя телега
И все четыре колеса...

Проснулся он с пьяным утаром в голове от бестолковых криков, топота и возни. По обычаю, ввалились гости.

Пьяный Иванко кричал:

— Здорово, Кирша! Помнишь, я тебя хлестал? Р-раз да р-раз! А ты наземь хлоп да хлоп! Ха-ха-ха...

Палага вразумляла мужа:

— Подавись ты, окаянной! Пришибу...

Старый Харитон Самойлович трепал Киршу по плечу, смеялся:

— Поздравляю, женишок! Дело ухватил! Прибери все к рукам вместе с Акулькой.

Еле держась на ногах, появился поп Сиволоб. Он уже обошел деревню и от усталости и пресыщения служить больше был не в силах, а только благословил Киршу и Акулину:

— Долго так не баламутьте — грех великий, яга вашей матери! В промежговеенье я вам «Исаия ликуй» спою...

Кирша кричал:

— А где мои милые дружки?! Пошто они не катятся ко мне в гости? Да рази без них веселье мне? Эй, Проклантьевна, хвост в зубы, лети зови моих мужиков сюды!

Без охотки Проклантьевна поплелась к пожарке, где собирались Киршины друзья.

— Здорово, мужики! Кирша протурил меня, с пьяных глаз, за вами: гони, бает, ко мне моих робят. Айдате.

— Моих уже? Ха-ха! Помещик новой объявился, чу, робя!

— Наплевать на его, так и поклонись ему.

Мужики не ломались, а были такими, какие они и есть. Проклантьевна передала Кирше густой ответ мужиков, прибавила больше того. У Кирши слезы хлынули от горечи — откуда и явились на язык чужие слова:

— Все — друзья-товарищи до черного дня!

— Верно-верно! Только у тебе неизменная на всю жизнь. Давай поцелуемся! — радостно сказала Акулина, а Кирша ухватился за бутылку и стопку.

Свадьба была еще пьянее богородицына дня. Кирша снова посылал за приятелями и дважды за Матюгой, но опять получил уклончивые ответы:

— Ладно. Гуляйте.

— Там видно будет.

— Без нас хорошо.

Дурак, кто думает, что мужик на всякую водку прибежит. Нет, он с норовом! А вот кого было не надо, те вились, все дни пировали, около. Мигун заискивал:

— Всегда я Захарше привозил товары из Оханска. Так и ты, Кирилл Матвеевич, не обижай меня.

Нахально вился около и Лучка Вонькой.

— Захарко сам землю не обрабатывал, а издолил. И ты, Кирилл Матвеевич, имей меня в виду. А старых-то дружков помаленьку отшивай. А в случае где, чего и кто-нибудь, так больше ничего, все нам мягонькими станут.

Кирша скрипнул зубами, занес кулак.

— Опростай место! Вон отсель...

Да в это время вошли в горницу будто бы случайно проездом двое урядников из Оханска, которые его когда-то нещадно избивали. Киршу всего покорило от их вида, и он бухнул:

— Ух, вы, медвежья власть, так вашу...

Но гостеньки и не подумали обидеться, приняли это за веселую шутку, обняли Киршу.

— Ха, дорогой наш Кирилл Матвеевич, будь молодцу не в укор. Когда-то и мы удирали штучки почище того. Гуляй! С законным браком тебя и Акулину свет Савишну, ура!

Сразу после свадьбы пришла в лавку Марьяшка. Уж так-то ласково она глядела и заговорила, что лиса:

— С законным браком, Киршенька! С барышами торговать! Глядеть любо — сколь ты стал знатной да приглядной в визитке-то Захаркиной! Отпусти мне, миленочек, четвертушечку сахарку.

Никогда еще у Кирши не дрожали руки, а тут из них все валилось. Без весу он набил ей сахару полный кулек.

— А денег у меня, зазнобушка, нету. Может, как-либо поладим? — Она обхватила его за шею, потянула к себе. Как ледяной водой окатило Киршу.

— Так ты... А ведь я богу на тебя молился! Никого дороже — знать не знал!.. — Он оттолкнул ее.

Марьяшка закатилась смехом:

— Дурак ты или как тебя назвать? Кормиться-то надо? Всяк по-своему живет. А сам-от ты лучше оказался? Меня улящивал, а Акульку с денежками из глаз не спускал. Молчи-ко!

10

«Ну и житье! — подумал Кирша, покачал головой, тяжело вздохнул. — Боже, боже, до чего тяжело на сердце, не глядели бы мои глаза! И отчего это? Когда не было у меня земли и хлеба вдоволь, на душе было вольготнее».

Он достал из-под прилавка бутылку с вином и залпом, через горлышко, перебулькал в себя половину. Держась за косяки, он выбрался из лавки, опустился на скамью, на которой до него имел привычку сидеть Захарша.

Три года назад новая жизнь подхватила его, понесла, как на крыльях, пьяно. Голова не просыпалась.

Вначале Кирша заглушал вином стыд перед товарищами, от которых откололся, и подавлял неприязнь и ненависть к тем, с которыми теперь сидел за одним столом.

С вином скоро привалила лень. И часто стало казаться: погода какая-то не такая — неохота из избы или лавки и выходить.

Раннее намерение закрыть торговлю Кирша откладывал, стало казаться: лучше поторговать недолгое время. Потом при широкой жизни наличные денежки понадобились всякий день, а их приносила только лавка. И Кирша остался торгашом.

Правды ради надо сказать, что, без души приняв из рук Акулины Захаркино немалое добро, он пытался приняться за работу.

Собрался он ехать в Оханск, запряг лошадь: надо было заводить знакомства с купцами, привезти товары для лавки.

А Мигун будто караулил его, пристал:

— К чему тебе, Кирилл Матвеевич, самому ломать себя? Сколь годов я привозил товары Захарку и завсегда честно. Вот и Акулина Савишна тоже скажет, не пожалуется.

И Акулина тут как тут.

— И верно, Киршенька, не майся.

Не без тайного удовольствия Кирша уступил им.

Когда покойный Захар принимал товары от Мигуна, то взвешивал и мерил их. Кирша вначале постеснялся, потом взял в привычку не сравнивать количество и сорт привезенных Мигуном товаров со счетами. Чуя убытки, но не разбираясь прилежно, Кирша узнал, что Мигун бойко продает такие же товары в своей избе и поговаривает об открытии собственной лавочки. Кинулся он сам в Оханск и там, у оптовиков, оказался в долгу по горло. Да попробуй скоро развязаться с таким жуликом, каков Мигун, у которого все связи в руках. Кирша перестал завозить товары для лавки, избил и прогнал Мигуна.

Собирался Кирша и землю обрабатывать сам. Стал он сбрую готовить, телегу мазать, намеревался навоз на поле вывозить.

А Лучка будто следил за ним.

— Да неужто ты сам станешь утруждаться? К лицу ли торговому в назме ковыряться, а после теми же руками сахар с пряниками продавать? Покойный Захарко сроду сам рук не марал, а рази у него мало хлеба велось? А сколь я старательной да совестливой, Акулина твоя Савишна, сердешная, не похает меня.

Как масло лил на голову — упрасивал Лучка. Акулина тут же мелким бесом:

— И то, Киршенька, первое-то времячко послабь себе. Наробишься! Да и сусло свежее процедила, пельяны собираюсь варить.

Есть пельмени, запивать их суслом и вином куда милее, чем навоз возить.

И год за годом Лучка прилип к Кирше, как кровосос. Захарша сам был жулик, знал, как требовать зерно с Лучки, почему и закрома его не пустели и было чем платить

налоги. А Кирша не привык гнуть людей, и на уплату налогов приходилось каждую осень продавать по одной-две десятины земли. Скоро у Лучки оказалось больше зерна, чем у Кирши. Но быстро и просто с таким прохвостом не считаешься. Привалило к Кирше, как воронье на пададь, столько народу за расчетом, которые будто бы страдавали на его поле, что все зерно ушло на расплату.

Только нынче, когда у Кирши осталось всего две десятины земли, он избил Лучку и прогнал его.

— Помворишь ты меня! Врага ты нажил! Спалю тебя со всем домом и кладями! — ревел и грозился, удирая, Лучка.

Присосались и другие, как пиявки, к Кирше и Акулине. Ну, нищие — понятно, один выходил — другой заходил, как водится, а то — Протас Ласковой и жена его Проклантьевна Умильная.

Протас всю жизнь добром не раблывал, а просидел на берегу Очера с удочкой. А известно, кто охотится и удит — у того добра никогда не будет. И с молодых лет он взял привычку просить и занимать в долг у всех, а теперь — у Кирши, обещая расплатиться за все с лихвой после когда-нибудь, за один уж раз, рыбкой.

Такова же была, так же кормилась и Проклантьевна. Умильно она насказывала Акулине то, что той приятно было слушать, горько она подвывала, если горевала хозяйка, рассыпалась хохотком — если хозяйка смеялась.

И навязывалась помогать во всем. Мало пила-ела, но, когда уходила домой, всегда уносила то на квашенку мучки, то блюдо стряпни, то узелок крупки, горстку сахара, щепотку чаю, юбку, кофту.

Не сеяли, не жали, а были толстыми Протас и Проклантьевна, обещая расплатиться после, заодно уж, рыбкой.

Мужики как будто озлились за что-то на Киршу. По старинке он вечерами приходил к пожарке посидеть и потолковать с ними. Но мужики не слушали его, поворачивались к нему спиной, при встречах еле цедили сквозь зубы:

— Здорово.

И проходили, не задерживались. Кирша топил горе в вине. Однако мужики поодиночке приходили к нему за помощью. И больно было ему, что с глазу на глаз они не простецки просили семян или муки, а лебезили и кланчили:

— Окажи великую милость, Кирилл Матвеевич...

Когда ссужали хлебом мужиков Чайников и другие, они жестко оговаривали срок возврата долга и не менее как в полуторном размере. И кладовые у них не пустели. Разве мог так поступать Кирша?

— Бери, бери, Данько! Отдашь, знаю тебя не первое лето...

Но далеко не все возвращали долг, а которые и возвращали — хорошо знали, что Кирша не прикинет мешок на весы.

Зимой соседские семьи, когда мужики разбежались по работам в город и на заводы, одолели Киршу просьбами о хлебе. И он давал. Давал с шуточками:

— Ешьте! Проживе-ем!

Но к концу зимы, в трезвый час, увидел: один амбар полностью опустел, в другом осталось зерна только на засев своей земли. А просящим конца-краю не было. И наступил злосчастный день, когда Кирша невольно стал отказывать в помощи. Бабы со злыми глазами, закусив губы, ворчали, а то и ругались.

Киршу в пот бросало.

Когда мужики вернулись домой к севу, у пожарки кто-то завел:

— Унеси, лешак! И не заробил нисколько, семья истощалась, сеять нечего, да и долг еще Кирше нажил! Хоть давись!

И тут все загалдели:

— Долг ему? Отколь взять-то?

— Обождет! Давно ли сам-от займовал? Поймет же, поди!

У Кирши дух захватило, поднялся.

— Да рази я, робя, помянул кому о сроке? Уколол рази кого?

Как прорвалось у всех:

— Не говоришь, а рази легче?

— Затянул нам петлю хуже других, будь ты проклят!

А ребяташки окружили его, орут:

— Эй ты, мироед! Обирало-мученик!

— Новой Сатана! Пошто матушке хлеба отказал?

И кидали в него чем попадя в руки так же, как и он когда-то в Сатану.

Ранее, чем положен богом срок после венца, Акулина разрешилась сыном. По такому случаю гости пели:

Не успели обвенчать,
На крестины стали звать...

По обычаю в роду следовало дать ими новорожденному — Матвей, но Кирша не поминал добром своего отца и окрестил сына в память дедушки Кириллом же. От радости Кирша не знал, чего и делать: сидел у зыбки, обняв жену, тянул вино и вдруг собрался.

— Побегу сам звать милых ребятков на крестины! Не может быть, чтобы и теперь еще они не пришли ко мне!

У пьющих постоянно сивуху слезы на глазах легко наворачиваются, а голос занудно дребезжит. Подбежав к пожарке, Кирша сорвал с головы шапку (шляпа дедушкина, к великой горечи, давно куда-то запропастилась), заторопился:

— Ребятки! Милые! Пожалуйста-козь ко мне: сынка мне бог ссулил!

Пожалуйте! Забыл даже, как по-доброму к мужикам обращаться! Надо бы:

— Где вы, окаянные, пропали? Какой лешак шары вам завернул, уши заткнул, не торопитесь с парнем меня поздравить? Да живо, сычи гуменные!

Не шелохнулись. Мало того: поднялся с места Матюга и посеменял прочь, за ним еще кое-кто.

Кирша растерянно развел руки.

— Пошто же так-то? Вон сколь вместе робили, одной ложкой из одной посудыны хлебали...

Еще двое-трое ушли. Жалобнее того Кирша заныл:

— И чем я вам не потрафил? Обидел которого рази? Помогал ровно... А — обидел, то простите... Перед миром не стыжусь, каюсь... — И опустился на колени.

Со смешком сорвались разом с мест остальные, плюнули. Выждав, когда удалились мужики, один Протас стал помогать Кирше подняться с колен, лебезил:

— Нелегко с народом ладить! Зависть их гложет. Я вот ничем не горжусь, отпусти-ко ты мне еще мучки-то с пудок да не заботься, расплачусь после рыбкой...

Нет, он не обозлился на мужиков и любить их не перестал, помогал им с охотой, но на сердце вовсе сумятица пошла. Однажды он до того наприкладывался к бутылке, что к небу обратился:

— Господи милосливой, пошто оставил мя? За то, звать-то, что я не любя женился, а любя — прогнал несчастную Марьяшеньку. Женись я на той, народ не отвернулся бы от меня, пра-ей-бо!

А Марьяшка как раз мимо шла и, увидав ласковый взгляд лавочника, повернула в лавку. Кирша, как к питью в страду, прильнул к ее губам, взрыднул от счастья.

Узнала о том Акулина, вскрикнула:

— Все-таки достигла меня эта змея!

11

— Боже-боже, мне только тридцать с чем-то, а в голову мысли о смерти лезут! Доброму так не мерещится. И презирают меня люди добрые, и мерзко мне самому на себя глядеть, — бормотал Кирша, сидя у лавочки, допивая вино из бутылки. Давно ему не пелось веселых частушек и наговорок. Пил без конца, до одури.

К нему подбежал Кирко, взобрался на колени.

— Чего ты, батюшко, под нос говоришь? Кого тебе надо? Марьяшку свою ждешь? Матушка наказала мне крикнуть ей, когда эта змея заползет в лавку, — щебетал сынишко и гладил отцовы щеки.

Как на грех, Марьяшка и подоспела. Кирко побежал во двор, стал звать:

— Матушка! Матушка! Змея в лавку заползла!

Подлетела Акулина.

— Долго ли еще собираешься ты расстраивать семейную жизнь? — не дожидая ответа, не на милость божью, начала хлестать соперницу ухватом. У Кирши ноги ровню в землю угрузли, не сдвинулся остановить избиенье. Известно, от беспутства люди глупеют, и он, как перестал работать, утерял ловкость и смекалку.

Утолив свою месть, Акулина вернулась, подхватила на руки Кирка, зарыдала. Сын гладил голову матери, а отцу сказал:

— Беги, батюшко, пожалей свою змею, а я матушку сам уговорю.

И понял Кирша — сын плюнул ему в лицо. Вот когда почувствовал, какая он подлая рожа на свете! Стыд пронял его до костей.

А вокруг Марьяшки сбежалась вся деревня. Все людское сочувствие теперь было на ее стороне: забылись ее беспутства — вспомнились горести ее бедственной жизни. Конечно, она виновата! Но ведь как и из-за чего Марьяшка стала такой-то? Какая девка ладилась! Любо было глядеть! Да

кулачье и торгаши изуродовали ее всю, сбили с правильного пути, утеху своему избытку богатства сделали из нее. И этот торгош — такой же!

И в сторону Кирши грозили кулаками, плевали:

— На осине бы тебе болтаться!

— Прости меня, жена, прости и сын. Кости у дедушка Кирилла в гробу перевернулись от пакостей моих! Смотрите: закрываю лавку проклятую и не буду больше торгошом. Покупаются и продаются тут не одни ситцы, керосин и соль с сахаром, но и честь, и совесть, и сами люди. В лавке творил я все грязное, не человеком стал... — Кирша говорил столь искренне, что Акулина перестала реветь, с надеждой спросила:

— Да неужто, Киршенька, можно еще надеяться, что какой-либо толк из тебя выйдет? Хлебнешь опять вина — забудешь этот обет.

— Я не стану клястись. Но вспомни, Акулина, как я был честен и прям: думал и богатым таким же остаться. Ан нет, оно сбило меня. Размякнет человек — мягче грязи бывает, а закрепится — крепче камня станет. И я с этого случая — камень!

12

Все три недели до храмового праздника Кирша чистил стаи, вывозил навоз, ездил на мельницу. Но мужики и бабы не давали ему покою: то махорки надо, то спичек, то леший знает чего! А ранешенько в праздник — на горло наступили:

— Открывай! Не в Оханск же нам, по твоей милости, гнать?

— Муки, малосолы надо — печь затоплена! Давай знай!

— Вишь, цены набить задумал, супостат!

Пришлось уступить, продавать остатки. И еще раз Кирша убедился, какое это подлое занятие, как ненавидят, презирают его люди, и особенно те, которые были у него в долгу и снова пришли кланяться в долг же.

Подшвабрала бабка Васиха, попросила:

— Плесни для праздничка, барышник лешачий, керосинцу.

Кирша налил в посудинку ей, подал, не думая и спрашивать со старой лекарки чего-то. Ласково ответил:

— Да много ли тебе надо-то! На-кось, на здоровье. А так-то все, как и было, по две копейки...

Бабка попятилась, заорала шире деревни:

— Верно люди бают — сдурел! По две пуговицы за фунт! Подавишься, живодер!

Праздник, вся деревня на улице. Мигом народ прихлынул на вопли Васихи: мало — хохочут, больше злятся на Киршу. Подходит одноглазый Сенька Ларькин и начинает стыдить:

— Забыл ты, как сам-то по разу в три дня не досыта едал?

— Уж раз сумел Захаршу на тот свет спровадить — чего лучше и надо? — подначивал Фонька Алилуйя.

И пошли! И пошли! Кто кого ядовитее и злее:

— Исповадился! Смирные мы!

— Забралась лягуша на гору!

Куда девалась у Кирши бывалая ухватка — выступить перед этими мужиками-соседями, лихо схохотнуть, рассказать веселую байку, просмеять царя, попа, кулаков здешних и дальних. Проклятая торговля, лавка, выгребла яму между им и ними! Не пристал он к тому берегу и от этого отломился.

И тут подковылял к Кирше старый Матюга.

— И-эх ты, Кирша-Кирша! Вспомни, кем ты был и кем теперь ты, жирной боров, стал? Ведь ты за правду шел! А на что все променял? Спят тебя! Спят-ят! Ух ты... — Матюга в великом гневе распластнул на себе рубаху и ударил с размаху Киршу по одной скуле да без передышки и по другой саданул.

Кирша плюхнулся на скамью, закрыл ладонями лицо.

А ночью, когда приусыпилось пьяное Усолье, вдруг вспыхнули враз дом и все пристройки у Кирши. Суть была, и запластало так, что даже внутри кирпичной лавки выгорело дотла. Акулина спасла только Кирка, а сам Кирша успел лишь выгнать из стай лошадей и скотину. Дедушкина изба стояла неблизко, за многими другими усадьбами, а ведь и она сгорела.

И, странное дело, сбежался на помощь в первую голову тот народ, с которым Кирша жил с детства душа в душу, но последние три года был в разладе.

И дружно принялись мужики тушить оба хлебные амбара, потому что чье бы ни было зерно, а дороже оно всего на свете.

— Спасай, робя, хлеб!

И тут Кирша заорал на них, ровно с цепи сорвался, изливая всю досаду, насеившую на душу за три года:

— Эх вы, бараньи головы! Лешаки вы овинные, банные! Неужто не чуете — горелым зерном не пахнет! Неужто не видели — подмел я метелочкой в амбарах, а ваши бабы до страды разнесли его. А кто вернул назад? Не копил я зерно, кривохвостики очерские!

Поразились все.

— Неужто все его нам роздал? Пошто ты нам по-русски, вот так же о том не баял? Матюгнул бы нас!

— Вот и горе в том, что долгонько мы не толковали друг с другом, милые мои дружки! А тожню что ручейки сольем-ся в одно... — Он схохотнул, раскинул руки, как будто собрался всех обнять, а мужики обступили его, трясли за плечи, хлопали по спине, жали руки. — Ха, робя! Руки-ноги целы, голова на плечах, а локотку опора — вы: чего мне больше надо?

Акулина подтвердила:

— Не живое мясо отодрано, не больно и не жаль!

Неожиданно подошел к Кирше Тимша Чайников.

— Экая, друг Кирша, беда на тебя грохнула, со стороны — страшно! Сразу — оба жилья! Да не гни головы, помогу от сердца: уступлю тебе вон новехонький сруб.

Кирша да и многие хорошо знали, с которой стороны залетела искра — сожгла домину и избу. Но говорить об этом было бесполезно: руки-ноги никто не оставил, не докажешь.

Кирша сдержал гнев, спросил:

— А сколь бы запросил за сруб?

— Не лишку! За две твои десятинки земли всего отдам. Это было живодерство и насмешка. Фонька задрал боро-денку — забазланил:

— Алилуйя-алилуйя, слава те, го-оспо-оди-и!

Мужики хохотали и тоже стали предупреждать:

— Ловко он подкатился землю твою приграбастать! Стерегись!

— Держись за землю, а избу мы тебе поможем огоревать!

Выступил вперед старый Матюга и предложил:

— Айда, Акулинушка, с робеночком-то ко мне. Одиешенек я. Станете жить, пока не отстроитесь. Гоните лоша-док и скотинку...

У Тимши провалилась надежда поживиться на беде Кирши, и он озверел на Матюгу:

— Попомни меня!

Кирша не держал мысли искать виновников поджога и тем более обращаться с жалобой к медвежьей власти.

Но власть эта сама встревожилась: несмотря на смуту в городе, здесь, в волости и уезде, до сих пор было спокойно. А тут вдруг по всей округе жужжит люд: поджог!

— Ни о каком поджоге я сказать не знаю, — заявил на допросе Кирша. И тут, как змеи из-под кочек, выползли Лучка Вонькой, Мигун, Марьяшка, в один голос показали:

— Пострадал торговой Кирилл Матвеевич Косков от руки Матвея Власовича Коскова. Видели мы накануне пожара: он избил Кирилла и грозился спалить его. И до того не раз яро проговаривался из зависти. А замашка ненапрасная, у него в городе сыновья беда отчаянные. Готовы мы подтвердить целованием креста господня.

Состонал Матюга, а только и сказал свидетелям:

— Темно в ваших душах, да и там разберешь мурло Тимши Чайникова. Угрузил он меня, но шиш ему, а не земелька Киршина!

Старому Матюге связали руки, увели в оханский тюремный за́мок: угрожала ему Сибирь и кандалы.

Кирша места себе не находил, стараясь спасти своего старого друга. Дело близилось к суду. С волками жить — по-волчьи выть, можно было только деньгами изменить ход следствия и обвинение повернуть на оправдание.

Раздобыть деньги! У Кирши оставались теперь две десятины своей земли да две наделные полосы. Это столько, сколько, чтобы жить и кормиться втроем. Но он пошел на последнюю крайность. Все так и ахнули:

— В уме ли ты, Кирилл Матвеевич? Ведь не встать тебе больше на ноги! Старику бы все равно скоро богу душу отдавать, а тебе — жить да жить! И у него сыновья есть, пусть бы заботились.

Но сыновья у Матюги бились в городе с хлеба на воду.

И Кирша остался без собственной земли и без лошадей. Получив мзду, Мигун и Лучка отказались скрепить присягой свои ложные показания. Оставшись одна, подлая Марьяшка

уползла в кусты. А там и следовательно, лишившись свидетелей, опустив денежки в карман, изменил обвинение на оправдание.

Матюга просидел в замке столь долго, что Кирша при помощи соседей успел срубить себе на старой усадьбе новую избу. Он вселился в нее, и собрались дружки поздравить его. На новоселье каждый из них принес в тряпке или в спичечной коробке тараканов: если они приживутся и расплодятся в новой избе, то пребудут в ней счастье и хлеб.

Подоспел и Матвей Власович. Он первым делом от горести и радости всплакнул.

— Прости ты меня, Кирша, что запалился я тогда и ожег тебя. Право, любя! Кабы не любя, наплевать бы на тебя...

Вбежал в горницу Кирко, принес найденный им в пепелище какой-то ком. Акулина хотела забросить его в печь, да оказалось — это шляпа дедушки Кирилла. Лихо вздел ее на затылок Кирша и заявил:

— Ха, робя! Да рази нас, ежели мы встанем друг за друга, горе да беда одолеют? Ни в жисть! Никакая медвежья власть нас не сломит, никакие кулаки не одолеют, а мы скорее им салазки загнем! — Он выступил вперед и рассказал: — Сколь веков в лесу, на горе Зяблой, страшная птица Гайкун живет. Летала она, дико кричала, людей пугала. А чего Гайкун в самом лесу творил — не говори! Пичуге не пролететь, зверьку не прошмыгнуть. Беда им была в лесу зеленом, нисколько не легче, чем нам, грешным, в деревне.

Но все мы заприметили, в последние годы ту ярую птицу Гайкун мало слышно стало. А чего стряслось-то? Не слышали?

Кто бы подумал, а усмирили его, Гайкуна, вовсе маленькие пичужки-зяблики. Пра-ей-бо, как бывает, если дружно! Уродился такой удалец один, зяблик, что ух ты! Однажды он при всем крылатом народе прочирикал:

— Эй, Гайкун, усмирись! Не то я тебя усмирю!

Расхохотался Гайкун да и разгневался, но никак не смог юркого зяблика сцапать, разорвать. А зяблик опять чирикает своему народу:

— Летите дружно к самому клюву Гайкуна, долбите, теревите его. Если кто и в когти ему угодит — не пищите. Для ради блага всех это.

Ну, сарынь лесная послушалась, так и поступила. Бился, орал Гайкун, клюв, когти, крылья обломал-совредил.

А чего поделаешь? Не стал он страшен никому, и зяблики стаей последние перья его по ветру пускают.

То же и медвежью власть, если мы с умом станем ее всяко теревить.

14

Проработав в городе осень и зиму, Кирша весной необычно рано вернулся домой. Ждала его безмерная радость: Акулина не только благополучно родила и была сама как мак цвет, да и кого принесла-то! Парня!

— Спасибо тебе, Акулюшка, за старанье! Сумела! Не только я робеночку рад, а ведь он нам еще полоску земли прибавил!

Акулина протянула зиму по пословице: всяко бейся — к ночке водицы напейся, и Кирша заработал не ахти чего. Но оправиться можно, ведь теперь три мужских души в семье!

Собрались дружки — делили радость:

— Эка, Кирша, сколь тебе счастья привалило!

— Не бай, робя! Теперь бы мне только скорее усадьбу сбыть да лошадь и семена добыть: три полосы засеять надо!

Поговорив так с добрыми соседями, Кирша знал, что они разнесут весть по всей округе о том, что усадьба его продается, и был уверен, что покупатели на нее непременно найдутся. О чем горевать — все устроится!

Но в те времена мужик полагал, а господь-бог обязательно располагал.

На другой же день явился первый покупатель — Мигун. По крестьянской привычке он повел разговор издалека:

— Погодка-то, что масло! В старые-то годы в эту пору бывало зимнее отданье, снег падал. Чего говорить — как переменялось в погоде, да и в людях! Вон и тебя как перевернуло! Жаль со стороны. В какой хоромине жил и кем стал теперь! А я это к тому — продай ты мне, Кирилл Матвеевич, ту усадьбишку. К чему она тебе?

— Продать и думаю. Деньги надо на лошадь, на зерно.

— Ну, денег-то у меня сразу-то нету. Бедственное положение переживаю на твоих глазах. Права торговая палата не даст: заведи, бают, помещенье, лавку. Думаю: возмю полукаменку твою, отстроюсь, торговлишка наладится — платить начну тебе, да и то не сразу бы.

— Э, так никак не могу. Деньги мне нужны неотложно. Мигун ушел злой, дверями хлопнул.

Скоро пришел Лучка Волькой. Тоже помолол языком про погоду, а потом только приступил к делу.

— Думаю купить у тебя ту усадьбу. Продашь ли?

Кирша ни говорить с ним, ни глядеть на него не мог, но ответил:

— Отчего не продать-то. Только за наличные, немедленно.

— Ха, за мной рази пропадет? Деньги будут по осени же.

— Нет. Средства мне нужны неотложно.

— Знаю-знаю! Все твое положение понимаю, не маленькой! Пахать — бери мою лошадь, сеять — зерно на! После подсчетом.

У Кирши в глазах потемнело: Лучка предложил обрабатывать землю, как все кулаки, исполу. Замахнулся он затащить Киршу в кабалу, а уплату денег за усадьбу оттягивал на неопределенное время.

— Расплатись добром. Давай за усадьбу лошадь и зерно на обмен.

— Не-ет! Так мне не с руки.

— И мне иначе не с руки.

— Все равно одна тебе дорога: сдашь землю не мне, так Иванку либо Тимше. Гли, Кирша, не будет тебе ходу ни в чем! — крикнул Лучка уже с порога.

Наведывались о покупке усадьбы и Тимша Чайников и другие кулаки, но никто наличных денег не давал, откладывали до осени: сговорились придушить Киршу измором!

Пора пахоты подкатилась, а он томился: что же ему делать?

И в бессонные ночи придумал он, чего на оханской земле не бывало.

Как всегда, по вечерам у пожарки собирались мужики-горюны, но не ведутся больше между ними обычные разговоры и пересуды про свои невзгоды и делишки, не слышно жалоб, смеху, шуток и прибауток. А встревоженно слушают они новости из Перми, от которых уши вянут.

Народ там бунтует, бастует, ходит по улицам толпами с иконами, с флагами. Наехали в Пермь казаки и ингуши

и в Мотовилихе, на Вышке, народу избиение учинили. Будто бы народ с Вышки-то стал свободу требовать.

Жадно слушали мужики вести, сердцем чуяли: проваливается в преисподнюю последняя вера и надежда на батюшку-царя, который кровопролитие допустил да и земли прирезу не сулит.

И как раз Кирша подсел к ним.

— Плюнь да разотри, робя, на то, что нас не касаемо. Нету прибытку нам и помощи от всей этой кутерьмы. Всякая помощь одного кого-либо другим, будь хоть царь, хоть любой Сатана, не в пользу как-то оборачивается. Не выведешь такой помощью людей из бедности: либо сам давалец обессилеет, либо закабалит людей. И у нас первая забота — от такой помощи избавиться, из ярма кулачья вырваться. А вот если мы дружно все соединимся в одно — сможем пособить друг другу.

Мужики разом повернулись к нему.

— Смешивь ты, а нам, право, не до смеху.

— И у меня, робятушки-братки, смеху не завязалось. Давайте-ко мы маленькую общинку учиним. У кого что есть — не взыщем: у одного — лошадь, у другого — зерно. У меня с десятку деньжат наберется, как говорится — на такие средства соломой крыши не покроешь, но и на них возьму семян. Шесть коняг я насчитал — сила! У кого полосы в исполе, вернуть их надо. Ну и сложимся! У всех по-братски вспашем, всем посеем и с хлебушком будем. Другой дороги — лучше нету.

Задумались.

— Как в сказке — больно хорошо, а раз хорошо — нам не подойдет.

— Как это? Ну, лошадь есть у меня, а семян — ни зернинки, и вдруг кто-то: на тебе, Федот, полон рот! Чудно, право, загнул ты!

— Насказать-то все можно! Язык без костей...

— Так бы давно никто не бедствовал!

Люди разгорячились, заспорили. И тут всех перекричал Мигун:

— Одумайтесь, робя, начинать по указке Кирши!

— Не туды, мужики, манит вас Кирша, — поддержал его Лучка. — Ох, боюсь я его, как разбойника. Сегодня ему лошадей сгони — вспаши, завтра — засеи клин, после — уговорит урожай ему снять. Шире-дале — людьми почнет

воротить: урядника сгонит, старосту с попом протурит. Берегись, православные!

Кто-то не выдержал:

— Подавись ты! Он последнее не пожалел за Матюгу. Не ври на Киршу!

Кирша не ответил на наскоки: пускай люди сами разберутся во всем. Он был рад, что расшевелил мужиков, да вдруг его оторопь взяла: он ведь не знает, как и с чего дело-то начать! За что ухватиться поначалу? Спроси его теперь же мужики о том, — чего он ответит? И Кирша посоветовал:

— Время позднее, робя, айдате по домам. Да подумаем крепче всяк своим, а не чужим умом. А завтра и порешим все.

На другой вечер собралось народу куда больше, чем накануне. Когда Кирша подошел к пожарке, то услышал, как Мигун убеждал:

— Добрые люди лошадей кормили, зерна запасали, и каждой сам по себе, как надо, живи.

Заглушил его Фонька Алилуйя:

— Ну, Кирилл Матвеевич, чего надумал? А я во всем с тобой согласен. Берите мою кобылу в компанию, да зерном мне пособи́те. Куда с добром будет!

И Прохор Смирной тоже сказал:

— Давай, Кирша, бедовая ты да и умная головушка, хоть одну весну выведи нас из беды. Надеюсь я. Вот лошаденка моя слабовата — без корму пробивается.

Кирша обрадовался помочь.

— А у меня сена — целый зарод зря стоит! Берите, кому надо, кормите лошадей! Подумаем, так и овсом раздобудемся. Да вот что: станем пахать и засеять наперед не мои полосы, а чьи-либо ваши. Чтобы не вышло нареканья — я обожду.

Поначалу Кирша и сам не понимал — какое большое дело он заварил. Только теперь стал соображать, что Лучка и Мигун не просто по злобе к нему, не по личным только обидам мешают мужикам объединиться на вспашку и посев своей земли. И их простым мордобоем не отгонишь, не отпугнешь. Нет! За ними — вся медвежья власть, которая вот-вот покажет свои зубы. Прошла пора, когда можно было шуткой и хохотком подавить того или иного хапугу, привлечь тем сердца людей на свою сторону и одержать хоть маленькую, но победу. Извечная вражда перешла уже в пря-

мую ненависть. За Лучкой и Мигуном — сила, а за ними, мужиками, что? На что опереться, где найти поддержку, в ком, в чем? Одно ясно — не отступать!

Вечером к его воротам подъехал поп Сиволоб и вошел в избу. Глядя на мужа, и Акулина не подошла к нему под благословение. Сиволоб недобро зиркнул на обоих, помолился на икону, сел к столу, начал сурово:

— Дошло до храма господня, что ты, раб божий Кирилл, заблудился да и прихожан иных сбил с праведного пути. Клонишь ты их в какой-то пай. Так поступали еретики. Пошто не даешь им принять помощь от имущих, коих сам бог сподобил оказывать ее ближним своим? Кто благословил и разрешил какую-то общинку сбивать в деревне? С кого пример берешь?

Кириша ответил:

— Да мы, батюшко, только и делов-то, вспахать да посеять свои полосы поговаривали. И все! О чем тревожишься? Сам ты — не слепой, грамотей, зарез ведь нам. Силы больше нету, либо ноги протягай, либо землю исполу отдавай, в кабалу к кулакам ступай. Да оно и спасибо, что заглянул! Умной ты, может, посоветуешь, как нам поступить.

Поп сразу и покраснел.

— Уймись, раб ты глупой и лукавой! Словеса-то какие сыплешь: кабала! зарез! кулаки! Давно ли господь тебя, недостойного, превозносил и сколькими талантами возвышал над иными! Да не оказалось в тебе духу удержать, умножить те таланты, змию зелену предал добро свое...

Кириша поскреб в затылке, перебил попа:

— Верно это, батюшко, таланты божьи на богатство оказались мне суетой без толку...

— Во-от! Так можешь ли ты после этого людей доброму научить, за собой влекчи? Где это они у нас при такой свободе жизни — кабала-то, зарез-то завелись? Какие такие кулаки-то взялись? Чье ученье душу твою смутило? От лукавого это! Запомни: если душа твоя открыта, что от бога дано и установлено, лучше и быть не может.

— Вот-вот, батюшко Сиволоб, боушка-то нам бы побольше и надо! А у нас развелось в деревне дьяволов и лешаков во образе Лучки Вонького, Мигуна, детей Сатаны, Чайниковых, что червей на падали! И думали мы, как хлебушко сами посеем-сожнем, к тебе поторопимся: свечей наберем, молебну закажем, да с акафистом, пра-ей-бо!

Поп совсем обозлился.

— Да неужто ты, пес смердящий, имеешь смелость зубы скалить, когда духовный пастырь тебя добру напутствует? Смири гордыню, отдай божие богови, кесарево кесарю. Не сбивай мирян! Не внемлешь истине — отправлю тебя на покаяние ден на тридесять в монастырь. Погляжу, как ты тогда засеешь свои полосы!

Чего говорить, как такой угрозы испугался Кирша! Шутка сказать — в горячую пору тридцать дней у монахов поклоны бить да и работать на них. Чем он тогда поможет мужикам и себе? Нет, нет, надо Сиволоба умаслить.

Кирша мигнул Акулине, щелкнул пальцем по воротнику, и та выбежала из избы.

Поп отчитывал Киршу все злее и злее: делать нечего — надо оказать смирение. И Кирша стукнулся коленями на пол.

— Божий ты посланничек! Какие это ангелы-архангелы либо херувимы с серафимами надоумили тебя прилететь сюда? Вот когда удостоил ты меня спознать, что дела-те у меня грешные, противу писания. Отныне и навеки зарежусь я творить их. Благослови-кось меня, свят-отче, шары мои очистились от лешачьей пелены!

Поп смягчился.

— Раскаившийся блудный сын дороже церкви...

Пока он многословно отпускал прегрешения Кирше, Акулина подала на стол царскую монопольку и кислую капустку. Кирша смиренно просил:

— Благослови, отче, тело и кровь Христовы. Не отринь лица своего, вкуси на доброе здорovie.

Сиволоб потер ладони.

— Хе-хе! Я думал, ты супорствовать почнешь, а ты вон какой благоразумной да ласковой. Ну, тогда бог тебе отпустит заблуждения вольные и невольные, и пусть будет мир дому сему.

Он лакнул из стакана до доньшка, понюхал хлеб, заел капусткой и стал мирянином.

— Ты, яга твоя мать, на рожон прешь не впервой! Не егози — попадешь в руки исправнику, он те погладит! Отыди лучше от селян. Оставь их самих по себе. Пропадешь — на кого останется экая ягодка-женушка?

Проводив духовную власть, Кирша пошел к пожарке, но никого там не застал, кроме Матюги. Тот и рассказал:

— Застрашали наших, вот они и не показываются: все избы обежал десятской. И не сам же он от себя кому пальцем, а кому и всем кулаком маячил: кто-де не перестанет

Киршу слушать, добра тому нечего ждать, а худа с три короба привалит.

Но мужики собрались у Прохора. Кирша говорил:

— Видно, доброе дело у нас начинается, раз медвежья власть, как саранча, поднялась. Чуют они силу нашу и страшатся волю дать. А вы не бойтесь — убыток-то не нам, а им доведется. Правда на нашей стороне. И, наверное, на русской земелюшке не одни мы ее добиваемся. Не отступай, робя!

Поздно вернулся Кирша. Он ступил в избу и увидел — бабка Васиха разложила на столе бобы, страшала Акулину:

— Если хозяин дома собьется, станет держаться дороги — где три боба — в трясину угодит, не выкарабкается. Ну, а чего ждет его тут? Тут, ежели доброго ума наберется он, семью пожалеет — на четыре боба повернет, в скорости и к покою, к довольствию дотянется.

— Нечистая сила заворошилась! — невесело усмехнулся Кирша и ухнул: — Хватит молоть нетутайну, старая яги-нишна! Вон из избы!

Протушив ворожею, он ежился: нечистой силы не перестал страшиться. Непокойно улеглись спать оба.

Привычно рано Акулина пошла к скотине. Вдруг Кирша услышал — она сахала. Выскочил он — Акулина дрожала, как стебелек, закрыв ладонями глаза.

У крыльца сеней стоял черный крест, а вокруг него и до ворот и за ними — до дороги были накинаны пихтовые ветки: как будто устлан путь покойнику на погост.

Понял Кирша — еще ему предупреждение от тех же.

Изрубил он топором крест, собрал ветки и сказал:

— Топи, Акуля, печь этим пугалом. Да не реви, не давай кому не надо радости. Нет уж, ни бобами, ни крестами не удержать им желанья нашего выбиться из ярма ихнего. Что бы ни было — зародилась искорка — раздуется в пальмо!

В это же утро десятский увел Киршу к старосте, у которого сидели двое урядников, те самые, которые гуляли у Кирши на свадьбе, а ранее того избивали его до полусмерти.

— Ну, каково, парень, торговлишка ладится? — спросил один. Кирша не захотел отвечать на насмешку и промол-

чал. Еще по пути сюда он настраивался держать себя с ними весело, обратить все в хаханьки и тем попытаться смягчить трение с медвежьей властью. Но нет! Не удавалось больше это! Слишком серьезное начиналось дело, не шли на ум смехотки.

— Чего уставил бурколы и молчишь? Отвечай, коли спрашивают! — крикнул второй урядник. Староста сидел молча.

— Неужто привели меня сюда язык чесать? — мрачно буркнул Кирша, чувствуя, что добром ему от них не избавиться.

— Резонно сказанул! Вот так же резонно и обскажи нам, к чему ты вздумал обижать мужиков в Усолье?

— Как это обижать? И чем же хуже того, что есть, можно еще их обидеть?

— А как же? — староста вскочил. — Намерился ты отводить их получать весной поддержку у тех суседей, кои в силах ее оказать. Учишь их никого не признавать. Зовешь их вступить в какую-то шайку на паях. Чего твоя голова замыслила? Да рази у нас какая бессудная земля?

— Охлынь маленько, староста, не сори пусто словами. Съесть меня задумал? Так прямо и вали, а не подковыривай не к месту, чем не надо, — одним духом выпалил Кирша.

— Слышали, господа урядники, как он с властью обходится?

— И мне зря суесловить, чесать язык неохота, да чего поделаешь — приходится! Вишь ты, четыре коня у тебя, а мужики перестанут их брать. Хлеба — у амбара стены распираются, а они его не станут занимать. Ты, брат, тоже такой же...

— Девайте его, куда знаете, а мне держать такого в деревне — вред один. Он — политика! — махнул рукой староста.

— А вот мы его за ушко да на солнышко! Пускай кобелек с цепочки лает, — сказал первый урядник и поднялся со скамьи, считая разговор оконченным. Но другой заговорил дальше:

— Слышь-ко, Косков, дело твое, не приведи бог, сколь печальное. Но, может, ты еще наберешься ума смягчить свою участь, и, если староста соберет мужиков, ты открыто покайся: ошибся, мол, я, робятки, да раздумался. Рұсак, мол, задним умом крепок. Немыслимое, мол, дело самим мужикам складчины какие-то городить, пахать и сеять одним.

Надо, мол, в мире с другими жить, а помочь, мол, нам, слава богу, есть кому. Ну, да ты сам знаешь, не дурак, чего им лучше сказануть. И живи себе хоть сто годов, никто колоть глаза за ошибку не подумает.

Кирша еле дождался конца многословия урядника.

— Провались ты, чтоб я сам отрекся — чего баял! Язык выкушу! Кинуть мужиков? Ни в жисть!

— Супорствуешь и тут? Тогда одна тебе дорога, айда в Оханск!

Они уселись в коробок, а Кирше велели шагать обок. Он шел и раскаивался: «И чего это со мной творится? Распустил себя! Не поможет это ни мне, ни мужикам. Надо бы обойти их помягче, умнее, а потихонечку делать свое».

Как нарочно, представился случай к примирению. В прытке первый урядник остановил лошадь и сказал:

— Ух, и разломило кости! Может быть, ты, парняга, забежишь к Едренихе, захватишь бутылочку лекарствица?

Ни слова не говоря, Кирша схватил лошадь за узду, подвернул к воротам.

Едрениха, по указке Кирши, подала на стол сразу две бутылки. Урядники разомлели, стянули с себя казакины, подобрали:

— Право, ты, Косков, мужик — всех мер! Как было все тихо-мирно! И вдруг лешак колупнул тебя — шухару экую заварить! Плюнь-ко ты лучше и живи сам по себе. Скажу по правде: исправник и теперь не наказывал забирать тебя, велел по-доброму обойтись — морду набить тебе, чтобы ты в себя пришел.

Второй урядник со смешком показал свои огромные кулачищи.

— От них, мужик, доски теши. Синевидь я тебе не посажу, костей не соврежу, крови не пушу, а печенку с селезенкой всмятку собою. Похрипишь с недельку и уйдешь в земельку. Живи и думай да нас не зли.

Кирша помог урядникам забраться в коробок, забросил туда их амуницию, дал Едренихе гривенник — наказал: развезти их по своим домам.

В Усолье он возвратился задами, огородом пробрался к Прохору, где и нашел мужиков. Они упали духом, и Кирша бодрил их:

— Обо мне не тужите, робя! Видно по ходу, соли я им немало подсыпал. А думайте лишь одно, свое: пахать-сеять, как и договорились. Глаза мозолить им не станем, говорить

меньше будем, а сделаем свое. Лиха беда начало, а пример наш переймут, и на другую весну больше народу возьмется за ум, — говорил он, а сам по глазам видел, что у мужиков желанье наткнулось на страх и сомнение. И опять он почувствовал: трудно одному объединить, поднять дух, сделать смелыми этих, хоть и милых дружков, но столь забитых, темных. Нет, тут нужна какая-то огромная сила, которая бы горой за них встала, вдохновила, защитила.

— Как же, Кирша, говоришь ты: паши-паши, сей-сей, коли подсчитали: зерна-то нам посеять и наполовину не хватит? Ну и где его взять-то нам? Посеем мы, к примеру, шестерым семьям, а остальным как же будет?

Как пилой по сердцу пилили и в упор глядели на него. Думать не дают: или будут верить ему, или попросту плюнут, расползутся, как тараканы по щелям.

— Ха, робятушки, мы еще не понатужились и не надселись. А надо напрячься, к примеру, мне. И я, раз вы — дружно, добуду завтра же семян, на всех достанет! Вот что... — Кирша на миг задумался. — Не верьте только завтра да и потом, чего станет говориться в деревне: семена я стану добывать не мытьем, так катаньем...

Вдруг за окном раздался шорох, и к стеклам оконницы приплюснулись морды Мигуна и Лучки.

Встревожились мужики и решили:

— Проводим тебя, Кирилл Матвеевич.

От ворот кинулись в стороны две фигуры; на плечах у них были оглобли. Никто за ними не погнался. Не обронив ни слова, разошлись по домам.

Рано утром Кирша появился к старосте: сперва надо смягчить его, чтобы не вздумал, хоть короткое время, опять вызывать урядников.

— Прости-ко ты меня, Агей Кириллович, одумался. Иди они все к лешакам, дармоеды, их никогда не ублаготворишь. Все пропьют-спустят после. Бездонная ямина они, мужики-то наши.

— Ну и к чему тебя принесло-то? — сквозь зубы спросил староста.

— Да к тому я, как бы мне усадьбу продать, лошадь да зерна на посев самому раздобыть, встать на ноги, — говорил Кирша. Но староста перебил:

— А мне-то что? Не зарюсь я сам брать твою усадьбу. Засунул голову-то в петлю, мечешься. Ладно, погляжу я

малое место, чего из тебя получится. Но чуть чего — шухну, мокреть пойдет!

Нет, старосту легко не умаслишь! Спасибо и на том — посулил повременить, не выживать пока из деревни.

С души воротило переступить порог избы у Лучки, да дело заставляло.

— Здорово, Лучка, — впервые в жизни Кирша назвал его добрым именем. Поэтому или испугался тот здорово, но только рот разинул, не ответил.

— А чего лешак не несет тебя ко мне насчет усадьбы-то? Али желанье отпало по дешевке ее взять? Денег уж мне и не надо, за одно зерно отдам. Гляди, не прогагарь! — завлекал Кирша.

— А сколь же, по дешевке-то?

— Да за сотню пуд ржи отдам, шаром не поведу.

На деньги это приходилось куда менее сорока рублей. Лучку так и подбросило со скамьи. Но тут же он усомнился:

— Врешь, поди! Жить, видно, на свете не собираешься, так дешевишь. Или ватажке своей на посев зерно-то приспичило! А после с них сторицей выжмешь? Ловко!

Кирша захохотал.

— Завсегда ты пальцем угодишь в тютельку! Уж я их прижму!

Лучка нахмурился.

— Подмочь им все-таки ладишь!

— А не все ли тебе равно, куда я просуну то зерно? Ну, а раз дорого и неподходяще, прощай покуда. Других найдем.

Кирша пошел из избы.

— Стой-стой, бог-от с тобой! Уж и разозлился! Надо ехать в Оханск — купчую учинить.

Кирша не останавливался.

— Купчую после. На глазах у людей привезешь зерно, не откажусь.

— Верно-верно, вернись-ко назад, поговорим толком. Сейчас полсотенки пудиков, остальные с умолота.

— Э, нет! Теперь же, сразу все!

И Кирша вошел во двор к Мигуну.

— Здорово, Мигун. Рассуди ты нас с Лучкой: отдаю усадьбу всего за сто пудов ржи, а он торгуется — дорого! Да и купчую ему надо сразу к чему-то.

От удивленья Мигун не мог промигаться, но ухватился:

— Да неужто?

— Кто первый привезет сотню пуд — усадьба его!

Мигун доставил зерно в амбар к Матюге. Кирша был радехонек и говорил:

— Все теперь у нашей компании есть! Не повредить бы нашему делу, перестанем пока собираться вместе, мозолить глаза старосте и другим вражинам. А как наступит пора — пусть мужики берут зерно и сеют в доброй час. Нужда заставит мужиков поумнеть и осмелеть. Всякое дело с тютельки зачинается, а после и окрепнет. У кулаков-то на подмогу всякая сила создана: медвежья власть, духовная зараза, нечистый дух. Самим надо хвататься за обух, найти в себе силы забрать землю под себя. Да с чего зачинать-то вот, кто научит-то, на кого опереться? Скажи мужикам-то: по почам надо стерегчи зерно-то, кабы не спалили его...

17

Мирно засыпало Усолье, теперь и у пожарки мужики не собирались. Весной огня не жгут, и окна были темны. Уже не раз прошел по деревне хожалой со своими трещоткой и колотушкой.

Вдруг из поля в деревню вошел кто-то, как покойник из гроба, во всем белом, с ярким факелом над головой. Подошел он к окну крайней избы и завыл-заорал тонким, диким голосом:

— Аз есьмы сын божий Исус Христос, восставший из гроба! Будь проклято жилье сие и люди все в нем!

Перед окнами избы Кирши он верещал отменно неистово:

— Здесь ютится сам Фармазонище! Христопродавец Юда свил тут логовище себе на погибель людям всем! Он это и распнул меня на кресте-то! Он, он! Проклят! Проклят! Проклят! Жгите его на огне-пламени! Спасется тот, кто спалит логово бесовское и самого Юду в нем!

В ужасе замерла деревня, слышался только плач малых ребят. Когда оборотень провалил за Полому, сбежалось к пожарке несколько мужиков, которые опасались, как бы огонь факела не подпалил солому у крыш. Кто крестился, кто ругался, но всех трясло.

— Кто смелей, робя, айда за мной! За Поломой, в логу, спросим его: кто он такой и по какой нужде появился. Провалиться мне на месте, вся кошмара эта нарочно придума-

на, — сказал Кирша, и впятером они огородами и полем побежали за Полому.

Только чуть светало, факелом же и осветили оборотня. Белая посконная рубаха, такие же штаны, колтуны волос, а вместо бороды — редкие волоски. Босые ноги истрескались от грязи. Поминутно выражение его лица менялось со скорбного на умильное.

— Не полоумной, глаза хитрые, бегают!

Едва успели схватить его за руку, вывернуть нож — самодельный из серпа, острый, с зазубринами, вместо рукояти — тряпица намотана.

— Вот так спаситель мира!

— Стерегись такого брата!

— Ну и Христос! А я думал, какой он?

Мужики завели Христа в лог.

— Ну, тут удавим его и зароем, — сказал Кирша и свернул петлю из волосяного недоуздка. Завыл Исус, а Прохор зажал ему глотку.

— Кайся, гнида: откуда и кто ты? Откроешься, может, и живым уползешь. Да не ори! — Кирша накинул ему петлю на шею.

— Робятки-и... милые... — проскулил Исус жалобно.

Кирша перебил:

— Не шибко жалобно. Чего ты людям причинил? Сколь ты их застрадал на пользу медвежьей власти и сколь зарезал?

Исус пал на колени.

— Хны-хны... Битьем же меня приручили к тому... не сразу по охотке моей... волком держаться стал.

— А как ты к нам, в Усолье, не по пути забрел к чему?

— Шел-шел да пришел...

Кирша затянул петлю.

— Врешь! От кого ты узнал, про какое зерно бормотал перед окнами, пошто от него змеи расплодятся, кого указали тебе зарезать?

Христос рассказал, как привез его сюда Лучка.

— Пожалуй, раз признался он по-доброму, давить его по-собачьи не станем, а за грехи перед миром раскатаем да торкнем о землю.

Скинув петлю с шеи, выставив руки вперед, пятился отступал сын божий и дал стрекача.

Уже широко рассветало, когда той же дорогой мужики возвратились в деревню. Они слышали крики и рев у пожарки. Толпа была реденькая.

Кричал Лучка:

— Не я ли, милые, упреждал вас добром не одинова, что скоро Кирша почнет человекам убивать! Глядите, как он испотрошил этого мученика? А за что? За то, что он, сын божий, проклял Киршу за вредное зерно, которым тот задумал оделить вас! — Он увидел подошедшего Киршу. — Ведь и петушонка колоть и то руки дрожат, а ты жива человека исполосовал...

На дороге лежал, раскинув руки, оборотень. Лицо его, рубаха и штаны были в крови. Лучка нагнулся к нему.

— Поднимись-ко, страдалец, да укажи людям сам, который это потрошил твою плоть?

Христос махом вскочил на ноги, огляделся и указал пальцем на Киршу.

— Эвот Ирод! Распнул меня на кресте! Бейте его! Топчите! Зерно его жгите! Палите!

Он упал на землю, извивался, но никого с ума не свел. Все угрюмо смотрели на него, а Матюга крикнул:

— Подавись! Кровь-то на тебе петушинная и есть!

Часом позже староста самолично на паре понесся к исправнику и возвратился обратно с урядником, у которого были большие кулаки.

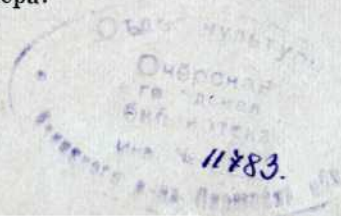
Но они опоздали. Еще утром Кирша понял — ждет его тут напрасная смерть: в глазах дружков сквозила явная усталость от борьбы, безнадежность отстоять землю, засеять ее так, как говорил Кирша.

...Уходил Кирша и с тоской оглядывался на родимые угоры, поля. Тоскливо и они глядели на него, будто прощались, а батюшка-Очер студено ожег до поясницы, жилы стянуло, и долго позади чулось его журчанье.

— Тут милой, дорогой мой дедушко беглому пособил...

Обернулся Кирша лицом к долине Очер-реки, за ней к угору, на котором в белесом узоре весеннего парежа маячило Усолье, и зыкнул во всю глотку:

— Прощай, родимая оханская земелюшка! Хороша ты, а лучше того станешь, когда люди, умнее, смелее нас, отобьют тебя от лиха-ворога, вспашут и засеют всю себе на пользу. И, верю я, разольется счастье по тебе шире матушки-Камушки, светлее батюшки-Очера!



СОДЕРЖАНИЕ

Разорение	3
Окаянная судьбина	49
Безземельные	94
Старина оханская	117

Александр Петрович Колчанов

СТАРИНА ОХАНСКАЯ

Повести

Редактор *Л. И. Давыдычев*. Художественный редактор *М. В. Тарасова*. Технический редактор *Г. М. Езов*.
Корректоры *Н. Д. Аборкина, М. Ф. Кузьмичев*.

Подписано к печати 28/VIII 1962 г.
Формат бумаги 84×108¹/₃₂ 3,873 бум. л. 7,75 печ. л.
(усл.-прив. 12,71 л.) Уч.-изд. 14,5 л. Цена 64 коп.
ЛБ08337 Тираж 15000 экз. Зак. 1067.

2-я книжная типография облполиграфиздата.
г. Пермь, ул. Коммунистическая, 57.

